

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
Ш Е С Т А Я
И Ю Н Ъ

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 8

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. МАКСИМ ГОРЬКИЙ. — Жизнь Клима Самгина, роман, продолжение	5
2. ИВАН МОЛЧАНОВ. — Баллада о Дон-Жуане, стихотворение .	51
3. ПАВЕЛ СУХОТИН. — Игрушка, рассказ	55
4. ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ. — Фронты, стихотворение	68
5. М. ГЕРАСИМОВ. — В кузнице, стихотворение	69
6. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Хождение по мукам, роман, продолжение	70
7. ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ. — Канун, стихотворение	100
8. МИХ. ПРИШВИН. — Положение, девятое звено «Кашеевой цепи»	101
9. НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ. — Наводнение в Ленинграде, стихотворение	135
10. АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. — Приключение, рассказ	136
11. АНТОН ПРИШЕЛЕЦ. — Сады, стихотворение	141
12. А. ЯСНЫЙ. — На рассвете, стихотворение	142
13. МИХ. ВОЛКОВ. — Жилтоварищество № 1331, повесть, окончание	143
14. МАРК ТАРЛОВСКИЙ. — Чудило, стихотворение	172
—	
15. С. Я. ВОЛЬФСОН. — Семья и брак в современной Германии .	174
16. А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ. — Тезисы о задачах марксистской критики	188
17. А. ЕФРЕМИН. — Несколько замечаний о стиле Д. Бедного . .	197

С О В Е Т С К А Я З Е М Л Я

18. С. БУДАНЦЕВ. — Днепропетровск	209
---	-----

Д О М А И З А Г Р А Н И Ц Е Й

19. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — Деревня Старожилиха образуется .	217
20. Г. САНДОМИРСКИЙ. — Умирающая романтика	229

21. Ф. РОГИНСКАЯ. — Художественная жизнь Москвы 237
22. П. МАРКОВ. — Очерки театральной жизни 243

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Ю. СОБОЛЕВ. — А. П. Чехов «Несобранные письма» 249
Н. МИХАЙЛОВСКИЙ. — В. Рожицын «Атеизм Пушкина» 250
Н. КРЕМЕНСКИЙ. — «Недра», книга 14-я 252
Н. ЗАМОШКИН. — Глеб Алексеев «Свет трех окон» 253
Н. ЮРГИН. — Д. Крутиков «Кудеяров вир» 254
А. Р. ПАЛЕЙ. — Вл. Юрезанский «Яблони» 255
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Н. Берендгоф «Бег» 256

ОТ РЕДАКЦИИ:

Окончание повести Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева» не может быть напечатано в настоящей и седьмой (июльской) книгах «Нового Мира» по болезни автора.

Жизнь Клима Самгина

Вторая часть трилогии „Сорок лет“

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(Продолжение ¹⁾)

Самгин соскочил с постели и зашагал по комнате, искоса поглядывая, как мелькает в зеркале его лицо, нахмуренное, побледневшее от волнения, — лицо недюжинного человека в очках, с остренькой, светлой бородкой.

«Да, эволюция! Оставьте меня в покое. Бесплодные мудрствования — как это? Grübelnsucht. Почему я обязан думать о мыслях, людях, событиях, неинтересных для меня, почему? Я все время чувствую себя в чужом платье, то, слишком широкое, оно сползает с моих плеч, то, узкое, стесняет мой рост».

Мысли его расползались, разваливались, уступая место все более острому чувству недовольства собою. Глаза остановились на фотографии с группы гимназистов, окончивших гимназию вместе с ним; среди них у него не было ни одного приятеля. Он стоял в первом ряду тринадцати человек, между толстым сыном уездного предводителя дворянства и племянником доктора Любомудрова, очень высоким и уже усатым. Сам он показался себе вытянувшимся, точно солдат в строю, смешно надувшим щеки и слепым. Он сердито снял фотографию, вынул ее из рамы, мелко изорвал и бросил клочки в корзину под столом. Хотелось сделать еще что-нибудь, тогда он стал приводить в порядок книги на полках шкафа. Но и это не успокаивало, недовольство собою превращалось в чувство вражды к себе и еще к другому кому-то, кто передвигает его, как шахматную фигуру с квадрата на квадрат. Да, именно так, какая-то злокозненная сила, играя им, сталкивает его с людьми совершенно несоединимыми и как бы только затем, чтоб показать: они — несоединимы, не могут выровняться в стройный ряд. А, может быть, это делается для того, чтоб он убедился в своем праве не соединяться ни с кем?

¹⁾ См. «Новый Мир», № 5 с. г.

Самгин перестал разбирать книги и осторожно отошел к окну, так осторожно, как-будто опасался, что счастливая догадка ускользнет от него. Но она, вдруг вспыхнув, как огонь в темноте, привлекла с поразительной быстротой необыкновенное обилие утешительных мыслей; они соскальзывали с полузабытых страниц прочитанных книг, они как бы давно уже носились вокруг, ожидая своего часа согласоваться. Час настал, и вот они, все одного порядка, одной окраски, закружились, волнуя, обещая создать в душе прочный стержень уверенности в праве Клима Самгина быть совершенно независимым человеком.

«Не жрец, не жертва, а — свободный человек!» — додумался он, как бы издали следя за быстрым потоком мыслей. Он стоял у окна в приятном оцепенении и невольно улыбался, пощипывая бородку.

Щелкнула щеколда калитки, на дворе явился Инок, но не пошел во флигель, а, взмахнув шляпой, громко сказал:

— Я — к вам!

Это было странно. Инок часто бывал у Спивака, но никогда еще не заходил к Самгину. Хотя визит его помешал Климу беседовать с самим собою, он встретил гостя довольно любезно. И сейчас же раскаялся в этом, потому что Инок с порога начал:

— Послушайте, — какой чорт дернул вас читать Елизавете Львовне мои стихи?

Говорил он грубо, сердито, но лицо у него было не злое, а только удивленное; спросив, он полуоткрыл рот и поднял брови, как человек недоумевающий. Но темненькие усы его заметно дрожали, и Самгин тотчас сообразил, что это не обещает ему ничего хорошего. Нужно было что-то выдумать.

— Стихи? Ваши стихи? — тоже удивленно спросил он, сняв очки. — Я читал ей только одно, очень оригинальное по форме стихотворение, но оно было без подписи. Подпись — оторвана.

Теперь он уже искренно изумился тому, как легко и естественно сказались эти слова.

— Оторвана? — повторил Инок, сел на стул и, сунув шляпу в колени себе, провел ладонью по лицу. — Ну, вот, я так и думал, что тут случилась какая-то ерунда. Иначе, конечно, вы не стали бы читать Стихи у вас?

— Редактор разрешил мне уничтожить все стихи, которые не будут напечатаны.

Инок вздохнул, оглянулся и пальцами обеих рук вытер глаза; лицо его, потеряв обычное выражение хмурости, странно обмякло.

— Туда им и дорога. Ух, как душно в городе!

Снова рассеянным взглядом обвел комнату и предложил упрямившим тоном:

— Слушайте, Самгин, пойдете в поле, а?

— С удовольствием, — сказал Клима. Он чувствовал себя виноватым пред Иноком, догадывался, что за чем-то нужен ему, в нем

вспыхнуло любопытство и надежда узнать: какие отношения спутали Инокова, Корвина и Спивак?

На улице, шагая торопливо, ожесточенно дымя папирсой, Иноков говорил:

— Я часто гуляю в поле, смотрю, как там казармы для артиллеристов строят. Сам—лентяй, а люблю смотреть на работу. Смотрю и думаю: наверное, люди когда-нибудь устанут от мелких, подленьких делишек, возьмутся всею силою за настоящее, крупное дело и — сотворят чудеса...

— Вавилонскую башню? — спросил Клим.

— Не плохо было затеяно,—сказал Иноков и толкнул его локтем. — Нет, серьезно; я верю, что люди будут творить чудеса, иначе—жизнь ни гроша не стоит и все надобно послать к чорту! Все эти домики, фонарики, тумбочки...

Щелчком пальца он швырнул окурок далеко вперед, сдвинул шляпу на затылок и угрюмо спросил:

— Это вы рассказывали Елизавете Львовне об этом... о сцене с регентом?

— Разумеется, не я, — обиженно ответил Клим.

Иноков не услышал обиды.

— Кто же? Неужели он сам, мерзавец?

— За что вы его так?

Не сразу, отрывисто, грубыми словами Иноков сказал, что Корвин поставляет мальчиков жрецам однополой любви, уже привлекался к суду за это, но его спас архиерей.

— Все равно, в тюрьме он будет! — глухо проворчал Иноков и пнул ногою покосившуюся тумбу.

— Елизавета Львовна знает это? — неосторожно спросил Самгин, Иноков заглянул в лицо его и тоже спросил:

— А зачем ей знать?

— Она с ним знакома...

— Мало ли сволочей поет у нее в хоре.

Он отхаркнулся, плюнул и угрюмо замолчал.

Вышли в поле, щедро освещенное солнцем, покрытое сероватым, выгоревшим дерном. Мягкими увалами поле, уходя в даль, поднималось к дымчатым облакам; вдали снежными буграми возвышались однообразные конусы лагерных палаток, влево от них, на темном фоне рощи, двигались ряды белых, игрушечных солдат, а еще левее возвышалось в голубую пустоту между облаков очень красное на солнце кирпичное здание, обложенное тоненькими лучинками лесов, облепленное маленькими, как дети, рабочими. Туда, где шагали солдаты, поблескивая штыками, ехал, красуясь против солнца, белый всадник на бронзовом коне.

— С одной стороны города Варавка построил бойни и тюрьму,—заворчал Иноков, шагая по краю оврага, — с другой конкурент его строит казарму.

Серые, сухие былинки трещали, ломаясь под ногами Клима. Открытые пространства всегда настраивали его печально и покорно. Шагая в ногу с Иноковым, он как бы таял в свете солнца, в жарком воздухе, густо насыщенном запахом иссушенных трав. Не было желания говорить и не хотелось слушать, о чем ворчит Иноков. Он шел и смотрел, как вырастают казармы; они строились тремя корпусами в форме трапеции, средний был доведен почти до конца, каменщики выкладывали последние ряды третьего этажа, хорошо видно было, как на краю стены шевелятся фигурки в красных и синих рубахах, в белых передниках, как тяжело шагают вверх по сходням сквозь паутину лесов нагруженные кирпичами рабочие. Шли краем оврага, глубоко размытого в глинистой почве, один скат его был засыпан мусором, зарос кустарником и сорными травами, другой был угрюмо голый, железного цвета и весь точно исцарапан когтями. Было что-то несоединимое в этой глубокой трещине земли и огромной постройке у начала ее, постройке которую возводили мелкие людишки. Самгин подумал, что понадобилось бы много тысяч таких пестреньких фигурок для того, чтоб заполнить овраг до краев.

Иноков вдруг как бы загнулся за что-то, толкнул Клима, крикнул: — Ой, чорт, бежим! — и бросился вперед с быстротой мальчишки.

Несколько секунд Клим не понимал видимого. Ему показалось, что голубое пятно неба, вздрогнув, толкнуло стену и, увеличиваясь над нею, начало давить, опрокидывать ее. Жерди серой деревянной клетки, в которую было заключено огромное здание, закачались, медленно и как бы неохотно наклоняясь в сторону Клима, обнажая стену, увлекая ее за собою; был слышен скрип, треск и глухая, частая дробь кирпича, падавшего на стремянки.

Самгин лишь тогда понял, что стена разрушается, когда с нее в хаос жердей и досок, сползавших к земле, стали прыгать каменщики, когда они, сбрасывая со спины груз кирпичей, побежали с невероятной быстротой вниз по сходням, а кирпичи сыпались вслед, все более громко барабанив по дереву, дробный звук этот заглушал скрип и треск. Самгин побежал, ощущая, что земля подпрыгивает под ним, в то же время быстро подвигая к нему разрушающееся здание. Стена рассыпалась частями, вздыхала бурой пылью, отвратительно кривились пустые дыры окон, одно из них высунуло длинный конец широкой доски и дразнилось им, точно языком.

Не верилось, что люди могут мелькать в воздухе так быстро, в таких неестественно изогнутых позах и шлепаться о землю с таким сильным звуком, что Клим слышал его даже сквозь треск, скрип и разноголосый вой ужаса. Несколько человек бросились на землю как будто с разбега по воздуху, они, видимо, хотели перенестись через ожившую грудку жердей и тесин, но дерево, содрогаясь, как ноги паука, ловило падающих, тискало их. В одном из окон встал человек с длинной палкой в руках, но боковины окна рассыпались, человек бросил палку, взмахнул руками и опрокинулся назад.

Взлетела в воздух широкая соломенная шляпа, упала на землю и покатила к ногам Самгина, он отскочил в сторону, оглянулся и вдруг понял, что он бежал не прочь от катастрофы, как хотел, а, задыхаясь, стоит в двух десятках шагов от безобразной груды дерева и кирпича; в ней вздрагивают, покачиваются концы досок, жердей. У Клима задрожали ноги, он присел на землю, ослепленно мигая, пот заливал ему глаза, сорвав очки, он смотрел, как во все стороны бегут каменщики, плотники и размахивают руками. Особенно прытко, точно жеребенок, бежал подросток в синей рубашке, бежал и оглушительно визжал:

— Дядя Павел, пада-а, дя-а-а...

Он промчался мимо Самгина, показав белое, напудренное известью лицо, с открытым ртом и круглыми, как монеты, глазами.

Большой, бородатый человек, удивительно пыльный, припадая на одну ногу, свалился в двух шагах от Самгина, крикнул, достал пальцами из волос затылка кровь, стряхнул ее с пальцев на землю и, вытирая руку о передник, сказал ровным голосом, точно вывеску прочитал:

— Сволочи, светлы пуговицы, иконымы.

От лагерей скакал всадник в белом, рассеянно бежали солдаты, перегоняя друг друга, подпрыгивая от земли мячиками, далеко сзади них тряслись две зеленые тележки. Солнце нисходило к роще, освещая поле нестерпимо ярко, как бы нарочно для того, чтоб придать несчастью памятную отчетливость.

Самгин боком тихонько отодвигался в сторону от людей, он встряхивал голову, не отрывая глаз от всего, что мелькало в ожившем поле; видел, как Иноков несет человека, перекинув его через плечо свое, человек изогнулся, точно тряпичная кукла, мягкие руки его шарили по груди Инокова, как бы расстегивая пуговицы парусиновой блузы. Подскакал офицер и, размахивая рукой в белой перчатке, закричал на Инокова, Иноков присел, осторожно положил человека на землю, расправил руки, ноги его и снова побежал к обрушенной стене; там уже копошились солдаты, точно белые, мучные черви, туда осторожно сходились рабочие, но большинство их осталось сидеть и лежать вокруг Самгина; они перекликались излишне громко, воющими голосами и особенно звонко, по-бабьи звучал один голос:

— Минаева-то, Павлуху-то — а? Вот те и поехал! Я говорю — Минаева-то...

Тучный, широкобородый каменщик с опухшим лицом и синими мешками в глазницах, всхрапывая, кричал:

— А вы благодарите бога, да-а...

— Я первый догадался...

— Они, сволочи, нагоняют икономию...

— Чего орешь? Молебен надо...

— Видел я, братцы, как Матвей падал, как в омут мырнул, ей-бо-огу!

Самгину казалось, что становится все более жарко и солнце жестоко выжигает в его памяти слова, лица, движения людей. Было

странно слушать возбужденный разноголосый говор каменщиков, говорили они так громко, как-будто им хотелось заглушить крики солдат и чей-то непрерывный, резкий вой:

— Оу-у-оу...

Человек пять стояли, оборотясь затылками к месту катастрофы, лица у них радостны, и маленький, рыжий мужичек, часто крестясь, захлебываясь словами, уверял:

Ей-богу, не вру! Вот как тебя вижу: бежит он сверха, а сходишь под ним сугорбилась, он и взлетел, ей-богу-у!

Самгин оглядывался, пытаюсь понять: как он подбежал столь близко, не желая этого? Он помнил, что, когда Иноков бросился вперед, он побежал не за ним, а в сторону.

«Странно», — подумал он, наблюдая, как солдаты сносят раненых и с ненужной аккуратностью укладывают их в правильный ряд.

Подошел Иноков, левая рука его обмотана платком, зубами и пальцами правой он пытался завязать на платке узел, это не удавалось ему.

— Помогите-ка, — сказал он Климу.

— Ранили?

— Прищемил пальцы.

— Много убитых?

— Видел троих.

Без шляпы, выпачканный известью, с надорванным рукавом блузы, он стоял и зачем-то притопывал ногою по сухой земле, засоренной стружкой, напудренной красной пылью кирпича, стоял и, мигая пыльными ресницами, говорил:

— Глупая штука: когда леса падали, так, знаете, точно огромный паук шевелился и хватал людей.

— Да, — согласился Клима. — Именно — паук. Не могу вспомнить: бежал я за вами или остался на месте?

Иноков посмотрел на него непонимающим взглядом.

— Одному голову расплющило... удивительно! Ничего нет, только нижняя челюсть с бородой. Идем?

Пошли так близко друг к другу, что итти было неловко. Иноков, стирая рукавом блузы пыль с лица, оглядывался назад, толкал Клима, а Клима, все-таки прижимаясь к нему, говорил:

— Знаете, я был уверен, что стою, а, оказалось, я бежал вслед за вами. Странно?

— Что же тут странного? — равнодушно пробормотал Иноков и сморщил губы в кривую улыбку. — Каменщики, которых не побил, отнеслись к несчастью довольно спокойно, — начал он рассказывать. — Я подбежал, вижу человеку ноги защемило между двумя тесинами, лежит в обмороке. Кричу какому-то дяде: помоги вытащить, а он мне: «Не тронь, мертвых трогать не дозволяется». Так и не помог, отошел. Да и все они... Солдаты работают, а они смотрят...

— Испугались, — сказал Самгин и вдруг вспомнил, как быстро он домчался на коньках к Борису Варавке, утопавшему в полынье.

— Ничего похожего на сегодняшнее, — вслух сказал он. Инок востряхнулся, взглянул на него и закончил:

— И я тоже не видал.

Этими словами он погасил воспоминание о Борисе.

Самгина тяготило ощущение расслабленности, физической тошноты, ему хотелось закрыть глаза и остановиться, чтобы не видеть, забыть, как падают люди, необыкновенно маленькие в воздухе.

— Чепуха какая, — задумчиво бормотал Инок, сбивая на ходу шляпой пыль с брюк. — Вам кажется, что вы куда-то не туда бежали, а у меня в глазах — щепочка мелькает, эдакая серая щепочка, точно ею выстрелили, взлетела... совсем как жаворонок... трепещет. Удивительно, право! Тут — люди изувечены, стонут, кричат, а в память щепочка воткнулась. Эти штучки... вот эдакие щепочки... чорт их знает!

Он толкнул Самгина и, замедлив шаг, досказал:

— Меня один человек хотел колом ударить, вырвал кол и занозил себе руку между пальцами, — здоровенная заноза, мне же пришлось ее вытаскивать... у дурака.

Он снова пошел быстрее.

— Щепочки, занозы... Какая-то пыль в душе.

«О занозе он, вероятно, выдумал», — отметил Самгин и спросил: — Что вы хотите сказать?

— А — не знаю. Знал бы, так не говорил, — ответил Инок и вдруг исчез в покосившихся воротах старенького дома.

«Почему это: знал бы, так не говорил? — подумал Самгин. — Какой он неприятный»...

Заходило солнце, главы Успенской церкви горели, точно огромные свечи, мутно-розовый дымок стоял в воздухе.

Дома Самгин машинально прошел в сад, устало прилег на скамью. Раскрашенный в цвета осени сад был тоже наполнен красноватой духотой; уже несколько дней жара угрожала дождями, но ветер разгонял облака и, срывая желтый лист с деревьев, сеял на город пыль. Самгин четко видел уродливо скорченное тело без рук и ног, с головой, накрытой серым передником, тело, как бы связанное в узел и падавшее с невероятной быстротой. Другой человек летел, вытянувшись, вскинув руки вверх, он был неестественно длинен, а неподпоясанная красная рубаха вздулась и сделала его похожим на тюльпан. Клим не помнил, три или четыре человека мелькнули в воздухе, падая со стены, теперь ему казалось, что он видел десяток.

Из открытого окна флигеля доносился спокойный голос Елизаветы Львовны; недавно она начала заниматься историей литературы с учениками школы, человек восемь ходили к ней на дом. Чтоб не думать, Самгин заставил себя вслушиваться в слова Спивак.

— Не ново, что Рембо окрасил гласные, еще Тик пытался вызвать словами впечатления цветковые, — слышал Клим и думал: «Очень двуличная женщина. Чего она хочет?»

Голос Спивак звучал неприятно однотонно и упрямо.

— В сущности же, в основе романтизма скрыто стремление отойти в сторону от действительности, от злобы дня. Несколько грубовато, но очень откровенно сознался в этом романтик Карамзин:

Ах, не все нам слезы горькие
Лить о бедствиях существенных,
На минуту позабудемся
В чарованьи красных вымыслов.

«Как врет», — подумал Самгин, хотя понимал, что она только упрощает.

— И вот, желая заполнить красными вымыслами уже не минуту, а всю жизнь, одни бегут прочь от действительности, а другие...

Самгин встал, подошел к окну и сказал в сумрак знакомой комнаты:

— Обрушились артиллерийские казармы, несколько человек убито, много раненых...

Комната наполнилась шумом отодвигаемых стульев, в углу вспыхнул огонек спички, осветив кисть руки с длинными пальцами, испуганной курицей заклохтала какая-то барышня, — Самгину было приятно смятение, вызванное его словами. Когда он, не спеша, готовясь рассказать страшное, обошел сад и двор, из флигеля шумно выбегали ученики Спивак; она, стоя у стола, звенела абажуром, зажигая лампу, за столом сидел старик Радеев, барабаня пальцами, покачивая головой.

— Как театрально крикнули вы, — сказала Спивак, без улыбки, но и без упрека.

— Да-с, обвинительно, — подтвердил Радеев. — Разбежалась молодежь-то.

Он стал расспрашивать о катастрофе, а Спивак, в темном платье очень прямая и высокая, подняла руки, оправляя прическу, и сказала:

— Кутузов арестован.

— Да-с, на пароходе, — снова подтвердил Радеев и вздохнул. Затем он встал, взял руку Спивак, сжал одной своей рукою и, поглаживая другой, утешительно проговорил: — Так значит будем хлопотать о поруках, так? Ну, будьте здоровы!

Спивак пошла провожать его и вернулась раньше, чем Самгин успел вообразить, как должен отнестись он к аресту Кутузова. Рядом с нею, так же картинно, как тогда на террасе ресторана, шагал Корвин, похожий на разбогатевшего парикмахера.

— Вы знакомы? — равнодушно спросила Спивак, а гость ее высоким тенором слащаво назвал себя:

— Андрей Владимирович Корвин.

Но тотчас же над переносьем его явилась глубокая складка, сдвинула густые брови в одну линию, и на секунду его круглые глаза ночной птицы как-будто слились в один глаз, формою как восьмерка. Это было до того странно, что Самгин едва удержался, чтоб не отшатнуться.

— Я на минуту загляну к сыну, — сказала Спивак, уходя. Корвин вынул из кармана жилета золотые часы.

— У нас до спевки еще сорок минут.

Дождался, когда хозяйка притворила за собою дверь и торопливо, шипящим шопотом, заговорила, вытянув шею:

— Вы были свидетелем безобразия, но—вы не думайте! Я этого не оставлю. Хотя он сумасшедший,—это не оправдание, нет! Елизавета Львовна, почтенная дама, конечно, не должна знать—верно-с? А ему вы скажите, что он получит свое!

— Я не беру таких поручений,—довольно громко сказал Самгин.

— Ш-ш! — зашипел Корвин, подняв руку. — А почему не берете? Почему?

Глаза его разошлись, каждый встал на свое место. Пошевелив усами, Корвин вынул из кармана визитки алый платочек, вытер губы и, крикнув, угрожающе шепнул:

— Вызову свидетелями и вас, и фельетонщика.

Вошла Спивак, утомленно села на кушетку. Корвин тотчас же развязно подвинул к ней стул, сел, подтянул брюки, обнаружив клетчатые носки; колени у него были толстые и круглые, точно двухпудовые гири. Наглый шопот и развязность регента возмутили Самгина, у него вспыхнуло желание сейчас же рассказать Елизавете Львовне, но она взглянула обидно сравнивающим взглядом на него, на Корвина и, перелистывая ноты, осведомилась:

— Вы знаете о несчастье?

Спросила так, что Самгин подумал:

«Это она—о Кутузове? Неужели этот бык тоже революционер?»

Но Корвин не знал о несчастье, и Спивак предложила Климу:

— Расскажите.

Самгин сделал это кратко и сухо, регент выслушал его, не проявив особенного интереса, и строго заметил:

— Торопимся, оттого и разваливается все. И народ у нас распушен.

Металлическим тенорком и в манере человека, привыкшего говорить много, Корвин стал доказывать необходимость организации народных хоров, оркестров, певческих обществ.

— Спорт надобно поощрять, особенно— бокс, народ у нас любит драться...

Голос у него сорвался, регент кашлянул, вызывающе взглянул на Клима и продолжал:

— Дерется идиотски, как зверь, а в драке тоже должна быть дисциплина, законность.

Самгин усмехнулся, но промолчал, ожидая, что скажет Спивак; она, делая карандашом отметки в нотах, сказала, не подняв головы и удивительно неуместно:

— Андрей Владимирович в Корею был.

Регент снова вытер губы алым платочком, соединил глаза в восьмерку и, глядя на Самгина, продолжал еще более строго поучительно:

— Вот, например, англичане: студенты у них не бунтуют и вообще они—живут без фантазии, не бредят, потому что у них—спорт. Мы на Западе плохое хватаем, а хорошего не видим. Для народа нужно чаще устраивать религиозные процессии, крестные хода! Папизм—чем крепок? Именно этими зрелищами, театральностью. Народ постигает религию глазом, через материальное. Поклонение богу в духе проповедуется тысячу девятьсот лет, но мы видим, что пользы в этом мало, только секты расплодились.

— Вы расскажите о корейцах,—предложила Спивак, взглянув на часы.

— Что ж корейцы? Несчастный народ, погибающий от соприкосновения с развращенными Европой японцами,—уже грубовато сказал Корвин и, раскурив папиросу, пустил струю дыма в колени Спивак.

— Народ тихий, наивный, мягкий, как воск,—перечислил он достоинства корейцев, помял мундштук папиросы толстыми и, должно быть, жесткими губами, затем убежденно, вызываяще сказал:—И вовсе не нуждается в культуре.

Он, видимо, вспомнил что-то раздражающее, оскорбительное: глаза его налились кровью, царапая ногтями колени, он стал ругать японцев и, между прочим, сказал смешные слова:

— Вот и у нас все эти трамваи заставляют православную, протестантскую телегу сомневаться в ее правде...

— Пора,—сказала Спивак, вставая; ее слова прозвучали для Самгина двусмысленно, но по лицу ее он увидел, что она, кажется, не слушала регента.

— Идите с нами,—предложила она Климу.

Он понял, что это нужно ей, и ему хотелось еще послушать Корвина. На улице было неприятно; со дворов, из переулков вырывался ветер, гнал поперек мостовой осенний лист, листья прижимались к заборам, убегали в подворотни, а некоторые, подпрыгивая, вползали не высоко по заборам, точно испуганные мыши, падали, кружились, бросались под ноги. В этом было что-то, напоминавшее Самгину о каменщиках и плотниках, падавших со стены.

— По природе своей женщина обязана верить,—говорил Корвин тоном привычного проповедника.

Он шел, высоко поднимая тяжелые ноги, печатая шаг генеральски отчетливо, тросточку свою он держал под мышкой как бы для того, чтоб Самгин не мог подойти ближе.

— Ох, скучно говорите вы,—вздохнула Спивак, а Корвин упрямо продолжал:

— Неверующая женщина — искажение...

Самгин свернул в переулок, скупо освещенный двумя фонарями; ветер толкал в спину, от пыли во рту и горле было сухо, он решил зайти в ресторан, выпить пива, посидеть среди простых людей. Вдруг,

из какой-то дыры в заборе, шагнула на панель маленькая женщина в темном платочке и тихонько попросила:

— Проводите меня.

Самгин пошел быстрее, а она, не отставая, стучала каблуками по кирпичу панели, точно коза копытами, и за плечом Климá звучал упрашивающий шопот:

— Я тут близко живу.

Самгин заглянул в круглое, курносое, большеротое лицо и озлобленно сказал:

— Прочь.

Девица испуганно отскочила.

«Вот так бы отшвырнуть от себя все ненужное».

Но через минуту, на главной улице города, он размышлял, оправдываясь:

«Это Лидия привила мне озлобление против женщин».

О Лидии он думал все реже, каждый раз более враждебно, а сегодня вражда к ней вспыхнула особенно ярко.

«Какая изломанная, жалкая», — думал он, сидя в ресторане, а память услужливо подсказывала нелепые фразы и вопросы девушки.

— Послушай, — ведь это ужасно: бог — и половые органы!..

Он давно уже заметил, что его мысли о женщинах становятся все холоднее, циничней, он был уверен, что это ставит его вне возможности ошибок, и находил, что бѣдетная самка Маргарита говорила о сестрах своих верно.

Поперек длинной, узкой комнаты ресторана, у стен ее, стояли диваны, обитые рыжим плюшем, каждый диван на двоих; Самгин сел за столик между диванами и почувствовал себя в огромном уродливо вытянутом вагоне. Теплый, тошный запах табака и кухни наполнял комнату, и казалось естественным, что воздух окрашен в мутно-синий цвет.

Брякали ножи, вилки, тарелки; над спинкой дивана возвышался жирный, в редких волосах, затылок подрядчика строительных работ Меркулова, затылок напоминал плохо ощипанную курицу. Напротив подрядчика сидел епархиальный архитектор Дианин, большой и бородатый, как тот арестант в кандалах, который, увидав Климá в окне, крикнул товарищу своему:

— Лазарь воскрес!

— Все ездют, дураки, северный полюс ищут, — а на кой чорт он нужен, полюс? — угрюмо негодовал Меркулов.

— Любопытство, — объяснил архитектор, прихлебывая вино и строго уставив на Климá черные глаза. — Любознательность, — прибавил он.

Слева от Самгина хохотал на «о» владелец лучших в городе семейных бань Домогаилов, слушая быстрый говорок Мазина, члена городской управы, толстого, с дряблым, безволосым лицом скопца; два года тому назад этот веселый распутник насильно выдал дочь свою за

вдового помощника полицмейстера, а дочь, приехав домой из-под венца, застрелилась.

— Он, бедненький, дипломатическую рожу сделал себе, а у меня коронка от шестерки, ну, я его и взвинтила!—сочно хвасталась дородная женщина в шелках; ее уши, пухлые, как пельмени, украшены тяжелыми изумрудами, смеется она смехом уничтожающим. Это—Фиона Трусова, ростовщица, все в городе считают ее женщиной безжалостной, а она говорит, что ей известен «секрет счастливой жизни». Она—дочь кухарки предводителя уездного дворянства, начала счастливую жизнь любовницей его, быстро израсходовала старика, вышла замуж за ювелира, он сошел с ума; потом она жила с вице-губернатором, теперь живет с актерами, каждый сезон с новым; город наполнен анекдотами о ее расчетливом цинизме и удивляется ее щедрости: она выстроила больницу для детей, а в гимназиях, мужской и женской, у нее больше двадцати стипендиатов.

— В этом сезоне у нас драматическая труппочка шикарнейшая будет,—говорит она со вкусом, наливая коньяк лесоторговцу Мазину,—маленькому, носатому, сверкающему рыжими глазами.

— Деды и отцы учили: надо знать, где что взять,—ворчит Меркулов архитектору, а тот, разглядывая вино на огонь, вздыхает:

— Сейчас церковное строительство процветает в Сибири по линии железной дороги.

— Нет, ты, Фиона Митревна, послушай!—кричит Усов.—Приехал в Васильсурск испанец дубовую клепку покупать, говорит только по-своему да по-французски. Ну, Васильсурску не учиться же по-испански, и начали испанца по-русски учить. Ну, знаешь, и — научили...

Самгин ел раков, пил вкусное пиво, слушал. Семнадцать человек сосчитал он в ресторане, все это—домовладельцы, «отцы города», как зовет их Робинзон. Это не самые богатые люди, но они именно те «чернорабочие, простые люди», которые, по словам историка Козлова, не торопясь, налаживают крепкую жизнь, и они значительно крупнее богатей, уже сытых до конца дней, обленившихся и равнодушных к жизни города. По Козлову, да и по внушению разума, следовало бы думать об этих людях благожелательно, но Самгин думал:

«Кончу университеты и должен буду служить интересам этих быков. Женюсь на дочери одного из них, нарожу гимназистов, гимназисток, а они, через пятнадцать лет, не будут понимать меня. Потом—расколстею и, может быть, тоже буду высмеивать любознательных людей. Старость. Болезни. И—умру, чувствуя себя Исааком, принесенным в жертву, — какому богу?»

Мысли были новые, чужие и очень тревожили, а отбросить их — не было силы. Звон посуды, смех, голоса наполняли Самгина гулом, как пустую комнату, гул этот плавал сверх его размышлений и не мешал им, а хотелось, чтобы что-то погасило их. Сближались и угнетали воспоминания, все более неприязненные людям. Вот Варав-

ка, для которого все люди — только рабочая сила, вот гладенький, чистенький Радеев говорит ласково:

— Люблю интеллигентных людей за бескорыстие ихнее, за честное отношение к работе-с.

Рядом с ними — Лютов, который относится к революционерам точно к приказчикам своим. Вспомнился и Кутузов, посвятивший себя работе разрушения этой жизни, но Клим Самгин мысленно отмахнулся от него.

«Этот вышел из игры. И, вероятно, надолго. А Маракуевы, Полярковы, — что они могут сделать против таких вот?» — думал он, наблюдая людей в ресторане. — «Мне следует развлечься», — решил он, и через несколько минут вышел на притихшую улицу.

Клочковатые, черные облака двигались над городом; он сравнил облака с медведями. В синих пропастях сверкали необычно яркие звезды, сверкали как бы нарочно для того, чтоб видно было, как глубоко пропасти, откуда веяло осенней свежестью. Магазины уже закрыты и было так темно, что столбы фонарей почти не замечались, а огни их, заключенные в стекла, как-будто взвешаны в воздухе. Ночные женщины шагали по панели от фонаря к фонарю, как солдаты на часах, таскали тени свои по истоптанному кирпичу. Клим заглядывал под шляпы, ему улыбались лица, стертые темнотой; улыбочки отталкивали.

«Самый независимый человек — Иноков, — думал Клим. — Но независим лишь потому, что еще не успел соблазниться чем-то. Впрочем, он уже влюбился в женщину, которая лет на десять или более старше его».

Самгин свернул за угол в темный переулок, на него налетел ветер, пошатнул, осыпал пыльной скукой. Переулок был кривой, беден домами, наполнен шорохом деревьев в садах, скрипом заборов, свистом в щелях; что-то хлопало, как плеть пастуха, и можно было думать, что этот переулок — главный путь, которым ветер врывается в город.

От пива в голове Самгина было мутно и отяжелели ноги, а ветер раздувал какие-то особенно скучные мысли. Самгин дошел до маленькой, древней церкви Георгия Победоносца, спрятанной в полукольце домиков; перед папертью врыты в землю, как тумбы, две старинные пушки. Присев на ступени паперти, протирая платком запыленные глаза и очки, Самгин вспомнил, что Борис Варавка мечтал выковырять землю из пушек, достать пороха и во время всенощной службы выстрелить из обеих пушек сразу. Борис часто размышлял о том, как бы и чем испугать людей. Если б он жил, он, конечно, стал бы революционером...

«Чорт знает, какая тоска», — почти вслух подумал Самгин, раскачивая на пальце очки и лоя стеклами отблески огня лампы, горевшей в притворе паперти за спиной его. Каждый раз, когда ему было плохо, он уверял себя, что так плохо он еще никогда раньше не чувствовал. Эти настроения смущали, даже унижали его и он стал внушать себе, что в них есть нечто отрешенное, героическое, даже

демоническое, пожалуй. Вот и сейчас: он — в нелюбимом городе, на паперти церкви, ненужной ему; ветер шумит, черные чудовища ползут над городом, где у него нет ни единого близкого человека.

«Ребячливо думаю я», — предостерег он сам себя. — «Книжно», — поправился он и затем подумал, что, прожив уже двадцать пять лет, он никогда не испытывал нужды решить вопрос: есть бог или — нет? И бабушка, и поп в гимназии, изображая бога законодателем морали, низвели его на степень скучного подобия самих себя. А бог должен быть или непонятен и страшен, или так прекрасен, чтоб можно было вразумно восхищаться им.

«Нет, удивительно глупо все сегодня», — решил он, вздохнув. И, прислушиваясь к чьим-то голосам вдали, отодвинулся глубже в тень.

— Врешь ты, Солиман, — громко и грубо сказал Иноков; он и еще сказал что-то, но слова его заглушил другой голос:

— Татарин врет — никогда! Говорить надо — Зулейман.

Они остановились перед окном маленького домика, и на фоне занавески, освещенной изнутри, Самгин хорошо видел две головы: востроухую Инокова и гладкую в тюбетейке.

— Ты зачем татарину пьяный поил?

— Иди домой!

— Погодим. Настоящи сафьян делаим козловы кожа, не настоящи — барани кожа, — ну?

Татарин был длинный, с узким лицом, реденькой бородкой и напоминал Ли Хунг-чанга, который гораздо меньше похож на человека, чем русский царь.

«В боге не должно быть ничего общего с человеком, — размышлял Самгин. — Китайцы это понимают, их боги — чудовищны, страшны...»

Иноков постучал пальцем в окно, и, размахивая шляпой, пошел дальше. Когда ветер стер звук его шагов, Самгин пошел домой, подгоняемый ветром в спину, пошел сожалея, что не догадался окрикнуть Инокова и отправиться с ним куда-нибудь, где весело.

«Он, вероятно, знает каких-нибудь девиц... с гитарами».

Когда он вошел во двор дома, у решетки сада стояла Елизавета Львовна.

— Мне кажется — в саду кто-то ходит, — вполголоса сказала она. — Слышите?

— Ветер, — отозвался Клим.

— Вы что же скрылись от нас? — спросила Спивак, открывая калитку в сад.

— Не нравится мне этот регент, — сказал Самгин и едва удержался: захотелось рассказать, как Иноков бил Корвина. — Кто он такой?

Спивак, идя по дорожке, присматриваясь к кустам, стала рассказывать о Корвине тем тоном, каким говорят, думая совершенно о другом, или для того, чтоб не думать. Клим узнал, что Корвина, больного, без сознания, подобрал в поле приказчик отца Спивак, при-

вез его в усадьбу, и мальчик рассказал, что он был поводырем слепых; один из них, называвший себя его дядей, был не совсем слепой, обращался с ним жестоко, мальчик убежал от него, спрятался в лесу и заболел, отравившись чем-то или от голода.

— Ему было тогда лет восемь или десять и нашли его в день, когда я родилась. Моя мать, очень суеверная, видя в этом какое-то указание свыше, уговорила отца оставить мальчика у нас. Он был очень дикий, трудный мальчик, его стали учить грамоте, — он убежал. До пятнадцати лет с ним ничего не могли сделать. Потом он был подпаском в монастыре и снова жил у нас; отец очень много возился с ним, но все неудачно. Мужики обвинили его в попытке растлить маленькую девочку и едва не убили. Он снова ушел в монастырь, был послушником, последний раз я его видела таким суровым, молчаливым монашком. С той поры прошло двадцать лет и за это время он прожил удивительно разнообразную жизнь, принимал участие в смешной авантюре казака Ашинова, который хотел подарить России Абиссинию, работал где-то во Франции бойцом на бойнях, наконец, был миссионером в Корее, — это что-то очень странное, его миссионерство. Честолюбив, неудачник и поэтому озлоблен. Грубоват, как видите. Изумительная память. Вы познакомьтесь с ним, он — интересный.

— Не хочу, — сказал Самгин. — Я уже устал от интересных людей.

— Да? — равнодушно спросила Спивак.

— Да, — повторил он заодно. — Мне кажется, — интересные люди, это люди, которые хотят доказать, что они интересны.

— Вот как? — спросила женщина, остановившись у окна флигеля и заглядывая в комнату, едва освещенную маленькой ночной лампой. — Возможно, что есть и такие, — спокойно согласилась он. — Ну, пора спать.

Ветер, встряхивая деревья, срывал сухой лист, все быстрее плыли облака, гася и зажигая звезды.

— Елизавета Львовна, скажите: почему вы революционерка? — вдруг спросил Самгин.

Она, замедлив шаг, посмотрела на него.

— Станный вопрос.

— Я знаю.

— Запоздалый вопрос.

— Детский и так далее, но — все-таки?

Идя впереди его, Спивак сказала негромко:

— Не назову себя революционеркой, но я человек совершенно убежденный, что классовое государство изжило себя, бессильно и что дальнейшее его существование опасно для культуры, грозит вырождением народу, — вы все это знаете. Вы — что же?..

— Это — от Кутузова, — пробормотал Клим.

— И — потому? — спросила она, входя на крыльцо флигеля. — Да, Степан мой учитель. Вас грызут сомнения какие-то?

В ее вопросе Климу послышалась насмешка, ему захотелось спросить с нею, даже сказать что-то дерзкое и он очень не хотел остаться наедине с самим собою. Но она открыла дверь и ушла пожелав ему спокойной ночи. Он тоже пошел к себе, сел у окна на улицу, потом открыл окно; напротив дома стоял какой-то человек, безуспешно пытаясь закурить папиросу, ветер гасил спички. Четко звучали чьи-то шаги. Это — Иноков.

— Куда вы? — окликнул его Самгин.

— Вообще, в пространство. А вы что, один? Можно к вам?

— Идите.

Через пять минут Иноков, сидя в комнате Самгина, с папиросой в зубах, со стаканом вина в руке, жаловался:

— Нервы у меня — ни к чорту! Бегаю по городу... как-будто человека убил и совесть мучает. Глупая штука!

Всегда как-будто напоказ неряшливый, сегодня Иноков был особенно запылен и растрепан; в первую минуту он даже показался пьяным Самгину.

— Вы что делаете теперь?

Иноков устало вздохнул:

— Редактирую сочинение «О методах борьбы с лесными пожарами», — старичек один сочинил. Малограмотный старичек, а — бойкий. Моралист, гуманист, десять заповедей, нагорная проповедь. «Хороший тон», — есть такое евангелие, изданное «Нивой».

Слова он говорил насмешливые, а звучали они печально и очень торопливо, как-будто он бежал по словам. Вылив остаток вина из бутылки в стакан, он вдруг спросил:

— А что, бывает с вами так: один Самгин ходит, говорит, а другой все только спрашивает: это — куда же ты, зачем?

— Нет, не бывает, — твердо сказал Клим, очень удивленный. — Не ожидал, что вы скажете это. Есть такие сектантские стишки:

Нога кричит: куда иду?

Рука...

— Сектантство, самозванство, — пробормотал Иноков и, усмехаясь, нелепо прибавил: — чернокнижие.

— Чернокнижие? Что вы хотите сказать? — еще более удивился Клим.

— Так, сболтнул. Смешно и... отвратительно даже, когда идиоты делают вид, что они заботятся о благоустройстве людей, — сказал он, присматриваясь, куда бросить окурок. Пепельница стояла на столе за книгами, но Самгин не хотел подвинуть ее гостю.

«Диомидов — врет, он — домашний, а вот этот действительно — дикий», — думал он, наблюдая за Иноковым через очки. Тот бросил окурок под стол, метясь в корзину для бумаги, но попал в ногу Самгина и лицо его вдруг перекошилось уродливой гримасой.

— Вы думаете, что способны убить человека? — спросил Самгин, совершенно неожиданно для себя подчинившись очень острому жела-

нию обнажить Инокова, вывернуть его наизнанку. Иноков посмотрел на него удивленно. Приоткрыв рот и поправляя волосы обеими руками, угрюмо спросил:

— Это вы по поводу Корвина, что ли?

— Чего вы хотите от него?

— Чтоб он издох. А почему вы догадались, что я об этом думаю?

— По лицу, — сказал Самгин.

— Какой вы пронизательный, чорт возьми, — тихонько проворчал Иноков, взял со стола пресс-папье — кусок мрамора с бронзовой, тонконогой женщиной на нем — и улыбнулся своей второй, мягкой улыбкой. — Замечательно пронизательный, — повторил он, ощупывая пальцами бронзовую фигурку. — Убить, наверное, всякий способен, ну, и я тоже. Я — не злой, вообще, а иногда у меня в душе вспыхивает эдакий зеленый огонь, и тут уж я себе — не хозяин.

Самгин слушал внимательно, ожидая, когда этот дикарь начнет украшать себя перьями орла или павлина. Но Иноков говорил о себе невнятно, торопливо, как о незначительном и надоевшем, он был занят тем, что отгибал руку бронзовой женщины, рука уже была предостерегающе или защитно поднята.

— Пишите стихи? — спросил Самгин.

— Пишем. Скверно пишем, — озабоченно трудясь над пресс-папье ответил Иноков. — Рифмы мешают. Как только рифма, — чувствуешь, что соврал.

Он отломил руку женщины, пресс положил на стол, обломок сунул в карман и сказал:

— Извините. Плохая бронза, слишком мягка, излишек олова. Можно припаять, я припаяю.

Он оглянулся, взял книгу со стола, посмотрел на корешок и снова сунул на стол.

— Шопенгауера я читал по-немецки с одним знакомым. Студент Ярославского лицея, выгнанный, лентяй, жаждет истины. Ночью приходит ко мне, — в одном доме живем, — жалуется: вот, Шлейермахер утверждает, что идея счастья была акушеркой, при ее помощи разум родил понятие о высшем благе. Но он же сказал, что добродетель и блаженство разнородны по существу и что Кант ошибался, смешав идею высшего блага с элементами счастья. Расстраивается: как это примирить? А вы, говорю, не примиряйте, все это ерунда. Обижается. Я его натравил на Томилина, — знаете, конечно, Томилина-то?

Самгин кивнул. Иноков снова взял пресс и начал отгибать длинную ногу бронзовой женщины, продолжая:

— Человек — фабрикант фактов.

— Система фраз, — хотел сказать Самгин, но — воздержался.

— Фактов накоплено столько, что из них можно построить десятки теорий прогресса, эволюции, оправдания и осуждения действительности. А мне, вот, хочется бить в морду прогрессу, — нахальная, циничная у него морда.

— Это — из Достоевского, из подполья, — сказал Самгин, с любопытством следя, как гость отламывает бронзовую ногу.

— Ну, так что? — спросил Иноков, не поднимая головы. — Достоевский тоже включен в прогресс и в действительность. Мерзостная штука — действительность, — вздохнул он, пытаясь загнуть ногу к животу и, наконец, сломал ее. — Отскакивают от нее люди, — вы замечаете это? Отлетают в сторону.

Он взглянул на Клима, постукивая ножкой по мрамору, и спросил:

— Как падали рабочие-то, а? Действительность, чорт... У меня, знаете, эдакая... светлейшая пустота в голове, а в пустоте мелькают кирпичи, фигурки... детские фигурки.

Лицо Инокова стало суровым, он прищурил глаза, и Клим впервые заметил, что ресницы его красиво загнуты вверх. В речах Инокова он не находил ничего вымышленного, даже чувствовал нечто родственное его мыслям, но думал:

«Анархист».

— Кто-то стучит, — сказал Иноков, глядя в окно.

Клим прислушался. Осторожно щелкала щеколда калитки, потом заскрипело дерево ворот, точно собака царапалась.

— Неужели — воры? — спросил Иноков, улыбаясь. Клим подошел к окну и увидел в темноте двора, что с ворот свалился большой, тяжелый человек, от него отскочило что-то круглое, человек схватил эту штуку, накрыл ею голову, выпрямился и стал жандармом, а Клим, почувствовал неприятную дрожь в коже спины, в ногах, шепнул с надеждой:

— Это — к Спивак.

— Эх, — угрюмо сказал Иноков, отталкивая его. — Пойду к ней.

Он убежал, оставив Самгина считать людей, гуськом входивших на двор, насчитал он чортову дюжину, тринадцать человек. Часть их пошла к флигелю, остальные столпились у крыльца дома и тотчас же в тишине пустых комнат зловеще задребезжал звонок.

«Пусть отогреет горничная», — решил Самгин, но, зачем-то убавив огня в лампе, побежал открывать дверь.

Первым втиснулся в дверь толстый вахмистр с портфелем под мышкой, с седой, коротко подстриженной бородой, он отодвинул Клима в сторону, к вешалке для платья и освободил путь чернородому офицеру в темных очках, а офицер спросил ленивым голосом:

— Г. Самгин?

Клим наклонил голову.

— Этот человек был у вас?

— Да ведь я же сказал вам, — грубо и громко крикнул Иноков из-за спины офицера.

— Ваша комната?

— Это — обыск? — спросил Клима и кашлянул, чувствуя, что у него вдруг высохло в горле.

Выгнув грудь, закинув руки назад, офицер встряхнул плечами, старый жандарм бережно снял с него пальто, подал портфель, тогда офицер, поправив очки, тоже спросил тоном старого знакомого:

— А что ж иное может быть?

«Не надо волноваться», — посоветовал себе Клим, сунув глубоко в карманы брюк стеснявшие его руки.

Странно и обидно было видеть, как чужой человек в мундире удобно сел на кресло к столу, как он выдвигает ящики, небрежно вытаскивает бумаги и читает их, поднося близко к тяжелому носу, тоже удобно сидевшему в густой и, должно быть, очень теплой бороде. По темным стеклам его очков скользил свет лампы, огонь которой жандарм увеличил, но думалось, что очки освещает не лампа, а глаза, спрятанные за стекла. Пальцы офицера тупые, красные, а ногти—острые, синие. Надув волосатое лицо, он действовал не торопясь, в жестах его было что-то даже пренебрежительное; по тому, как он держал в руках бумаги, было видно, что он часто играет в карты.

«Вот как это делается», — уныло подумал Самгин, а жандарм, встряхивая тощей пачкой газетных вырезок, ленивенько спрашивал:

— Это — ваши статейки?

— Да. Из местной газеты.

— Читал. А — это?

— Различные заметки для будущих статей.

Клим хотел бы отвечать на вопросы так же громко и независимо, хотя не так грубо, как отвечает Иноков, но слышал, что говорит он как человек, склонный признать себя виноватым в чем-то.

Офицер отложил заметки в сторону, постучал по ним пальцем, как старик по табакерке и, вздохнув, начал допрашивать Инокова:

— Чем занимаетесь? Пишите... гм! Где пишете?

— У себя в комнате, на столе,—угрюмо ответил Иноков; он сидел на подоконнике, курил и смотрел в черные стекла окна, застилая их дымом.

— Прошу не шутить,—посоветовал жандарм, дергая ногою,—репеек его шпоры задел за ковер под креслом, Климу захотелось сказать об этом офицеру, но он промолчал, опасаясь, что Иноков поймет вежливость, как угодливость. Клим подумал, что если б Инокова не было, он вел бы себя как-то иначе. Иноков вообще стеснял, даже возникало опасение, что грубоватые его шуточки могут как-то осложнить происходящее.

«Не нужно волноваться», — еще раз напомнил он себе и все более волновался, наблюдая, как офицер пытается освободить шпору, дергает ковер.

Седобородый жандарм, вынимая из шкафа книги, встряхивал их, держа вверх корешками, и следил, как молодой товарищ его, разрыв постель, заглядывает под кровать, в ночной столик. У двери, мечтательно покуривая, прижался околоточный надзиратель, он пускал дым за дверь, где неподвижно стояли двое штатских и откуда притекал

запах иодоформа. Самгин поймал взгляд молодого жандарма и шепнул ему:

— Отцепите шпору.

— Благодарю,—сказал офицер, когда жандарм припал на колено перед ним.

«Осел, — мысленно обругал его Клим. — Иноков может подумать, что ты благодаришь меня».

Но Иноков, сидя в облаке дыма, прислонился виском к стеклу и смотрел в окно. Офицер согнулся, чихнул под стол, поправил очки, вытер нос и бороду платком и, вынув из портфеля пачку бланков, начал, не торопясь, писать. В этой его неторопливости, в небрежности заученных движений было что-то обидное, но и успокаивающее, как будто он считал обыск делом несерьезным.

Вошел помощник пристава, круглолицый, черноусый, похожий на Корвина, неловко нагнулся к жандарму и прошептал что-то.

— Пуаре пришел, — вдруг воскликнул Иноков. — Здравствуйте, Пуаре!

Полицейский выпрямился, стукнув шашкой о стол, сделал строгое лицо, но выпученные глаза его улыбались, а офицер, не поднимая головы, пробормотал:

— Сейчас. Фомин,—понятых!

Из коридора к столу осторожно, даже благоговейно, как бы к причастию, подошли двое штатских, — ночной сторож и какой-то незнакомый человек, с измятым, неясным лицом, с забинтованной шеей, это от него пахло иодоформом. Клим подписал протокол, офицер встал, встряхнулся, проворчал что-то о долге службы и предложил Самгину дать подписку о невыезде. За спиной его полицейский подмигнул Инокову глазом похожим на голубиное яйцо, Иноков дружески мотнул встрепанной головой.

— Пошли к Елизавете Львовне,—сказал он, прыгнув с подоконника и пытаясь открыть окно. Окно не открывалось. Он стукнул кулаком по раме и спросил: — Неужели арестуют? У нее — ребенок.

— На это не смотрят,—заметил Клим, тоже подходя к окну. Он был доволен, обыск кончился быстро, Иноков не заметил его волнения. Доволен он был и еще чем-то.

— У вас — дружба с этим Пуаре? — спросил он, готовясь к вопросам Инокова.

Взглянув на него, Иноков достал папиросу, но, не закуривая, положил ее на переплет рамы:

— Всегда спокойная, холодная, а — вот, — заговорил он, усмехаясь, но тотчас же оборвал фразу и неуместно чмокнул. — Пуаре? — переспросил он неестественно громко, и неестественно оживленно начал рассказывать: — Он — брат известного карикатуриста Каран д'Аша, другой его брат — капитан одного из пароходов Добровольного флота, сестра — актриса, а сам он был поваром у губернатора, затем околоточным надзирателем, да...

Сжав пальцы рук в один кулак, он спросил тише, беспокойно: — Вы думаете — найдут у нее что-нибудь?

Клим пожал плечами:

— Не знаю.

— Беспутнейший человек, этот Пуаре,—продолжал Иноков потирая лоб, глаза и говоря уже так тихо, что сквозь его слова были слышны ворчливые голоса на дворе. — Я даю уроки немецкого языка. Играем в шахматы. Он холостой и распутник. В спальне у него неугасимая лампада перед статуэткой богоматери, но на стенах развешаны в рамках голые женщины французской фабрикации. Как бескрылые ангелы. И — десятки парижских тетрадей «Ню». Циник, сластолюбец...

Он замолчал, прислушался.

— Как они долго, чорт их возьми! — пробормотал он, отходя от окна; встал у шкафа и, рассматривая книги, снова начал:

— Как-то я остался ночевать у него, он проснулся рано утром, встал на колени и долго молился шопотом, задыхаясь, стуча кулаками в грудь свою. Кажется, даже до слез молился... Уходят, слышите? Уходят!

Да, на дворе топали тяжелые ноги, звякали шпоры, темные фигуры ныряли в калитку.

— Светлее стало, — усмехаясь, заметил Самгин, когда исчезла последняя темная фигура и дворник шумно запер калитку. Иноков ушел, топая, как лошадь, а Клим посмотрел на беспорядок в комнате, бумажный хаос на столе и его обняла усталость, как-будто жандарм отравил воздух своей ленью.

«Вот еще один экзамен», — вяло подумал Клим, открывая окно. По двору ходила Спивак, кутаясь в плед, рядом с нею шагал Иноков, держа руки за спиной, и ворчал что-то.

— Ну, это глупости, — громко сказала женщина.

Самгин тоже вышел на двор, тогда они оба замолчали, а он общил:

— Скоро светать будет.

Женщина взглянула в тусклое небо, ее лицо было так сердито заострено, что показалось Климу незнакомым.

— А вы бы его за волосы, — вдруг посоветовал Иноков и сказал Самгину: — У нее товарищ прокурора в бумагах рылся, скотина.

— Сядемте,—предложила Спивак, не давая ему договорить, и опустилась на ступени крыльца, спрашивая Инокова: — Что ж, написали вы рассказ?

Клим догадался, что при Инокове она не хочет говорить по поводу обыска. Он продолжал шагать по двору, прислушиваясь, думая, что к этой женщине не привыкнуть, так резко изменяется она.

Пели петухи и лаяла беспокойная собака соседей, рыжая, мохнатая, с мордой лисы, ночами она всегда лаяла как-то вопросительно и вызывающе, — полагает и с минуту слушает: не откликнутся ли ей? Голосишко у нее был заносчивый и едкий, но слабенький. А днем она

была почти невидима, лишь изредка, высунув морду из-под ворот, подозрительно разнюхивала воздух, и всегда казалось, что сегодня морда у нее не та, что была вчера.

— Изорвал, знаете; у меня все расплозлось, людей не видно стало, только слова о людях, — глухо говорил Иноков, прислонясь к белой колонке крыльца, разминая пальцами папиросу. — Это очень трудно — писать бунт; надобно чувствовать себя каким-то... полководцем, что ли? Стратегом.

Он подергал плечом, взбил волосы со лба, но наклонился к Елизавете Львовне и волосы снова осыпали топорное лицо его.

— Пишу другой; мальчика заставили пасти гусей, а когда он полюбил птиц, его сделали помощником конюха. Он полюбил лошадей, но его взяли во флот. Он море полюбил, но сломал себе ногу и пришлось ему служить лесным сторожем. Хотел жениться — по любви — на хорошей девице, а женился из жалости на замученной вдове с двумя детьми. Полюбил и ее, она ему родила ребенка; он его понес крестить в село и дорогой заморозил...

— Вы это выдумали? — тихонько спросила Спивак.

— Не все, — ответил Иноков почему-то виноватым тоном. — Мне Пуаре рассказал, он очень много знает необыкновенных историй и любит рассказывать. Не решил я — чем кончить? Закопал он ребенка в снег и ушел куда-то, пропал без вести или, возмущенный бесплодностью любви, сделал что-нибудь злое? Как думаете?

Спивак ответила кратко и невнятно.

У дверей кухни глуховатый, молчаливый дворник Юнус насаживал на палку новую метлу.

Мутный свет обнаруживал грязноватые облака; завыл гудок паровой мельницы, ему ответил свист лесопилки за рекою, потом засвистело на заводе патоки и крахмала, на спичечной фабрике, а по улице уже звучали шаги людей. Все было так привычно, знакомо и успокаивало, а обыск — точно сновидение или нелепый анекдот, в роде рассказанного Иноковым. На крыльцо флигеля вышла горничная в белом, похожая на мешок муки, и сказала, глядя в небо:

— Петя проснулся!

Спивак, вскочив, быстро пошла, плед тащился за нею по двору. Медленно, всем корпусом повертываясь вслед ей, Иноков пробормотал:

— Пойду и я.

Вошел в дом, тотчас же снова явился в разлеталке, в шляпе, и, молча пожав руку Самгина, исчез в сером сумраке, а Клим задумчиво прошел к себе, хотел раздеться, лечь, но развороченная жандармом постель внушала отвращение. Тогда он стал укладывать бумаги в ящики стола, доказывая себе, что обыск не будет иметь никаких последствий. Но логика не могла рассеять чувства угнетения и темной подспудной тревоги.

В полдень, придя в редакцию, он вдруг очутился в новой для него атмосфере почтительного и поощряющего сочувствия, там уже

знали, что ночью в городе были обыски, арестован статистик Смолин, семинарист Долганов, а Дронов прибавил:

— Слесарь с мельницы Радеева, аптекарский ученик — еврей, учительница приходской школы Комарова.

Он сообщил, что жена чернородого ротмистра Попова живет с полицейским врачом, а Попов за это получает жалование врача.

— Он так скуп, что заставляет чинить обувь свою жандарма, бывшего сапожника.

— Да, вот и вас окрестили, — сказал редактор, крепко пожимая руку Самгина, и распустил обиженную губу свою широкой улыбкой. Робинзон радостно сообщил, что его обыскивали трижды, пять с половиной месяцев держали в тюрьме, полтора года в ссылке, в Уржуме.

— Меня там чуть-чуть тараканы не с'ели. Замечательный город: в 93-м году мальчишки пели:

Греми, слава, трубой!
Мы дрались, турок, с тобой.
По горам твоим Балканским
Раздалась слава о нас!

Франтоватый адвокат Правдин, скорбно пожав плечами, сказал:

— Судьба всех честных людей России. Не знаем ни дня, ни часа...

Самгин пробовал убедить себя, что в отношении людей к нему, как герою, есть что-то глупенькое, смешное, но не мог не чувствовать, что отношение это приятно ему. Через несколько дней он заметил, что на улицах и в городском саду незнакомые гимназистки награждают его ласковыми улыбками, а какие-то люди смотрят на него слишком внимательно. Он иронически соображал:

«Сыщики? Или это либералы определяют мою готовность к жертве ради конституции?».

И мелькала опасливая мысль: не пришлось бы заплатить за это внимание чересчур дорого? Его особенно смущал и раздражал Дронов, он вертелся вокруг ласковой, но обеспокоенной собачкой и назойливо допрашивал:

— Значит — и ты причастен?

Клим слышал в этом вопросе удивление, морщился, а Дронов, потирая руки, как человек очень довольный, спрашивал быстреньким шопотом:

— Ты с Долгановым, семинаристом, знаком?

— Нет, — громко ответил Самгин, — я не люблю семинаристов.

Дронов продолжал нашептывать и сватать:

— Приехал один молодой писатель, ух, резкий парень! Хочешь — познакомлю? Тут есть барышня, курсистка, Маркса исповедует...

Знакомиться с писателем и барышней Самгин отказался и нашел, что Дронов похож на хромого мужика с дач Варавки, тот ведь тоже сватал. Из всех знакомых людей только один историк Козлов не выразил Климу сочувствие, а, напротив, поздоровался с ним молча, плотно сомкнув губы, как бы удерживаясь от желания сказать какое-то

словечко; это обидно задело Клима. Аккуратный старичек ходил вооруженным дождевым зонтом и Самгин отметил, что он тыкает концом зонтика в землю как бы со сдерживаемой яростью, а на людей смотрит уже не благожелательно, а исподлобья, сердито, точно он всех видел виноватыми в чем-то перед ним.

Когда Самгина вызвали в жандармское управление, он пошел туда, настроясь героически, уверенный, что скажет там нечто внушительное, например:

— Прошу не толкать меня туда, куда сам я не намерен итти!

Вообще, скажет что-нибудь в этом духе. Он оделся очень парадно, надел новые перчатки и немножко подобрил растительность на подбородке. По улице, среди мокрых домов, метался тревожно осенний ветер, как-будто искал где-то спрятаться, а над городом он чистил небо, сметая с него грязноватые облака, обнажая удивительно прозрачную синеву.

В светлом, с двух окон, кабинете, было по-домашнему уютно, стоял запах хорошего табака, на подоконниках — горшки неестественно окрашенных бегоний, между окнами висел в золоченой раме желто-зеленый пейзаж, из тех, которые прозваны «яичницей с луком»: сосны на песчаном обрыве над мутно-зеленой рекою. Ротмистр Попов сидел в углу за столом, поставленным наискось от окна, курил папиросу, вставленную в пенковый мундштук, на мундштуке — палец лайковой перчатки.

— Прошу,—сказал он тоном старого знакомого; в серой тужурке, сильно заносенной, он казался добродушным и еще более ленивым.

— Осень-то как рано пожаловала,—сообщил он, вздохнув, выдул окурок из мундштука в пепельницу-череп и, внимательно осматривая прокуренную пенку, заговорил простецки: — Пригласил вас, чтобы лично вручить бумаги ваши, — он постучал тупым пальцем по стопке бумаг, но не подвинул ее Самгину, продолжая все так же: — кое-что прочитал, и, без комплиментов, скажу, — оч-чень интересно! Зрелые мысли, например: о необходимости консерватизма в литературе. Действительно, батенька, чорт знает, как начали писать; смеялся я, читая отмеченные вами примерчики: «В небеса запустили ананасом, поем басом» — каково?

«Льстит, дурак, подкупить хочет», — сообразил Самгин, наблюдая, как из бронзового черепа синий вьется дымок.

Ротмистр снял очки, обнажив мутно-серые влажные глаза, в опухших веках без ресниц, чернобородое лицо его расширилось улыбкой; он осторожно прижимал к глазам платок и говорил, разминая слова языком, не торопясь:

— Особенно и приятно порадовала меня замечка о девченке, которая крикнула: «Да что вы озорничаете?» И ваше рассуждение по этому поводу—очень, очень интересно!

«Вот скотина», — мысленно выругался Самгин, но выругался не злясь, а как бы по обязанности.

Он ожидал увидеть глаза черные, строгие, или, по крайней мере, угрюмые, а при таких, почти бесцветных, глазах борода ротмистра казалась крашеной и как-будто увеличивала благодушие его, опрощала все окружающее. За спиною ротмистра, выше головы его, на черном треугольнике — бородатое, широкое лицо Александра III, над узенькой, оклеенной обоями дверью — большая фотография лысого, усатого человека в орденах, на столе, прижимая бумаги Клим, — толстая книга Сенкевича «Огнем и мечом».

— Могу я узнать — чем вызван обыск? — спросил Самгин и по тону вопросу понял, что героическое настроение, с которым он шел сюда, уже исчезло.

Ротмистр надел очки, пощупал пальцами свои сизые уши, вздохнул и сказал теплым голосом:

— Предписание из Москвы; должно-быть, имеете компрометирующие знакомства.

— Обыск этот ставит меня в позицию неудобную, — заявил Самгин и тотчас же остерег себя: — «как-будто я жалуясь, а не протестую».

Ротмистр Попов всем телом качнулся вперед так, что толкнул грудью стол и звякнуло стекло лампы, он положил руки на стол и заговорил, понизив голос, причмокивая, шевеля бровями:

— Ну, да, я понимаю! Разумеется, я напишу в Москву отзыв, который гарантирует вас от повторения таких, скажем, необходимых неприятностей, если, конечно, вы сами не пожелаете вызвать повторения.

Непонятым движением мускулов лица офицер раздвинул бороду, приподнял усы, но рот у него округлился и густо хохотнул:

— Хо-хо-о!

И, пальцем подвинув Самгину папиросницу, спросил очень ласково:

— Курите? А я — отчаянно, вот усы порыжели от табака.

Усы у него были совершенно черные, даже без седых нитей, заметных в бороде.

— Отчаянно, потому что работа нервная, — объяснил он, вздохнул, и вдруг в горле его забулькало, заклокотало, а говорить он стал быстро и уже каким-то секретным тоном.

— Согласитесь, что не в наших интересах раздражать молодежь, да и вообще интеллигентный человек дорог нам. Революционеры смотрят иначе: для них человек — ничто, если он не член партии.

Он сообщил, что пошел в жандармы по убеждению в необходимости охранять культуру, порядок.

— Ни в одной стране люди не нуждаются в сдержке, в обуздании их фантазии так, как они нуждаются у нас, — сказал он, тыкая себя пальцем в мягкую грудь, и эти слова, очень понятные Самгину, заставили его подумать:

«Вероятно, Дронов наврал о нем и его жене».

— Революционеры, батенька, рекрутируются из неудачников, — слышал Клим знакомое и убеждающее. — Не отрицаю: есть среди них

и талантливые люди, вы, конечно, знаете, что многие из них загладили преступные ошибки юности своей полезной службой государству.

Говорил он все секретней и закрыв глаза.

Где-то близко зазвучал рояль с такой силой, что Самгим вздрогнул, а ротмистр, расправив пальцем дымящиеся усы, сказал с удовольствием.

— Жена, в четыре руки с дочерью.

Он шумно потянул носом, как бы внюхиваясь в музыку,—нос у него был большой, бесформенно разбухший и красноват.

— Дочь моя учится в музыкальной школе и—в восторге от лекций м-м Спивак по истории музыки. Скажите, м-м Спивак урожденная Кутузова?

Самгин машинально ответил:

— Она — дочь уездного предводителя дворянства, — я не знаю его фамилию, а Кутузов — сын крестьянина.

— Вот как? Дворянка и — замужем за евреем, эхе-хе!

— Но ведь уже дед его был крещен, — заметил Клим, вслушиваясь в неумело разыгрываемый этюд.

— Вообще эта школа — большая заслуга вашей родительницы перед городом, — почтительно сказал ротмистр Попов и тем же тоном спросил: — А вы давно знакомы с Кутузовым?

Поняв, что надо быть осторожнее, Самгин поправился на стуле и сказал, что столовался с Кутузовым в Петербурге в одной семье.

— Крестьянин? — вздохнул ротмистр и, подняв руку, грозя пальцем, он выдвинул нижнюю челюсть так, что густейшая борода его поднялась почти горизонтально. И, наклонясь к Самгину через стол, он иронически продекламировал:

Простой цветочек дикой

Попал в один букет с гвоздикой.

— Наивность, батенька! Еврей есть еврей, и это с него водой не смоешь, как ее не свяжи, да-с! А мужик есть мужик. Природа равенства не знает и крот петуху не товарищ, да-с! — сообщил он тихо и торжественно.

Это вышло так глупо, что Самгин не мог сдержать улыбку, а ротмистр писал пальцем одной руки затейливые узоры, а другою, схватив бороду, выжимал из нее все более курьезные слова:

— Алиансы, мезальянсы! Нет-с, природа против мезальянсов, декадансов...

Забавно было видеть, как этот ленивый человек оживился. Разумеется, он говорит глупости потому, что это предписано ему должною, но ясно, что это — простак, честно исполняющий свои обязанности. Если бы он был священником или служил в банке, у него был бы широкий круг знакомства и, вероятно, его любили бы. Но — он жандарм, его боятся, презирают и, вот, забаллотировали в члены правления «О-ва содействия кустарям».

Конечно, Дронов налгал о нем.

Но Попов внезапно, хотя и небрежно, спросил:

— Вы с той поры, после Петербурга, не встречали Кутузова?

Захваченный врасплох Самгин не торопился ответить, а ротмистр снял очки, протер глаза платком и в глазах его вспыхнули веселые искорки.

— Не встречали? — повторил он, протирая очки. — На-днях?

— Да,—сказал Клим,—я его видел.

Он уже испытывал тревогу и, чтоб скрыть ее, развязно осведомился:

— Разве Кутузов считается опасным человеком?

Несколько секунд, очень неприятных, ротмистр Попов рассматривал лицо Клима весело, потом ответил ленивенькими словами:

— Вы должны знать это по случаю с братом вашим, Дмитрием. А что такое этот Инокков?

Дальнейшую беседу с ротмистром Клим не любил вспоминать, постарался забыть ее. Помнил он только дружеский совет чернородого жандарма с большими глазами:

— Держитесь подальше от этих ловцов человек, подальше. И — не бойтесь говорить правду.

Когда ротмистр, отпуская Клима, пожал его руку, ладонь ротмистра, на взгляд пухлая, оказалась жесткой, крепкой и в каких-то шишках, точно в мозолях.

Самгин вышел на улицу подавленный, все вышло не так, как он представлял, и смутно чувствовалось, что он вел себя неумно, неловко.

«Конечно, я не сказал ничего лишнего. Да и что мог я сказать. Характеристика Иноккова? Но они сами видели, как он груб и заносчив».

Туман стоял над городом, улицы, наполненные сырою, пронизывающей мутью, заставили вспомнить Петербург, Кутузова. О Кутузове думалось вяло и, прислушиваясь к думам о нем, Клим не находил в них ни озлобления, ни даже недружелюбия, как-будто этот человек навсегда исчез.

На другой день Самгин узнал, что Спивак допрашивал не ротмистр, а сам генерал.

— Очень глупенький,—сказала она, быстрыми стежками зашивая в коленкор какой-то пакет, видимо, бумаги или книги, и сообщила, незнакомо усмехаясь: — Этот скромнейший статистик Смолин выгнал товарища прокурора Виссарионова из своей камеры пинком ноги.

— Как вы это узнали?—недоверчиво спросил Клим.

— Не все ли равно?—отозвалась она не поднимая головы, и тоже спросила:—Ваш ротмистр очень интересовался Кутузовым?

— Нет,—сказал Клим.

Она медленно выпрямилась, взглянула исподлобья:

— Разве? Странно.

— Почему?

— Но, ведь, это он—причина их беспокойства.

Пожав плечами, Самгин неожиданно для себя солгал:

— Разве вы не допускаете, что я тоже могу служить причиной беспокойства? — «Поверит или нет?» — тотчас же спросил он себя, но женщина снова согнулась над шитьем, тихо и неопределенно сказав:

— Шутить — не хочется.

Видя, что Спивак настроена необщительно, прихмурилась, а взгляд ее голубых глаз холоден и необычно остр, Клим ушел, еще раз подумав, что это человек двуличный, опасный.

Откуда она могла узнать о поступке статистика? Неужели она играет значительную роль в конспиративных делах?

А в городе все знакомые тревожно засуетились, заговорили о политике и, относясь к Самгину с любопытством, утомлявшим его, в то же время говорили, что обыски и аресты — чистейшая выдумка жандармов, пожелавших обратить на себя внимание высшего начальства. Раздражал Дронов назойливыми расспросами, одолевал Иноков внезапными визитами: он приходил почти ежедневно и вел себя без церемоний, как в трактире. Все это заставило Самгина уехать в Москву, не дожидаясь возвращения матери и Варавки.

В Москве он прожил половину зимы одиноко, перебирая и взвешивая в памяти все, что испытано, надумано, пытаясь отсеять нужное для него. Но все казалось ненужным, а жизнь вставала пред ним, точно лес, в котором он должен был найти свою тропу к свободе от противоречий, от разлада с самим собою. В театрах, глядя на сцену сквозь стекла очков, он думал о необъяснимой глупости людей, которые находят удовольствие в зрелище своих страданий, своего ничтожества и неумения жить без нелепых драм любви и ревности. Посещал университет, держась в стороне от студенчества, всегда чем-то взволнованного.

«Эмоциональная оппозиция» — думал он, посматривая на сверстников глазами старшего, и ему казалось, что сдержанностью и отчужденностью он внушает уважение к себе.

Профессоров Самгин слушал с той же скукой, как учителей в гимназии. Дома, в одной из чистеньких и удобно обставленных меблированных комнат Фелицаты Паульсен, пышной дамы лет сорока, Самгин записывал свои мысли и впечатления мелким, но четким почерком на листы синеватой почтовой бумаги и складывал их в портфель, — подарок Нехаевой. Не озаглавив свои заметки, он красиво, рондо написал на первом их листе:

«Человек»

только тогда свободен,
когда он совершенно одинок».

Писал он немного, тщательно обдумывал фразы и подчинял их одному дальновидному соображению, — он не забывал, что заметки его однажды сослужили ему неплохую службу.

«Профессор Азбукин презирает студентов, как опытный соблазнитель наивных девиц, но не может не кокетничать с ними либерализмом» — записывал он.

«Профессор Буквин напоминает миссионера, просвещающего полуязыческую мордву. Говоря о гуманизме, он явно злится на необходимость проповедывать то, во что сам не верит».

Позаимствовав у Робинзона незатейливое остроумие, он дал профессорам глумливые псевдонимы: Словолюбов, Скукотворцев. Ему очень нравились краткие характеристики людей, пытавшихся более или менее усердно сделать из него человека такого же, как они.

«Поярков круто сворачивает к марксизму. В нем есть что-то напоминающее полуслепую, старую лошадь».

«Маракуев, после ареста, чувствует себя чиновником, неожиданно получившим орден».

Часы осенних вечеров и ночей наедине с самим собою, в безмолвной беседе с бумагой, которая покорно принимала на себя все и всякие слова, эти часы очень поднимали Самгина в его глазах. Он уже начинал думать, что из всех людей, знакомых ему, самую удобную и умную позицию в жизни избрал смешной, рыжий Томилин.

Но все чаще, вместе с шумом ветра и дождя, вместе с воем вьюг в тепло комнаты вторгалась обессиливающая скука и гасила глумливые мысли, сгущала все их в одну.

«Почему я должен перетряхивать в себе весь этот словесный хаос? Чего я хочу?».

И пробуждалась привычка к женщине. Он, уже давно отдохнув от Лидии, вспоминал о кратком романе с нею, как о сновидении, в котором неприятное преобладало над приятным. Но, вспоминая, он каждый раз находил в этом романе обидную незаконченность и чувствовал желание отомстить Лидии за то, что она не оправдала смутных его надежд на нее, его представления о ней, и за то, что она чем-то испортила в нем вкус женщины. Он так и определял: вкус, ибо находил, что после Лидии в его отношении к женщине вошло что-то горькое, едкое. Несколько встреч с Варварой убедили его в этом. Он встретил ее в первый же месяц жизни в Москве, и, хотя эта девица была несимпатична ему, он был приятно удивлен радостью, которую она обнаружила, столкнувшись с ним в фойе театра.

— Как не стыдно!—воскликнула она, держа его руку.—Приехал и—глаз не кажет, злодей!

Одетая, как всегда, пестро и крикливо, она говорила так громко, как-будто все люди вокруг были ее добрыми знакомыми и можно не стесняться их. Самгин охотно проводил ее домой, дорогою она рассказала много интересного о Диомидове, который, плутая всюду по Москве, изредка посещает и ее, о Маракуеве, просидевшем в тюрьме тринадцать дней, после чего жандармы извинились пред ним, о своем разочаровании театральной школой. Огромнейшая Анфимьевна встретила Клима тоже радостно.

— Ой, как похорошел, совсем — мужчина! И бородка на месте.

Очень скоро у Самгина сложилось отношение к Варваре, забавлявшее его. Она похудела, у нее некрасиво вытянулась шея, а лицо

стало маленьким и узким, оттого что она взбивала жестковатые волосы свои, сделала себе прическу женщины из племени кафров. Дома она одевалась в какие-то хитоны с широкими рукавами, обнажавшими руки до плеч, двигалась скользкой походкой, раскачивая узкие бедра и, очевидно, верила, что это у нее выходит красиво. Говорила несколько в нос, сильно по-московски, подчеркивая звук «а». Она казалась еще более искаженной театральностью и более смешной в ее преклонении пред знаменитыми женщинами. Забавно было наблюдать колебание ее симпатии между м-м Рекамье и м-м Ролан, — портреты той и другой поочередно являлись на самом видном месте среди портретов других знаменитостей — и по тому, которая из двух француженок выступала на первый план, Самгин безошибочно определял, как настроена Варвара: и если на видном месте являлась Рекамье, он говорил, что искусство — забава пресыщенных, художники — шуты буржуазии, а когда Рекамье сменяла м-м Ролан, доказывал, что Бодлэр революционнее Некрасова и рассказы Мопассана обнажают ложь и ужасы буржуазного общества убедительнее политических статей. Он признавал, что его доводы нестроумны, насмешки грубоваты и плохо замаскированы, но это не смущало его.

Варвара слушала, покусывая свои тонкие, неяркие губы, прикрыв зеленоватые глаза ресницами, она вытягивала шею и выдвигала острый подбородок, как будто обиженно и готовясь возражать, но — не возражала, а лишь изредка ставила вопросы, которые Самгин находил глуповатыми и обличавшими ее невежество. И все более часто она, вздыхая, говорила:

— Какой вы сложный, неуловимый! Трудно привыкнуть к вам. Другие, рядом с вами, — точно оперные певцы: заранее знаешь все, что они будут петь.

В искренность ее комплиментов Самгин остерегался верить, подозревая, что хотя Варвара и не умна, но играет роль, забавляющую ее так же, как забавляется он, издеваясь над нею.

Почти каждый раз Клим встречал у нее Маракуева. Веселый студент вел себя, как дома, относился к Варваре с фамильярностью влюбленного, который совершенно уверен, что ему платят взаимностью. Они говорили друг другу ты, но что-то мешало Климу думать, что они уже любовники. Они были так резко различны, что Клим оценивал их близость, как недоразумение. На его взгляд Варвара должна бы вносить в эту дружбу нечто крикливое, драматическое и в то же время сентиментальное, а он видел, что и Маракуев и она придают отношениям своим характер легкой комедии.

Маракуев был все так же размашист, оживлен, легко и сильно горячился, умел говорить страстно и гневно; было незаметно, чтоб пережитое им в день ходынской катастрофы отразилось на его характере, бросило на него тень, как на Пояркова. Этот омрачил, опустил голову, утратил свою книжность, уже не говорил рубленными фразами и вообще как-то скрипел, точно надломленный. Он отращивал бороду

из серых, прямых, точно иголки, волос и это старило его лет на десять. Появлялся он у Варвары изредка, ненадолго, уже не играл на гитаре, не пел дуэты с Маракуевым.

— Предпочитаю изучать немецкий язык, — ответил он Самгину на вопрос о гитаре, ответил почему-то сердитым тоном.

Клим был очень неприятно удивлен, узнав, что в комнате, где жила Лидия, по воскресеньям собирается кружок учеников Маракуева.

«Однако от этого трудно отойти», — подумал он нахмурясь.

Но в нем было развито любопытство человека, который хочет не столько понять людей, как поймать их на какой-то фальшивой игре. И беспокойная сила этого любопытства заставила Самгина познакомиться с пропагандой Маракуева и учениками его. Среди них оказался знакомый рабочий Дунаев, с его курчавой бородой и неугасимой улыбочкой. Он, как бы для контраста с собою, приводил слесаря Вараксина, угрюмого человека с черными усами на сером, каменном лице и с недоверчивым взглядом темных глаз, глубоко запавших в глазницы. Осторожно входил чистенько одетый юноша, большеротый, широконосый, с белесыми бровями; карие глаза его расставлены далеко один от другого, но одинаково удивленно смотрят в разные стороны, хотя назвать их косыми нельзя. Являлся женоподобно-красивый иконописец из мастерской Рогожина Павел Одинцов и лысоватый, непоседливый резчик по дереву Фомин, человек неопределенного возраста, тощий, с лицом крысы, с волосатой бородавкой на правой щеке и близоруко прищуренными, но острыми глазами.

Ненужно согнувшись, входил Дьякон. Он коротко, в кружок обрехал волосы и подстриг тройную свою бороду так, что из трех получилась одна клинообразная и длинная. Обнаженное лицо его совершенно утратило черту, придававшую ему сходство со множеством тех сурдальских лиц, которые, сливаясь в единое лицо, создают образ неискоренимого, данного навсегда, русского человека. Он забывал, что боковые бороды его острижены и нередко искал их, шевеля пальцами в воздухе, от уха к подбородку. В изношенной поддевке и огромных, грубой кожи, сапогах, он стал еще более похож на торговца старьем.

Во всех этих людях, несмотря на их внешнее различие, Самгин почувствовал нечто единое и раздражающее. Раздражали они грубоватостью и дерзостью вопросов, малограмотностью, одобрительными усмешечками в ответ на речи Маракуева. В каждом из них Самгин замечал нечто анекдотическое и, наконец, они вызывали впечатление людей, уже оторванных от нормальной жизни, равнодушно отказавшихся от всего, во что должны бы верить, во что веруют миллионы таких, как они.

Клим вспомнил, что Лидия с детства и лет до пятнадцати боялась летучих мышей; однажды вечером, когда в сумраке мыши начали бесшумно мелькать над садом и двором, она сердито сказала:

— Мыши не смеют летать!

— Это ведь не те, которые живут под полом, — объяснил он ей, но маленькая подруга его, строптиво топнув ногой, закричала:

— Молчи! Всякие мыши не смеют летать!

Когда эти серые люди, неподвижно застыв, слушали Маракуева, в них являлось что-то общее с летучими мышами; именно так неподвижно и жутко висят вниз головами ослепленные светом дня крылатые мыши в темных уголках чердаков, в дуплах деревьев.

Строгая, чистая комната Лидии пропитана запахом скверного табака и ваксы; от сапог Дьякона пахнет дегтем, от белобрысого юноши — помадой, а иконописец Одинцов источает запах тухлых яиц. Люди так надышали, что огонь лампы горит тускло, и в сизом воздухе, размахивая руками, Маракуев на все лады произносит удивительно ёмкое, в его устах, слово.

— Народ, народ!

Он — в углу, слева от окна, плотно занавешенного куском темной материи, он вскакивает со стула, сжав кулаки, разгребает руками густой воздух, грозит пальцем в потолок, он пьянеет от своих слов, покачивается и, задыхаясь, размахнув руками, стоит несколько секунд молча и точно распятый. Его очень русское лицо «удалого добра-молодца» сказки очень картинно, и говорит он так сказочно, что минуту, две даже Клим Самгин слушает его внимательно, с завистью к силе, к разнообразию его чувствований. Гнев и печаль, вера и гордость попеременно звучат в его словах, знакомых Климу с детства, а преобладает в них чувство любви к людям; в искренности этого чувства Клим не смел, не мог сомневаться, когда видел это удивительно живое лицо, освещаемое изнутри огнем веры. Потом, про себя, Самгин все-таки называл огонь этот бенгальским, а речи Маракуева — фейерверком.

Люди слушали Маракуева подаваясь, подтягиваясь к нему; белобрысый юноша сидел открыв рот, и в светлых глазах его изумление сменялось страхом. Павел Одинцов смешно сползал со стула, наклоняя тело, но подняв голову и каким-то пьяным или сонным взглядом прикованно следил за игрою лица оратора. Фомин, зажав руки в коленях, смотрел под ноги себе, в лужу растаявшего снега.

А Дунаев слушал, подставив ухо на голос оратора так, как-будто Маракуев стоял очень далеко от него; он сидел на диване, свободно развалясь, положив руку на широкое плечо угрюмого соседа своего, Вараксина. Клим отметил, что они часто и даже в самых пламенных местах речей Маракуева перешептываются, аскетическое лицо слесаря сурово морщится, он сердито шевелит усами; кривоносый Фомин шипит на них, толкает Вараксина локтем, коленом, а Дунаев, усмехаясь, подмигивает Фомину веселым глазом. Крысиное лицо Фомина дергается, он как-будто щелкает зубами.

Самгин подозревал, что кроме улыбчивого и, должно быть, очень хитрого Дунаева никто не понимает всей разрушительности речей пропагандиста. К Дьякону Дунаев относился с добродушным любопытством и снисходительно, как-будто к подростку, хотя Дьякон был, на-

верное, лет на пятнадцать старше его, а все другие смотрели на длинного Дьякона недоверчиво и осторожно, как голуби и воробьи на индюка. Дьякон больше всех был похож на огромного нетопыря.

Однажды, после того, как Маракуев устало замолчал и сел, отирая пот с лица, Дьякон, медленно расправив длинное тело свое, произнес точно с амвона:

— Как священно-церковнослужитель, хотя и лишенный сана, — о чем не сожалею, — и, как отец честного человека, погибшего от любви к людям, утверждаю и свидетельствую: все, сказанное сейчас, — верно! Вот, — послушайте!

И, крикнув, он начал басом:

«То, что прежде, в древности, было во всеобщем употреблении всех людей, стало силою и хитростью некоторых скопляться в домах у них. Чтобы достичь спокойной праздности, некие люди должны были подвергнуть всех других рабству. И вот, собрали они в руки свои первопотребные для жизни вещи и землю также и начали ехидно пользоваться ими, дабы удовлетворить любостяжание свое и корысть свою. И составили себе законы несправедливые, посредством которых до сего дня защищают свое хищничество, действуя насилием и злобою».

Подняв руку, как бы присягу принимая, он продолжал:

— Сии слова неотразимой истины не я выдумал, среди них ни одного слова моего нет. Сказаны и написаны они за тысячу пятьсот лет до нас, в четвертом веке по Рождестве Христове, замечательным мудрецом Лактанцием, отцом христианской церкви. Прозван был этот Лактанций Цицероном от Христа. Слова его, мною произнесенные, напечатаны в сочинениях его, изданных в Санкт-Петербурге в 1848 году, и цензурованы архимандритом Аввакумом. Стало быть, — книга, властями просмотренная, то-есть пропущенная для чтения по ошибке. Ибо: главенствующие над нами правду пропускают в жизнь только по ошибке, по недосмотру.

Усилив голос, он прибавил:

— Повторю: значит, — сообщил я вам не свою, а древнюю и вечную правду, воскрешению коей да послужим дружно, мужественно и не щадя себя.

Он согнулся, сел, а Дунаев, подмигнув Вараксину, сказал:

— Марксист был Лактанцев этот, а?

— Ну, и что ж?—спросил Дьякон.—Значит, Марксово рождение было предугадано за полторы тысячи лет.

— А практика, практика-то какая, отец? — спрашивал Дунаев, поблескивая глазами; Дьякон густо сказал:

— Об этом — думайте.

Встряхнулся Одинцов и сильным голосом выговорил:

— Оружие надо, а где оружие возьмем?

Он мигает, как-будто только что проснулся, глаза у него точно у человека с похмелья и страдающего бессонницей. Белобрысый

парень сморкается оглушительным звуком медной трубы и, сконфуженно наклонясь, прячет лицо в платок.

Отдохнувший Маракуев начал говорить, а Климу было приятно, что к проповеди Дьякона все отнеслись с явным равнодушием.

— Нам необходима борьба за свободу борьбы, за право отстаивать человеческие права, — говорит Маракуев, разрубая воздух ребром ладони. — Марксисты утверждают, что крестьянство надобно загнать на фабрики, переварить в фабричном котле...

— Это тебя не касается, — глухо и грубо ворчит Дьякон, отклоняясь от соседа своего, белобрысого парня.

Маракуев уже кончил критику марксистов, торопливо пожимает руки уходящих, сует руку и Дьякону, но тот, прижимая его к стене, внушительно советует:

— Вы, товарищ Петр, скажите этому курносому, чтоб он зря не любопытствовал, не спрашивал бы: кто, откуда и чей таков. Что он — в поминанье о здравии записать всех нас хочет? До приятнейшего свидания!

Согнувшись, он выползает за дверь, а Маракуев и Клим идут пить чай к Варваре.

Она, прикрыв глаза ресницами, с недоумением, которое кажется Самгину фальшивым, говорит:

— Революционер для меня — поэт, Уриэль Акоста, носитель Прометеева огня, а тут — Дьякон!

— Наивно, Варёк, — сказал Маракуев смеясь и напомнил о пензенском попе Фоме, пугачевце, о патере Александре Гавацци, но, когда начал о духовенстве эпохи крестьянских войн в Германии, Варвара капризно прервала его поучительную речь:

— В Дьяконе есть что-то смешное. А у другого — кривой нос, и, конечно, это записано в его паспорте, — особая примета. Сыщики поймают его за нос.

Маракуев снова засмеялся, а Клим сказал:

— Да, революционер должен быть безличен. — Он хотел сказать иронически, а вышло мрачно.

— Это уж нечто от марксизма, — подхватил Маракуев, готовый спорить, но, так как Самгин промолчал, глядя в стакан чая, он, потирая руки, воскликнул: — Просыпается Русь!

И, взбивая вихрастые волосы, продекламировал двустиише Берга:

На святой Руси петухи поют, —
Скоро будет день на святой Руси!

«А, может быть, Русь только бредит во сне?» — хотел спросить Клим, но не спросил, взглянув на сияющее лицо Маракуева и чувствуя, что этого петуха не смутишь скептицизмом.

Запрокинув голову, некрасиво выгнув кадык, Варвара сказала тоном вызова:

— Я не знаю, может быть, это верно, что Русь просыпается, но о твоих учениках ты, Петр, говоришь смешно. Так дядя Хрисанф рас-

сказывал о рыбной ловле: крупная рыба у него всегда срывалась с крючка, а домой он приносил костистую мелочь, которую нельзя есть.

Самгин взглянул на Маракуева с усмешкой и ожидая, что он обидится, но студент только расхохотался.

В одно из воскресений Клим застал у Варвары Дьякона, — со вкусом прихлебывая чай, он внимательно, глазами прилежного ученика, слушал хвалебную речь Маракуева «Историческим письмам» Лаврова. Но, когда Маракуев кончил, Дьякон, отодвинув пустой стакан, сказал, пытаясь смягчить свой бас:

— От юности моя, еще от семинарии питаю недоверие к премудрости книжной, хотя некоторые светские сочинения, — романы, например, — читывал и читаю не без удовольствия. Вообще же, по мнению моему, допускаю — неправильному, книга есть подобие костыля. Кошунственным отношением к человеку вывихнули душу ему и, вот, сунули под мышку церковную книжицу: ходи, опираясь на оную, по путям, предуказанным тебе нами, мудрыми. Ходим десятки веков, и все — не туда. Нет, все книги требуют проверки. Светские — тоже, ибо и они — извините слово — провоняли церковностью, церковность же есть стеснение духа человеческого ради некоего бога, надуманного во вред людям, а не на радость им.

— Разве вы не верите в бога? — спросила Варвара почему-то с радостью.

— В бога, требующего теодицеи, не могу верить. Предпочитаю веровать в природу, коя оправдания себе не требует, как доказано господином Дарвином. А господин Лейбниц, который пытался доказать, что-де бытие зла совершенно совместимо с бытием божием и что, дескать, совместимость эта тоже совершенно и неопровержимо доказывается книгой Иова, — господин Лейбниц не более, как чудачек немецкий. И прав не он, а Гейнрих Гейне, наименовав книгу Иова «Песнь песней скептицизма».

Дьякон шумно, всей емкостью легких, вздохнул, водянистые глаза его сурово выкатились и как-будто вспыхнули белым огнем:

— Сын мой покойник написал небольшое сочинение, опровергающее Лейбница и вообще всякую теодицею, как сугубую ересь и вреднейшую попытку примирить непримиримое.

Самгин видел, что Маракуеву тоже скучно слушать семинарскую мудрость Дьякона, студент нетерпеливо барабанил пальцами по столу, сложив губы так, как-будто хотел свистнуть. Варвара слушала очень внимательно, глаза ее были сдвинуты в сторону философа недоверчиво и неприязненно. Она шепнула Климу:

— Какое мстительное лицо.

А Дьякон точно с горы шагал, крепким басом густо рассказывая об Ормузде и Аримане, о Ваале и о том, что:

— Многое, наименованное злом, есть по существу своему только сопотривление злу, от ненависти к нему истекающее.

Бесконечную речь его пресек Диомидов; внезапно и бесшумно появившийся в дверях, он мял в руках шапку, оглядываясь так, точно попал в незнакомое место и не узнает людей. Маракуев очень, но явно фальшиво обрадовался, зашумел, а Дьякон, посмотрев на Диомидова через плечо, произнес, как бы ставя точку:

— Вот.

Молча, пожав руку Диомидова, Клим спросил Дьякона: бывает ли он у Лютова?

— Как жё. Но — не часто.

— Пьет он?

— Очень. А меня, после кончины сына моего, отвратило от вина. Да и обидел меня его степенство, — позвал в дворники к себе. Но хотя я и лишен сана, все же невместно мне навоз убирать. Устраиваюсь на стеклянный завод. С апреля.

Самгин, находя, что он исполнил долг вежливости по отношению к Дьякону, отвернулся от него, рассматривая Диомидова.

Тот снова отстранил до плеч свои ангельские кудри, но голубые глаза его помутнели, да и весь он выцвел, поблёл, круглое лицо обросло негустым, желтым волосом и стало длиннее, суше. Говоря, он пристально смотрел в лицо собеседника, ресницы его дрожали, и казалось, что, чем больше он смотрит, тем хуже видит. Он часто и осторожно гладил правой рукою кисть левой и переспрашивал:

— Как это вы сказали?

Говорить он стал громче, смелее, но каким-то читающим тоном, а сидел так напряженно-прямо, как-будто ожидал, что вот сейчас кто-то скамандует ему:

— Встань!

Варвара рассказывала, что он по недосмотру ее вошел в комнату Лидии, когда Маракуев занимался с учениками, вошел, но тотчас же захлопнул дверь и потом сердито спросил Варвару:

— Зачем же вы туда людей пускаете? Накопят они там, навяжут табачищем, жить нельзя будет.

В другой раз, поглядев на фотографии и гравюры, он осведомился:

— А где Лидии Тимофеевны портрет?

Варвара сказала, что Лидия Варавка ничем еще не знаменита; тогда он заявил:

— Знаменитостей и не надобно, от них, как от полицейских, только стеснение.

И, вздохнув, прибавил:

— И — неизвестно, может, Лидия Тимофеевна тоже в знаменитые попадет.

Сейчас, выпив стакан молока, положив за щеку кусок сахара, разглаживая пальцем негустые, желтенькие усики так, как-будто хотел сковырнуть их, Диомидов послушал беседу Дьякона с Маракуевым и с упрёком сказал:

— Вы все про это, эх, вы! Как же вы не понимаете, что от этого и горе, — оттого, что заманиваем друг друга в семью, в родню, в толпу? Ни церкви, ни партии не помогут вам...

— А ты, Семен, все-таки в сектанты лезешь, — насмешливо оборвал Дьякон его речь и посоветовал: — Ты бы молока пил побольше, оно тебе полезнее.

Диомидов рассердился, побледнел и, мигая, встряхнул волосами, — таким Самгин еще не видел его.

— Единство — в одном! — сиповато крикнул он, показывая Дьякону палец. Дьякон угрюмо ответил:

— Растопырив пальцы, за горло не схватишь.

— Во множестве единства не бывает, не будет! Никогда. Напрасно загоняете в грех.

Маракуев смеялся, Варвара тоже усмехалась небреженькой и скучной усмешкой, а Самгин вдруг почувствовал, что ему жалко Диомидова, который, вскочив со стула, толкая его ногою прочь от себя, прижав руки к груди, захлебывался словами:

— Арестантов гнали на вокзал... кандалы звенели, да! Вот и вы — тоже... кандалы куете! Душу заковать хотите.

— Какая ерунда, — сердито крикнул Маракуев, а Диомидов, отскочив от стола, быстро пошел к двери и на пороге повторил, оглянувшись через плечо:

— Великий грех против души... покаетесь!

— Не из тучи гром, — пробормотал Дьякон, жёстко посмотрев во след ушедшему, и подвинул пустой стакан нахмурившейся Варваре.

— Напрасно вы дразните его всегда, — сказала она.

— Имею основание, — отозвался Дьякон и, гулко крикнув, поискал пальцами около уха остриженную бороду. — Не хотел рассказывать вам, но расскажу, — обратился он к Маракуеву, сердито шагавшему по комнате.

— Вы не смотрите на него, что он такой, якобы, ничтожный, он — вредный, ибо, хотя и слабодушен, однако, может влиять. И — вообще... Через подобного ему... комара, сын мой излишне потерпел.

Все поведение Дьякона и особенно его жесткая, хотя и окающая, речь возбуждала у Самгина враждебное желание срезать этого нелепого человека какими-то сильными словами.

— Дён десяток тому назад юродивый парень этот пришел ко мне и начал увещевать, чтоб я отказался от бесед с рабочими и вас, товарищ Петр, к тому же склонил. Не поняв состояния его ума, я было начал говорить с ним серьезно, но он упал, — представьте! — на колени предо мной и продолжал увещания со стоном и воплями, со слезами — да! И был подобен измученной женщине, которая бы умоляла мужа своего не пить водку. Говорил, конечно, то же самое: что стремление объединить людей вокруг справедливости ведет к гибели человека. И вопил, что революционеров надобно жечь на кострах,

прах же их пускать по ветру, как было поступлено с прахом царя Дмитрия, именуемого Самозванцем.

Дьякон взволновался до того, что на висках и на лбу выступил пот, а глаза выкатились и неестественно дрожали.

«Какое отвратительное лицо», — подумал Самгин.

Вздыхая, как уставшая лошадь, запахивая на коленях поддевку, как он раньше запахивал подрясник, Дьякон басил все более густо:

— Потряс он меня до корней души. Ночевал и всю ночь бредословил, как тифозный. Утром же просил прощения и вообще как бы устыдился. Но...

Дьякон положил руки на стол, как на клавиши рояля, и сказал тихо, как мог:

— Но — сообразите! Ведь он вот так же в бредовом припадке страха может пойти в губернское жандармское управление и там на колени встать...

Клим Самгин внутренне усмехнулся; забавно было видеть, как рассказ Дьякона взволновал Маракуева, — он стоял среди комнаты, взбивая волосы рукою, щелкал пальцами другой руки и, сморщив лицо, бормотал:

— Ах, чорт возьми! Вот ерунда! Как же быть? Что ж вы молчали?

Варвара, взглянув на Клима, храбро сообщила:

— Кухарка Анфимьевна в прекрасных отношениях с полицией...

— Кухарка тут не поможет, а надобно место собраний переменить, — сказал Дьякон и почему-то посмотрел на хозяйку из-под ладони, как смотрят на предмет отдаленный и неясный.

Самгин не без удовольствия замечал: Варваре — скучно. Иногда, слушая Дьякона или Маракуева, она, отвернувшись, морщит хрящеватый нос, сжимает тонкие ноздри, как бы обоняя неприятный запах. И можно думать, что она делает это намеренно, так, чтобы Клим заметил ее гримасы. А после каких-то особенно пылких слов Маракуева она невнятно пробормотала о «воспалении печени от неудовлетворенной любви к народу», — фразу, которая показалась Самгину знакомой, он как-будто читал ее в одном из грубых фельетонов Виктора Буренина.

Идя домой, он думал, что Маракуева, наверное, скоро снова арестуют, да, и, вероятно, и Варваре не избежать этого, а это может толкнуть ее еще ближе к революционерам.

«Вот так увеличивают они количество людей, сочувствующих и помогающих им, в сущности — невольно. Что-нибудь подобное случилось и с Елизаветой Спивак». Он решил не посещать Варвару, находя, что его любопытство вполне удовлетворено.

В тихой, темной улице его догнал Дьякон, наклонился, молча заглянул в его лицо и пошел рядом, наклонясь, спрятав руки в карманы, как ходят против ветра. Потом вдруг спросил, говоря прямо в ухо Самгина:

— Вы случайно не знаете: где теперь Степан Кутузов?

Клим неприятно повел плечом и зашагал быстрее, ответив:

— Он арестован.

Уйти от Дьякона было трудно, он стал шагать шире, искоса снова заглянул в лицо и сказал напоминающим тоном:

— Его выпустили на поруки.

— Не знаю, где он, — пробормотал Самгин, оглядываясь, куда свернуть. Но переулка не было, а Дьякон говорил:

— Так вот как: сжечь и — пепел по ветру, слышали? Да. А глазенки — детские. Не угодно ли? Дарвин-то — неопровержим, а?

«При чем тут Дарвин, идиот?» — мысленно крикнул Самгин, а вслух сказал суховаато, но вежливо:

— Я знал женщину, которая сошла с ума на Дарвине.

— Можно, — согласился Дьякон, качнув головою. — Дарвина я в семинарии опровергал, — задумчиво вспомнил он. — Была такая задача: опровергать Дарвина. Опровергали.

— А зачем вам Кутузов? — спросил Самгин, не надеясь на ответ, но Дьякон ответил:

— Он был единовверен с моим сыном и вообще...

— Мне сюда! — сказал Клим, остановась на углу переулка. Дьякон протянул ему свою длинную руку, левой рукою дотронулся до шляпы и пожелал:

— Всего доброго.

Почти весь день лениво падал снег, и теперь тумбы, фонари, крыши были покрыты пудовыми чепцами. В воздухе стоял тот вкусный запах, похожий на запах первых огурцов, каким снег пахнет только в марте. Медленно шагая по мягкому, Самгин соображал:

«Эти люди чувствуют меня своим, — явный признак их тупости... Если б я хотел, — я, пожалуй, мог бы играть в их среде значительную роль. Донесет ли на них Диомидов? Он должен бы сделать это. Мне, конечно, не следует ходить к Варваре».

Думая, он видел пред собою разнообразные лица учеников Маракуева; лицо Дьякона было наиболее антипатичным.

«Почти старик уже. Он не видит, что эти люди относятся к нему пренебрежительно. И тут чувствуется глупость: он должен бы для всех этих людей быть ближе, понятнее студента. И, задумавшись о Дьяконе, Клим впервые спросил себя: не тем ли Дьякон особенно неприятен, что он, коренной русский церковник, сочувствует революционерам?»

Незадолго до этого дня пред Самгиным развернулось поле иных наблюдений. Он заметил, что бархатные глаза Прейса смотрят на него более внимательно, чем смотрели прежде. Его всегда очень интересовал маленький, изящный студент, не похожий на еврея спокойной уверенностью в себе, и на юношу солидностью немногословных речей. Хотелось понять: что побуждает сына фабриканта шляп заниматься проповедью марксизма? Иногда Прейс, состязаясь с Маракуевым и другими народниками в коридорах университета, говорил очень странно:

— Вспомните, что русский барин Герцен угрожал царю мужицким топором, а затем покаянно воскликнул по адресу царя: «Ты победил, Галилеянин!» Затем ему пришлось каяться в том, что первое покаяние его было преждевременно и наивно. Я утверждаю, что наивность — основное качество народничества; особенно ясно видишь это, когда народники проповедуют пугачевщину, мужицкий бунт.

Фразы этого тона Прейс говорил нередко, и они все обостряли любопытство Самгина к сыну фабриканта. Как-то, после лекции, Прейс предложил Климу:

— Пойдемте ко мне, побеседуем?

Жил Прейс на тихой улице, во втором этаже небольшого особняка. Улица была типично московская, деревянная, а этот недавно оштукатуренный особняк казался туго накрахмаленным щеголем, как бы случайно попавшим в ряд стареньких, пестрых домиков. Тяжелую, дубовую дверь крыльца открыла юная горничная в белом переднике и кружевной наколке на красиво причесанной голове. Клим ожидал, что жилище студента так же благоустроено, как сам Прейс, но оказалось, что Прейс живет в небольшой комнатке, окно которой выходило на крышу сарая; комната тесно набита книгами, в углу — койка, покрытая дешевым байковым одеялом, у двери — трехногий железный умывальник, такой же, какой был у Маргариты. Несоответствие франтоватой прислуги с аскетической обстановкой этой комнаты настроило Самгина подозрительно и тревожно.

Чай подала другая горничная, маленькая, толстая, с рябым красным лицом и глупо вытаращенными глазами.

— А лимону нету, — сказала она с явным удовольствием.

Прейс начал беседу вопросом:

— Говорят, — у вас был обыск?

— Да. Недоразумение, — ответил Самгин и выслушал искусный комплимент за сдержанность, с которой он относится к словесным битвам народников с марксистами. «Битвам все более ожесточенным» — признал Прейс, потирая свои тонкие ладони, похрустывая пальцами. Он тотчас же, с легкой иронией, прибавил:

— Но, ведь, мальчики в бабки и обыватели в преферанс играют тоже весьма ожесточенно.

Клим улыбнулся, внимательно следя за мягким блеском бархатных глаз; было в этих глазах нечто испытующее, а в тоне Прейса он слышал и раньше знакомое ему сознание превосходства учителя над учеником. Вспомнились слова какого-то антисемита из «Нового Времени»: «Аристократизм древней расы выродился у евреев в хамство».

«К Прейсу это не идет, но в нем сильно чувствуется чужой человек», — подумал Самгин, слушая тяжеловатые, книжные фразы. Прейс говорил о ницшеанстве, как реакции против марксизма, говорил вполголоса, как бы сообщая тайны, известные только ему.

— Проблемы индивидуального бытия наиболее резко выявляются именно в трагические эпохи смены одного класса другим. — Сму-

гловатое лицо его было неподвижно, только густые, круто изогнутые брови вздрагивали, когда он иронически подчеркивал то или иное слово. Самгин молчал, утвердительно кивая головою там, где этого требовала вежливость, и терпеливо ожидал, когда маленький, упругий человечек даст понять: чего он хочет?

— Мы видим, что в Германии быстро создаются условия для перехода к социалистическому строю, без катастроф, эволюционно, — говорил Прейс, оживляясь и даже как бы утешая Самгина. — Миллионы голосов немецких рабочих, бесспорная культурность масс, огромное партийное хозяйство, — говорил он, улыбаясь хорошей улыбкой, и все потирал руки, — тонкие пальцы его неприятно щелкали. — Англосаксы и германцы удивительно глубоко усвоили идею эволюции, это стало их органическим свойством.

— О, да, — сказал Самгин.

Все, что говорил Прейс, было более или менее знакомо из книг, доводы и выводы которых, хотя и были убедительны, но не нужны Самгину. В черненькой паутине типографского шрифта он прозревал и чувствовал такое же посягательство на свободу его мысли и воли, какое слышал в речах верующих людей. Он соглашался, что Август Бебель прав, но находил, что Евгений Рихтер ближе к простой истине, которую так хорошо чувствует, поэтически излагает скромненький историк Козлов. Железная метла логики Маркса тоже правдива, сокрушительно правдива, но, ведь, правдиво и евангелие, которое Иноков озорниковоато, а, в сущности, метко уравнивал с книгой «Хороший тон». И вот: раньше хорошим тоном считалось «народничество», а ныне претендует на эту роль марксизм. Сузив понятие «народ» до понятия «рабочий класс», марксизм тоже требует «раствориться в массах», как этого требовали: толстовец, переодетый мужиком, писатель Катин, дядя Яков. Брат Дмитрий уже «растворился». В сущности, все это сводится к необъяснимому желанию сделать человека Исааком, жертвой, наконец, лошадь, которая должна тащить куда-то тяжкий воз истории. Слушая все более оживленную и уже горячую речь Прейса, Клим не возражал ему, понимая, что его, Самгина, органическое сопротивление идеям социализма требует каких-то очень сильных и веских мыслей, а он все еще не находил их в себе, он только чувствовал, что жить ему было бы значительно легче, удобнее, если б социалисты и противники их не существовали. Он не находил в себе и силы решительно заявить:

— Не хочу играть роль Исаака, найдите барана!

И, наконец, его смущало, что в часы, как этот час, требовавшие от него наиболее точной самооценки, он чувствовал себя каким-то консервативным анархистом или анархистически настроенным консерваторм, а это уж было настолько своеобразно, что он переставал понимать себя.

Он ушел от Прейса, скрыв свое настроение под личиной глубокой задумчивости человека, который только что ознакомился с мудростью.

неведомой ему до этого дня во всей ее широте и глубине. Прейс очень дружески предложил:

— Приходите в воскресенье, познакомлю с интересными людьми.

Самгин решил, что в воскресенье он не придет. Но уже по дороге домой он рассердился на себя: до какой поры будет он скрывать свое истинное я? Каково бы оно ни было, оно — есть. Нет, он, конечно, пойдет к Прейсу и покажет там, что он уже перерос возраст ученика, и у него есть своя правда, — правда человека, который хочет и может быть независимым. В течение двух дней он внимательно просмотрел подарок Козлова: книгу Радищева — лондонское издание Герцена в одном томе с сочинением князя Щербатова «О повреждении нравов в России», Данилевского «Россия и Европа», антисоциалиста Ле-Бона «Социализм», заглянул и в книжки Ницше. — Это все, что было у него под рукою, но он почувствовал себя достаточно вооруженным и отправился к Прейсу, ожидая встретить в его «интересных людях» людей, подобных ученикам Петра Маракуева.

Франтоватая горничная провела его в комнату, солидно обставленную мебелью, обитой кожей, с большим письменным столом у окна; на столе лампа темной бронзы, совершенно такая же, как в кабинете Варавки. Два окна занавешены тяжелыми драпировками, зеленоватый сумрак комнаты насыщен запахом сигары.

Сигары курил, стоя среди комнаты, студент в сюртуке, высокий, с кривыми ногами кавалериста; его тупой, широкий подбородок и бритые щеки казались черными, густые усы лихо закручены, он важно смерил Самгина выпуклыми, белыми глазами, кивнул гладко остриженной, очень круглой головою и сказал басом:

— Стратонов.

Другой студент, плотненький, розовощекий, гладко причесанный, сидел в кресле, поджав под себя коротенькую ножку, он казался распаренным, как-будто только что пришел из бани. Не вставая, он лениво протянул Самгину пухлую детскую ручку и вздохнул:

— Тагильский.

— Очень рад, — сказал третий, рыжеватый, костлявый человечек в толстом пиджаке и стоптанных сапогах. Лицо у него было неуловимое, украшено реденькой золотистой бородкой, она очень беспокоила его, он дергал ее левой рукою, и от этого толстые губы его растерянно улыбались, остренькие глазки блестели, двигались мохнатенькие брови. Четвертым гостем Прейса оказался Поярков, он сидел в углу за шкафом, туго набитым книгами в переплетах.

А Прейс — за столом, положив на него руки, вытянув их так, как-будто он — кучер и управляет невидимой лошадыо. От зеленого абажура лампы лицо его казалось тоже зеленоватым.

Подождав, когда Самгин нашел себе место, молодеватый студент сказал:

— Итак, быстрый рост нашей промышленности — факт...

— Ну, да, да, но разве я об этом? — подскочив на диване, замахал руками, закричал рыженький надтреснутым голосом. — Я говорю: нация, не сознающая своей индивидуальности, еще не нация, — вот что!

И, с'ехав на край дивана, сидя в неудобной позе, придав своему лицу испуганное выражение, он минут пять брызгал во все стороны словами, связь которых Клим не сразу мог уловить.

— В славянофильстве, народничестве, даже в сектантстве нашем есть поиск, — говорил он в угол, где никого не было, и тотчас же порывисто обратился в сторону Прейса, протянул ему вздрагивающую руку:

— Вот: в Англии — трэд-юнионы, Франция склоняется к синдикализму, социал-демократия Германии глубоко государственна и национальна, а — мы? А что будет у нас? Я — вот о чем!

Прейс очень невнятно сказал что-то о преждевременности поставленного вопроса, тогда рыженький вскочил с дивана, точно подброшенный пружинами, перебежал в угол, там с разбегу бросился в кресло и, дергая бородку, оттягивая толстую, но жидкую губу, обнажая мелкие, неровные зубы и этим мешая себе говорить, продолжал:

— Но как же? Как же преждевременно? Генеральные штабы за долго до войны...

Высокий студент, несколько небрежно уступивший ему дорогу, когда он бежал в угол, сел на диван, на его место и строго сказал:

— О войне никто не думает...

— Думают! — не уступал рыженький. — Я — знаю! Там, в Швейцарии, в Париже...

Тагильский встал, мягкой походкой кота подошел к нему, присел на ручку кресла и что-то пошептал в подставленное рыженьким ухо.

— Ага! Конечно. Да, да, — бормотал рыженький, кивая растрепанной головой.

Своей раздерганностью он напомнил Климу Лютова. Поярков, согнувшись, поставил локти на колени, молчал, только один раз он ворчливо заметил Стратонову:

— Классификация фактов — дело полезное, если за ней не скрывается попытка примирить непримиримые противоречия. — Климу показалось, что Прейс взглянул в его сторону неодобрительно и что вообще в этой комнате Прейс ведет себя более барственно, чем в той, аскетической. Было скучно и чувствовалось, что у этих людей что-то не ладится, все они недовольны чем-то или кем-то. Самгин решил показать себя и заговорил, что о социальной войне думают и что есть люди, для которых она решенное дело. Его слушали внимательно, а, когда он дал характеристику Дьякона, не называя его, конечно, рыженький подскочил к нему и стал горячо просить:

— Познакомьте меня с этим человеком — хорошо? Можно? Обязательно познакомьте.

А Стратонов, раскачивая на цепочке золотые часы, решительно сказал:

— Вы сами же совершенно правильно назвали людей этого типа анекдотическими. Когда подует ветер нормальной жизни, он выметет их, как сор.

Сказал и туго надул синие щеки свои, как бы желая намекнуть, что это он и есть владыка всех зефиров и ураганов. Он вообще говорил решительно, строго, а, сказав, надувал щеки шарами, отчего белые глаза его становились меньше и несколько темнели.

Тагильский снова начал шептать что-то в ухо рыженького, тот уныло соглашался.

— Да? Ага...

Снова стало раздражающе скучно, и, посидев еще несколько минут, Клим решил уйти, но, провожая его, Прейс сказал вполголоса, тоном извинения:

— Неудачный вечер; тут, видите, случайно оказался человек... мало знакомый нам.

— Этот, кругленький?

— Нет, другой, в углу.

«Поярков, — сообразил Самгин, идя домой по улицам, ярко освещенным луною марта. — Это интересно».

Он не понял этих людей. Два, три свидания с ними не сделали их понятнее. Они не кричали, не спорили, а вели серьезные беседы по вопросам политической экономии, науки, мало знакомой и не любимой Самгиным. Они называли себя марксистами, но в их суждениях отсутствовала суровая прямолинейность «кутузовщины», и рабочий вопрос интересовал их значительно меньше, чем вопросы промышленности, торговли. С явным увлечением они подсчитывали количества нефти, хлеба, сахара, сала, пеньки и всяческого русского сырья. Климу иногда казалось, что они говорят больше цифрами, чем словами. Говорили о будущем Великом Сибирском пути, о маслоделии, переселенцах, о работе крестьянского банка, о таможенной политике Германии. Все это было скучно слушать, и все было почти незнакомо Климу, о вопросах этого порядка он осведомлялся по газетам, да и то неохотно.

Но, хотя речи были неинтересны, люди все сильнее раздражали любопытство. Чего они хотят? Присмагригаясь к Стратонову, Клим видел в нем что-то воинствующее и, пожалуй, не удивился бы, если б Стратонов крикнул на суетливого, нервного рыженького:

— Смир-но!

Он вообще говорил тоном командира, а рыженького как-будто даже презирал.

— Убежденный человек не может и не должен чувствовать противоречий в своих взглядах, — сказал он ему; рыженький, отскочив от него, спросил недоверчиво, с удивлением:

— Это вы — серьезно?

Стратонов не ответил; он редко отвечал на вопросы, обращенные к нему. Ленивенький Тагильский напоминал Самгину брата Дми-

трия тем, что служил для своих друзей памятной книжкой, где записаны в хорошем порядке различные цифры и сведения. Был он избалован, кокетлив, но памятью своей не гордился, а сведения сообщал снисходительным и равнодушным тоном первого ученика гимназии, который, кончив учиться, желал бы забыть все, чему его научили. Его фарфоровое, розовое лицо, пухлые губы и неопределенного цвета туманные глаза заставляли ждать, что он говорит женственно-мягко, но голосок у него был сухозвонкий, кисленький и как-будто злой. Людей власть имущих, правивших государством, он ругал:

— Ослы. Идиоты. Негодяи.

Выругавшись, рассматривал свои ногти или закуривал тоненькую «дамскую» папиросу и молчал до поры, пока его не спрашивали о чем-нибудь. Клим находил в нем и еще одно странное сходство с Диомидовым; казалось, что Тагильский тоже, но без страха, уверенно ждет, что сейчас явятся какие-то люди,—может быть, идиоты,—и почтительно попросят его:

— Пожалуйста управляйте нами!

Рыженького звали Антон Васильевич Берендеев. Он был тем интересен, что верил в неизбежность революции, но боялся ее и нимало не скрывал свой страх, тревожно внушая Прейсу и Стратонову:

— Совершенно необходимо, чтоб революция совпала с религиозной реформацией, — понимаете? Но реформация, конечно, не в сторону рационализма наших южных сект, — избави боже!

Выкатывая белые глаза, Стратонов успокаивал его:

— От уклона в эту сторону мы гарантированы, наш мужик — мистик.

— А — все эти штундисты, баптисты, а?

Тагильский, громко высморкав широкий розовый нос, поучительно заметил:

— Говорить надо точнее; не о реформации, которая ни вам, ни мне не нужна, а о реформе церковного управления, о расширении прав духовенства, о его экономическом благоустройстве...

Берендеев крикливо вставил:

— О реформе воспитания сельского духовенства, о необходимости перевоспитать его!

— С деревней у нас будет тяжелая война, — сказал Самгин, вздохнув.

— Очень! — тревожно крикнул Берендеев и, взмахнув руками, повторил тише, таинственно: — Очень!

Стратонов встал, плотно, насколько мог, сдвинул кривые ноги, закинул руки за спину, выгнул грудь, — все это сделало его фигуру еще более внушительной.

— Мы — люди, — начал он, отталкивая Берендеева взглядом, — мы, с моей точки зрения, — люди, на которых историей возложена обязанность организовать революцию, внести в ее стихию всю мощь

нашего сознания, ограничить нашей волей неизбежный анархизм масс...

Тагильский, приподняв аккуратно причесанную светловолосую голову, поморщился в сторону Стратонова и звонко прервал его речь:

— Вы все еще продолжаете чувствовать себя на первом курсе, горячитесь и забегаете вперед. Думать нужно не о революции, а о ряде реформ, которые сделали бы людей более работоспособными и культурными.

Прейс молчал, бесшумно барабанил пальцами по столу. Он был вообще малоречив дома, высказывался неопределенно и не напоминал того умелого и уверенного оратора, каким Самгин привык видеть его у дяди Хрисанфа и в университете спорящим с Маракуевым.

Пояркова Клим встретил еще раз. Молча просидев часа полтора, напившись чая, Поярков медленно вытащил костлявое и угловатое тело свое из глубокого кресла и, пожимая руку Прейса, сказал угрюмо:

— Ну, кажется, здесь окончательно выработали схему, обязательную для событий завтрашнего дня.

И, не простясь с другими, Поярков ушел, а Клим, глядя в его сутуловатую спину, подумал, что Прейс прав: этот — чужой и стесняет.

Как везде, Самгин вел себя в этой компании солидно, сдержанно, человеком, который, доброжелательно наблюдая, строго взвешивает все, что видит, слышит и, не смущаясь, не отвлекаясь противоречиями мнений, углубленно занят оценкой фактов. Тагильский так и сказал о нем Берендееву:

— Ты бы, Антон, брал в пример себе Самгина, он не забывает, что теории строятся на фактах и проверяются фактами.

(Продолжение следует)

Баллада о Дон-Жуане

ИВАН МОЛЧАНОВ

Дж. Алтаузену

Ворон-вечер шумит крылом.
Тихо память садится в седло
И несет, закусив удила,
В позабытые
Дни и дела.

Там, в упорных, в угарных боях
Не касались земли стремена...
Позабыты мои друзья,
Перепутались имена.

Лишь один встает предо мной,
Лишь один встает, как живой.
Он по имени звался —
Степан,
По фамилии —
Дон-Жуан.

Колыхались пятнадцать зим,
Колыхались и шли за ним.
И пятнадцать, сквозь дым и гам,
Привели его в роту к нам.

— Ты откуда пожаловал, крот?
Ты откуда? — спросил комрот.
Он ответил:
— Из тех равнин,
Где из вас не бывал ни один. —

Он по-русски ответил, но так,
Что бойцы принялись хохотать.
И робел у него в кулаке —
«Дон-Жуан» на чужом языке.

— В языках наше дело — швах,
Командир дорогой, выручай!
Командир был ученый — страх!

Говорил он на всех языках
Слово «здравствуй» и слово «прощай».

При таком высоченном уме
Он промолвил:
— Божур? Понимэ? —
И ответил пришедший ему:
— Я по-русски скорей пойму. —

У шинелей — светлей лицо.
И шинели — тесней, в кольцо.
Зажурчала вопросов струя:
— Где твой край, сторона твоя? —

Был рассказ огольца невелик,
Но занятен. И слушали мы.
Шелестели ковры повилик,
И дымились за логом холмы...

Это было...
Глуха и темна —
Бушевала другая война,
И другая, не наша заря
Заливала румянцем моря.

У союзной Британской земли
Плыли русские корабли.
И герой наших строк и лет
Очутился в чужой земле.

В малолетье любой востёр.
Он осилил чужой разговор,
А остатки родной молвы
Вылетели из головы.

Время шло и меняло места...
Пусть несчастий река широка —
На чужбине герой вырастал
В многодумного паренька.

Вот и вышел такой конфуз:
Из России примчался шквал.
И тоски гуттаперчевый груз
Тяжелел и обратно звал.

Покрывалась губа пушком,
Покрывались поля пешком.

И смеялся до слез часовой
Услыхав чужеземное:
— «Свой!»

Да, рассказ паренька невелик,
Но занятен.

И слушали мы,
Как шумели ковры повилик,
И ворчали за логом холмы.

Досказал, помолчал, а потом,
Прикусив корешок травы,
Он промолвил:

— Хочу бойцом,
Я хочу быть таким, как вы! —

Поднимались в полях зелены,
И рвалась над полями шрапнель...
Дон-Жуану мы дали коня,
Эта кличку,

Ружье
И шинель.

Раскрывались объятья грозы,
Приходил смертоносный час,
Но чужой стороны язык
Выручал удальца не раз.

Мы делили бои и досуг.

И горел,

И кипел наш друг.

Он, от вражеских пуль храним,
Был в разведках незаменим.

Но однажды, в задорном пылу

Он у белых остался в тылу.

Привели его в белый штаб...

— Ю спик инглиш! Я очень слаб... —

(Не ударю, мол,
В грязь лицом.
Подкрепите, мол, —
Буду бойцом!)

Похвалил генерал,

Потрепал по щеке.

Говорил генерал

На чужом языке.

И сиял генерал,

Как весной небеса...

«Дон-Жуана» читал

Дон-Жуан два часа.

Генерал багровел,
Развлечению рад.
Говорил: веривелл,
Говорил: олл-райт!

Позднею ночью,
В наш аванпост
Взмыленный конь
Дон-Жуана принес.

В томике Байрона,
В правой руке —
Нужные сведенья
О враге.

Думали другу
Хвалою зазвучать,
Думали друга
Качать начать.

Смотрим: как сломанная вѣтла,
На зѣмь приятель сползает с седла.

Руки подставили...
Кровь на спине.
Темная жижа
На верном коне.

Сказал уходящий
К великому сну:
— Пакет...
Сволочаги...
Вдгонку...
В спину! —

И вздрогнуло тело. Коня увели.
Заморская книга валялась в пыли.

Январь—февраль
1928 г.

Игрушка

Рассказ

ПАВЕЛ СУХОТИН

Подвечер зазвонили у Ивана на Поле. Соседская бабка в ватной куцавейке, зажав в кулаке носовой платок комочком, поплелась утиной походью по церковному двору, и в ее разлатые колени с разбегу бросилась льняноголовая Ирочка.

— Баба Капа, куда?

— Помолиться, родимая, за людей.

— Зачем за людей?

— И за мамочку твою.

Ирочка отбежала к подругам, а бабка ей в догонку крикнула:

— А вот я догоню! А вот, гляди, я тебя пымаю!

Потом она, задохнувшись, у паперти к стене прислонилась и кашляла.

— Зашлась! — ворчала нищенка, приглядываясь, к кому бы за подаянием прилипнуть.

— Помирать надо, отжила ваша бабка, — сама себя наставляла Капа, шаркая по ложбинистым камням.

Когда запылилось сумерками небо, и зеленое косячье весеннего месяца повисло над старым тополем, по церковному двору прошел со службы Иван Буров, взял на руки дочь свою Ирину и понес домой. Положив голову на отцовское плечо, она ему рассказывала:

— А баба Капа, а баба Капа не помала меня, баба Капа...

По дороге она заснула и во сне была тиха. Рука ее, перекинувшись за отцовскую спину, худая и белая, с тонкими синячками жилок, на ходу покачивалась, словно у куклы — неживая.

В общей кухне Прасковья Никитишна, жена фотографа Ярослава Лисецкого, по глиняной банке чавкала тестом.

— Бумага из Комхоза.

— Опять?

— Конечно, опять.

Вспыхнул примус, надутый злобным шипеньем, спугнул Ирочкин сон, и долго она плакала на руках у матери.

А мать была большеглазая, с ярким румянцем на скулах, горячая и сухая. Словно свинец, закипающий на медленном огне, поклокатывало в груди ее дыхание и жаром обвевало лицо дочери.

— Жил-был у бабушки серенький козлик...

— Зачем козлик? Зачем жил-был? — шептала Ирочка.

— Ужасная нелепость — все эти сказки, — заворчал Буров. — Игрушки я еще понимаю, да и те должны быть осмысленны.

— Где игрушки? — спросила Ирочка.

— Не мешай папе, он думает.

— Ничего я не думаю, — сердился Буров и мял перед глазами бумажку от Комхоза.

«Гражда... Бурову Ивану Петровичу.

Подтверждая сим наше отношение...».

— В сотый раз я им должен отвечать, что нет в городе квартир. Сами меня сунули в этот фото-павильон. Коробка, клетка! И вот пожалуйте:

«... очистить незамедлительно для лаборатории и прочих кино-занятий...».

— И это потому, что какому-то кино-режиссеру потребовалось проявлять на месте свои с'емки.

«...а также вставьте разбитые вами стекла».

— Слуга покорный! Ищите расходы с голубей, которых развела и приручила сюда Прасковья Никитишна.

— Очень дует по ночам, — пожаловалась Бурова.

Иван Петрович сразу перестал сердиться.

— Да, я знаю, дует...

Он писал, черкал и опять писал, а Ирочка капризничала и не хотела есть пшенной каши.

Бабка Капа из церкви вернулась и, постанывая, заворочалась в своем чулане, а невестка ее, Прасковья Никитишна, с голыми руками и голыми ногами, в кавказских туфлях, обтянутая розовым халатом, юлила по кухне.

— Сто раз буду говорить: не к чему, совсем даже не к чему! Вот и цацкайся с ними, а что еще будет — неизвестно.

— Да как же это детей не иметь? — спрашивала Капа. — А коли такая есть наша природа.

— Никакой тут природы нет, а просто неаккуратность, — истошным криком перемогала Прасковья Никитишна шипенье примуса и вскакивала в бабкин чулан. — Очень мне нужно ходить цельный год с этаким пузом. Да еще не ровён час в гроб ляжешь. Тоже радость какая!

— Ну и ну! — дивилась бабка. — Погляжу я на вас, молодых...

В кухню принесли еще два примуса, и слова Капы умерли, только посуда звякала, и люди бродили в предобеденный час, словно глухонемые.

Буров обедал на службе, а жена его Катя питалась кое-чем и даже запаха еды не любила. Думали, что она умрет скоро, но очень почтенный и седой доктор нашел эти опасенья слишком преждевременными. Оглядев Катю, он старательно омыл руки, произнес латинское слово и прописал лекарство.

— Все понятно и ничего нет страшного. Пейте, гражданочка, морковный сок и носите шерстяные чулки.

Лучше ей не стало, и Буров, торопясь со службы или из гостей, всякий раз мрачно говорил:

— У меня дома суровая действительность. Меня ждет моя дочь.

Он шел обучать ее рисованью, складывать буквы по слогам и по утрам делать гимнастику.

— Папа, нарисуй чолтика с ложками.

Буров хмурился:

— Чертей, Ирочка, нет, а рожки бывают только у животных.

— А у бабы Капы ложки.

— Кто тебе сказал?

— Вася сказал.

Буров на следующий же день остановил на церковном дворе Васю и сказал ему о том, что рогов у людей не бывает.

Вася дернул носом и недоверчиво скосил глаза:

— Роги не бывают, а у дедушки в животе змея.

Однако был упрям Буров. Ирочка вскоре и сама исправлять стала Васю в его невежестве. Она уже знала, что человек умирает, и от него ничего не остается, что на небе ничего живого нет, а в сказках все неправда. Но вечерами, когда отца не было дома, она на постель к матери забиралась и спрашивала:

— Мамочка, ты не согниешь?

Мать прижимала ее к себе и говорила глухо:

— Тебе пора спать.

— А неплавду ласскажешь?

И опять длилась сказка, прерываемая кашлем:

— Жила-была сестрица Аленушка и братец малый Иванушка...

Но в эту вёсну сказки эти повторялись реже. Жена Бурова слаба. Одна, долгими часами, лежала она в истомной дреме, даже по комнате мало ходила, и сын бабки Капы, фотограф Ярослав, вернувшись из Москвы, был чрезвычайно огорчен ухудшением ее здоровья. Он морщился и болтал пальцем в ухе.

— Ах, беда! Ах, какая беда!

— Что за такая беда особая? — подивилась ему жена. — Ей самой чем скорей, тем лучше. Да и нам тоже, потому Иван Петрович один в павильоне жить не будет.

— Ничего вы, Прасковья Никитишна, не понимаете, — отмахнулся Ярослав. — Павильон — это нам хорошо, но преждевременно. Говорю, преждевременно.

Прасковья Никитишна огорчений его не разделяла.

— А вот поездкой твоей в Москву я довольна. И партию детских кино выгодно купил, и с'емки получились четкие, и икра к моему рождению, я пробовала, тоже из удачных.

Ярослав не д'опил чаю и ушел на кино-с'емку в бывший губернаторский сад, где должен был по сценарию происходить свадебный пир у баронессы с убийством ее любовника дворовым человеком Игнатом.

Режиссер был в отчаяньи:

— Не то, не то! Нужна решительность, воля, и вместе простота, обыкновенность, будни, обнаженность действительности!

Он метался по саду, и его маленькая головка перекатывалась с плеча на плечо, как веснушчатое воробьиное яичко.

— Приготовились! Начали! Барыня в зеленом, будьте понаглее, поразвратнее. Приготовились! Начали!

Увидав Лисецкого, он отвел его в сторону и, заикаясь, залепетал:

— Сегодня мы просматриваем наши достижения, завтра вы мне показываете эпизод для полуподвального этажа и немедленно приступаете к его с'емке.

— Немедля, немедленно! — обрадовался Ярослав. — И завтра же ко мне на день рождения.

Буровы были также в числе приглашенных к торжественному столу Лисецких, но Катя в этот день совсем не встала с постели.

— А где же ваша августейшая супруга?

Буров потупился:

— Ей хуже.

Ярослав переглянулся с режиссером, и тот перекатил свою головку на правое плечо и продолжал томно лепетать:

— Надо уметь в картине найти психологию, и тогда зритель вами побежден.

— Я только одного не понимаю, — кричала Прасковья Никитишна, внося блюдо со сладким пирогом, — почему эта баронесса сперва ездила на автомобилях и мужчин целовала, а потом отравилась.

— От разочарования в жизни.

— Разве что от этого.

Буров поерошил волосы и сказал:

— Травится тот, кто не знает правды жизни.

Бабка Капа выморгнула из глаза слезинку и смахнула ее концом скатерти, а Прасковья Никитишна, в знак того, что все ей отлично известно и понятно, опахнулась рыжим лисьим палантином.

— Господи, и какая же это теперь наша жизнь неприятная!

Буров опять поерошил волосы:

— Все зависит от нас. Мы цари своего положения. Наука и техника преодолевают все.

— Кроме смерти, — повеселел Ярослав и рюмку малаги налил себе и режиссеру.

Но Буров упорствовал:

— И смерть!

Все молча стали жевать, а бабка Капа выпросталась из-за стола с куском пирога и заковыляла в буровскую комнату.

— А вот я так ее, матушку, жду не дождусь, когда она меня приберет.

Катя лежала перед открытым окном. Рубашка скинулась с плеча, и грудь ее, словно жидкое белое тесто, сбегала на худые ребра, а на коричневом сосце, похожем на гусеницу, дымилось солнечное пятно — последнее тепло Катиной жизни.

Бабка Капа поставила на окно тарелку с пирогом и поклонилась.

— Покушай.

— Не хочу.

— Полехше станет авось.

— Не станет.

С оконного слива, постукивая коготками, подкрался голубь к тарелке, отщипнул корку и слетел, прозвенев крылом.

— Он за меня, — улыбнулась Катя и закашлялась, а бабка попледалась в свой чулан, но дверь опять скрипнула, и незнакомый голос сказал:

— Натура — первый сорт! А помещенье для вас мне обещано.

— Кто там? — спросила Катя.

Ответа не было. Под шум соседского праздника она утомленно задремала — и очнулась, когда все уже рядом смолкло, а вешний закат рубиновыми зайчиками горел на стеклянной крыше павильона и на изразцах печурки.

Буров с Ярославом стояли на дворе, Ирочка бегала с Васей.

— Послушайте, Иван Петрович! Вы, значит, совершенно уважаете технику?

Ярослав держал Бурова за рукав и шатался.

— Уважаю.

— А кино? Великого немого?

— Еще бы! — сказал Буров и хотел Ирочку окликнуть, но Ярослав стремительно зажал его голову в свои ладони, поцеловал мокрыми губами и сам головой уткнулся в его плечо.

— Послушайте, Иван Петрович, у нас получится замечательная, замечательнейшая картина... Сценарий из местной хроники, вопиющее событие прошлого. Иван Петрович, голубчик, разрешите мне вашу августейшую супругу заснять в домашнем быту. Нужно! Решительно нужно!

Буров угрюмо остановил его.

— Она же больна.

— Вот именно! Эпизод! Для полуподвального этажа. Ненормальные условия для осуждения роскоши. В общей картине буржуазного строя. Для слезы. Для потрясения зрителя. Два этажа. Верх — идея. Низ — идея. Верх и низ. Низ и верх.

Долго Ярослав рассказывал о кино-картине, а Буров слушал или не слушал, но молчал и думал, и когда Ирочка к нему подошла, он привлек ее к себе, тоже молча.

— Ира, козлик тебе сказал травки нарвать, — запыхавшись, подбежал Вася.

— Козлик не сказал, козлик блекотает. Папа, блекотает? — поднырнула Ирочка под понурюю голову отца.

Буров только одобрительно моргнул.

— Детки, детки! — умилился Ярослав и в ладоши захлопал. — Вас, будущих кино-артистов, приветствую!

Но его остановил Буров:

— Скажите мне, Ярослав, можно в детском кино показывать то, что вы снимаете?

— Всем, везде, всегда! — возликовал Ярослав. — Кино — игрушка, кино — наука, кино — бессмертие!

Взяв за руку Ирочку, Буров пошел домой, и в кухне, расставаясь с Ярославом, обещал поговорить еще раз о его предложении, но Ярослав не успокоился и, выпивши коньяку, постучался к Бурову.

Буров просунулся в дверь:

— Жена спит.

— У меня аппарат «Дерби», замечательный, — раскисшим шопотком сообщил Ярослав и, зажав себе кулаком рот, на цыпочках ушел, но, выпив бутылку пива, опять постучался:

— Я хочу купить аппарат «Асканья», роскошный...

Буров попросил его больше не стучаться. Он и сам на цыпочках ходил по своей комнате и разбудить боялся Катю. Она после недельной бессонницы заснула и легче дышала. Даже Ирочка сидела, тихо разглядывая в книге Брема цветные картинки, и только раз не удержала своего ликованья:

— Батюшка поп! — крикнула она и пальчиком показала на россомаху.

Буров улыбнулся, но сейчас же нахмурился, догадавшись по шуму в комнате Ярослава, что будет скандал.

— Сволочь! Негодяй! Пьяница! — визжала Прасковья Никитишна в кухне и в бабкин чулан вскакивала: — Полюбуйтесь на своего сына, полюбуйтесь!

А бабка Капа постанывала и, отмолчавшись от невестки, бормотала в подушку:

— Отлюбовалась, на весь мир отлюбовалась, коли помирагь собралась...

Соседский шум не разбудил Катю. Она до утра проспала и, очнувшись, спросила:

— Кто здесь?

— Сенька Попов, — пропищала Ирочка.

— Зачем пришел?

— За клаской.

Было утро солнечное и веселое для Кати. Она выпила крепкого чаю, даже до палисадника проводила дочь и там на скамейке посидела с Капой, укутавшись оренбургским пушистым платком, от которого

пахло иодом, и была похожа в нем на бескрылую белую птицу. Вернувшись в комнату, она стала пуговицу пришивать к Ирочкиному лифчику, но вдруг устала, легла и сказала себе:

— Не сразу...

Вечером она опять спала и не слышала, как пришел муж, как потом Ярослав шептался с Буровым, выдвигал из углов мебель, распыливал фотографический штатив, пятился и приседал около него, как обезьяна около шарманки, приговаривая:

— Так, так... Отлично... Все будет в порядке...

В полночь Катя проснулась. Буров писал отчет в Центросоюз и лязгал костяшками счетов.

— Ты еще не спишь? — спросила она.

Буров молча остановился у постели жены.

— Ты знаешь, Ваня, мне лучше. Я даже боюсь...

Буров прошелся по комнате.

— Катя, мы с тобой никогда не закрывали глаз на правду жизни. Вопрос в том: поборет твой организм болезнь или нет. Но может случиться.

— А ты подумал, что я верю...

Она махнула рукой, и рука ее опять легла на одеяло, белая и худая, как шея мертвого лебедя.

Буров еще раз прошелся, у стола подумал, торопливо к жене приблизился и сел на постель.

— Я тебя не буду утомлять и скажу прямо. Ярославу для картины нужно снять такую обстановку... эпизод, что ли... Одним словом, тебя, вот так, как теперь... Ну, ты меня понимаешь.

— Я понимаю, понимаю, — как-будто даже обрадовалась Катя.

Буров встал.

— Понимаешь, это собственно мне, мне нужно.

Он несколько раз ткнул себя в грудь, взял руку жены, пожал ее, поцеловал и, увидав, как из глаз Кати, словно ртутный бисер, выпрыгивают слезы, сгорбился и вернулся к столу.

— Интеллигенты мы с тобой. Надо быть крепче.

И он закрылся листом отчета.

Катя больше не заснула. Таясь от мужа, когда он лег и затих на своем узеньком и промятом диване, она встала, открыла фанерный сундучек, достала свое парадное фиолетовое платье, которое не надевала с прошлого года, и повесила на плечики, потом долго перебирала и разглядывала лоскутки, улыбалась, чему-то, о чем-то плакала, но была наутро бодря и даже торжественна в своем фиолетовом наряде и в бумажных папильотках.

Буров удивленно поглядел на жену, но ничего не сказал и увел Ирочку к бабке Капе, с которой по воскресеньям ходила она гулять на детскую площадку.

— Ну, что? — спросил Ярослав.

— Согласна.

Гремя своими фотографическими доспехами, Ярослав вошел к Буровым, но, увидав Катю завитой и парадной, раскис, и его свежесвыбранные щеки сморщились и постарели.

— Дорогая моя, что я вижу!

Катя смущенно провела ладонями по своим плоским бедрам.

— Не то, не то! — забрюзжал Ярослав.— Мне нужна жизнь, обыкновенность, будни, обнаженность действительности!

— Снимайте, снимайте, — сквозь зубы проскрипел ему на ухо Буров так, что тот с'ежился и оживленно забормотал:

— Ага! Ну-ну! Прекрасно, превосходно! Попрошу! Вот так!

Ярослав скакал, извивался, хватал Катю за холодный локоть, показывал, как надо складывать Ирочкино одеяльце, изображая утреннюю уборку детской постели, приседал около аппарата, и опять его сюртук растопыривался на полу, как юбочка пляшущей обезьяны.

В золотой и трепетный свет весеннего солнца ворвались ослепительные лучи «Юпитера», затрещал аппарат, и Катя растерянно задвигала руками. Она мяла подушку, трясла перед собой Ирочкин чулок, поправляла свое платье, сбегавшее с острого плеча, но вдруг вся запрокинулась, подбородок ее запрыгал, она сжала тонкими пальцами шею, и нитка искусственного янтаря соскользнула с нее и раскатилась по полу.

Ярослав остановил аппарат и выбежал из комнаты:

— Воды, воды!

— Катя, Катя! — звал Буров, поднимая на руках жену, легкую и маленькую, и упрямо глядя на ее кровавую царапину от булавки, которой она заколола свое платье, чтобы скрыть его непомерность.

Буров положил Катю на постель, вздрагивающей рукой взял у Ярослава стакан и поднес его к белым губам Кати, но стекло стучало о зубы, и вода растекалась по щекам.

Катя очнулась и опять лежала горячая, с пунцовыми скулами. Пришел тот же седой доктор и сказал, что такие явления для него вполне ожидаемы и в порядке вещей.

— Микстурка для сна, капельки для сердца, питание, покой и сон. Но Катя не спала и задыхалась.

Через несколько дней после обморока бабка Капа надела на Ирочку все новое, чтобы отвести ее в гости к тетке, и поднесла к матери проститься.

Катя лежала с закрытыми глазами.

— Мама, у меня канубзик, — сказала Ирочка и оттянула на животе свой новый трикотажный костюмчик, но мать молчала.

Бабка Капа тайком смахнула слезы.

— Спит.

А вечером того же дня приходил гробовщик, смерял Катино маленькое тело, записал размер на папиросной коробке «Ява» и спросил Бурова:

— Верующие?

Буров побледнел.

— А вам зачем это нужно знать?

— Нам это только для обивки-с. То ли красная, то ли церковная.

Глазет, например.

— Нет, не верующие, — упрямо сказал Буров и отвернулся.

— Так и запишем.

И гробовщик записал на коробке:

«Савецкой материи».

Буров хлопотал, ездил на кладбище, платил деньги, делал то, что надо делать для похорон, был угрюм и спокоен, но, когда он услышал, как плачет и причитает бабка Капа, он вдруг растерялся, вышел из комнаты, постоял у бабкиного чулана, прислушался и крикнул:

— Бабушка!

— Что, болезный?

— Прошу вас, не нойте, не плачьте!

Бабка Капа хлюпнула носом и стала ему жаловаться на то, что ее самоё очень долго не прибирает смерть.

Буров постучался в соседнюю комнату, не выжидая ответа, вошел и непрошено сел на диванчик.

Бухгалтер Ибиков при лампадном свете раскладывал гран-пасьянс.

— Облегчил господь, — проверещал бухгалтер и поклонился, словно с чем-то поздравил. — Замучили вашу супругу.

— Кто замучил?

— Большевики-с! Не было бы их, и жила бы она на спокойе.

Буров молчал.

— А как вы полагаете, — опять заверещал Ибиков, — когда же будет лучше, т.-е. большевики-то кончатся?

Буров нетерпеливо поерошил волосы.

— Тогда, когда нас не будет.

— А потом-с?

— А потом они же будут. Только не будет тех, кто спрашивает об их кончине.

— Интересно-с!

— Как хотите.

Буров встал и направился к двери, но вернулся, вынул из гран-пасьянса трефовую даму, поглядел на нее и постучал картой по большому пальцу.

— Вот что, товарищ Ибиков, — особенно громко сказал он, — я всех просил, прошу и вас не говорить моей дочери, что ее мать умерла. Ее просто нет, она уехала.

Буров отшвырнул карту и быстрым шагом вышел от Ибикова. Потом он долго стоял у гроба и глядел на розовое, помолодевшее лицо Кати.

— А мы располагали жить вдвоем, — и Буров улыбнулся так, как улыбаются от сильной боли.

После похорон Буров поехал к сестре своей за Ирочкой.

Увидав отца, она весело запрыгала:

— К маме, к маме!

— Да, мы поедem домой, но мамы нет.

— А где?

Буров в первый раз солгал.

— Мама уехала к бабушке.

— А кто бабушка? — спросила Ирочка.

— Бабушка старичек.

— Большой?

— Большой.

И бабушка стал любим не меньше матери. Целыми вечерами говорили только о нем. Он был добр, глаза у него были большие, он кашлял и был так же горяч, как мать, а ростом выше колокольни и имел три руки, которыми он кормил отца, мать и девочку.

— Папа, три?

— У человека только две руки.

Ирочка заплакала, и Буров согласился:

— Три, три руки у бабушки.

— Иван Петрович, на минутку!

В дверях стоял торжествующий Ярослав и манил Бурова в кухню. Они пошептались.

— Потом. Я приду.

Буров был взволнован. Он старался занять Ирочку рисованием, часто уходил к соседям и возвращался оттуда беспокойный и рассеянный, а когда слышал шаги Ярослава, порывисто взял на руки Ирочку и так же порывисто поцеловал ее.

— Тебе дядя Ярослав покажет сейчас игрушку.

Ирочка испуганно поглядела на отца.

— Она страшная?

Буров ничего не ответил и дрожащею рукой провел по волосам дочери.

— А что? А где? А зачем? — задыхаясь от волнения, спрашивала Ирочка, когда Прасковья Никитишна потушила электричество и торжественно сказала мужу:

— Ярослав, можешь начинать.

В детском кино замелькала лента. Она туманилась, и по ней вспыхивали белые искры.

Ирочка шептала:

— Клаватка, тетя. Какая тетя?

Буров вздрогнул и крепко прижал к себе дочь.

— Папа, а давай, а пускай это наша мама?

— Это мама, — хрипло сказал Буров, но Ирочка вскрикнула, затрепетала и забилась в его коленях.

— Упала! Упала! Мама упала!

— Не плачь, Ирочка, не плачь! — утешала ее Прасковья Никитишна. — Зато какая твоя мама красивая.

Буров шуршал по стене и долго не находил штепселя. Бледный, он подошел к Ярославу и стал ему что-то говорить, растерянно дергая его за пуговицу. Проснувшись в своем чулане бабка Капа и, постанывая, приплелась утешать Ирочку, но девочка требовала, чтобы позвали мать, и плакала, пока не заснула на коленях у отца. Неумело он раздел дочь и положил в постель. Она проснулась и молча лежала, глядя на потолок большими материнскими глазами.

— Папа, ласкажи неплавду.

— Жил у бабушки...

— Мама говолит: жил-был.

— Да, жил-был у бабушки серенький козлик...

Ирочка перебила его:

— А мама еще плидет?

— Придет, — сказал Буров и отвернулся, чтобы скрыть от дочери свое лицо.

Ирочка, улыбаясь, дремала.

— А я бы не стал отрезать, — говорил Ярослав, на свет разглядывая ленту. — В фокусе, в фокусе — первый сорт, знаменито!

Отрезав конец ленты, он отнес его Бурову.

— Для специалиста это все одно, что кусок золота, но что делать, что делать... ребенок нервный, болезненный...

Буров равнодушно слушал его и ерошил волосы. Ярослав прикрыл плотнее дверь, оглянул комнату и таинственно спросил:

— По одной, потихоньку, а?

Он вынул из заднего кармана сюртука бутылку коньяку и спрятав под стол.

— Тащи, горемыка, рюмочки.

И так стало каждый вечер.

Ссылаясь на свое вдовство, Буров вскоре отказался от работы в местком, потом от вечерних занятий, и всегда торопился уйти со службы, но по дороге заворачивал в грязную пивнушку, где играли на гармонии и плясали русскую. Когда начинало затуманиваться и теплеть сердце, Буров шел домой, отпускал бабку Капу, которая ходила за Ирочкой, вертел кино, рассказывал сказки или рисовал Ирочке дедушку, поживаясь от неуютта и холода. Денег стало меньше, печурка плохо топилась, было грязно, так как бабка Капа слепла, еле двигалась и не убирала «атель», как она называла фотографический павильон, откуда уже больше не выселяли Бурова, а он сам ходил в Комхоз хлопотать о новой квартире.

К вечеру приходил Ярослав навеселе. Он запил с той поры, как стали в их городе показывать кино-картину, в которой он был в первый раз оператором. Картина оказалась неудачной, денег ему не доплатили, а Прасковья Никитишна сошлась с режиссером и уехала в Москву шить себе каракулевую шубу.

За вином Буров оживлялся и рассказывал Ярославу о своей жене, старался не называть ее по имени, но сбивался и восторженно восклицал:

— Катя! Чудесная Катя!

Тогда Ирочка требовала позвать маму, и они опять вертели кино.

— Первый сорт! В фокусе!—бормотал Ярослав.—Ты понимаешь, что такое фокус-мокус?

Опьяневши, Буров забывал про дочь, и она сама просила уложить ее спать или приносила эмалированный горшочек и ставила его перед отцом:

— Папа, асстегни.

Буров становился на колени, а она конфузливо закрывала на штанишках желтые подтеки и шептала ему на ухо:

— Я больше не буду.

Буров целовал ее платье, пропахшее аммиаком, и нетвердо говорил:

— Правда жизни, суровая действительность...

В одну из таких попок Буров, в припадке нежности, бросился целовать спящую дочь и разбудил ее.

— Папа? — сонно спросила она.

— Я, я, твой отец!

— А дедушка?

— А дедушка твой большой. Он ходит и убивает зверей. Он поймал льва, он застрелил тигра, у него три руки и четыре ноги... Он в шубе, ему тепло...

— А мама? — кутаясь в одеяло, спросила Ирочка.

— А мама твоя красавица. У нее есть козлик, она гуляет и собирает цветочки. Она живет в замке, дивном замке...

Но вдруг Буров замолк и тусклыми, словно намыленными, глазами уперся в Ярослава.

— Ярослав, что я говорю, что я говорю!

— А у нас мама в коробочке.

Буров вскочил и неистово крикнул:

— Да не в коробочке она, дочь моя!

— В коробочке, в коробочке, — заплакала Ирочка и испуганно прижалась к подушке.

Буров сел и весь раздряб.

— Да, она в коробочке, дочь моя, — пролепетал он, повалился головой на стол и заснул.

Утром Буров узнал, что Ирочка спала у бабки Капы, и странно улыбнулся. На службу он не пошел, занял у Ярослава три рубля и сидел в пивнушке. Возвращаясь по набережной, он остановился у здания «Клуба водников» и вслух прочел афишу, намалеванную фиолетовыми чернилами:

В ПЕРВЫЙ РАЗ!!!

С участием нашей Кино-Студии!!!

«ВЕРХ И НИЗ»

Потрясающая картина прошлого быта
униженных и оскорбленных.

В ролях: Северный, Южный, Белокаменная, Бурова и др.

СПЕШИТЕ ПОСМОТРЕТЬ!

Постановка кино-режиссера Воробьева.

Кино-оператор Ярослав Лисецкий.

АЛЛО! АЛЛО! АЛЛО!

СПЕШИТЕ ПОСМОТРЕТЬ!

Кино-секция.

На афише был изображен молодой простолудин, стреляющий из дуэльного пистолета.

Буров сорвал афишу и стал затапывать ее в снег. Толпа отшатнулась от него.

— Хулиган! — крикнула дама.

— Я запутался, — мрачно сказал Буров.

— Вы не запутались, вы пьяны.

Буров извинительно посмотрел на свое мокрое пальто и торопливо пошел через площадь, сутулясь и напуская на озябшие кулаки обтрепанные рукава.

Ярослав давно поджидал его. Буров сел, не раздеваясь, и отодвинул от себя рюмку.

— А где Ирочка? — спросил он и поежился от холода.

— Ее Васина учительница увела в детский дом на разные там игры-тигры... Ей там лучше. А то мы вчера того...

Ярослав дернул щекой и выпил.

— Мы уж одни тут. Ей там лучше.

— Ей там лучше, — повторил Буров и быстро встал.

— Постой, ты куда? Это, братец, нехорошо! — обиделся Ярослав.

— Я сейчас, — сказал Буров и мелкими ленивыми шагами вышел из комнаты.

Когда на дворе резко и сухо хлестнул выстрел, Лисецкий схватил бутылку, спрятал под стол и, выжидая чего-то, вытаращился на дверь.

— Не вынес потери, — говорил он потом про конец своего соседа. — А к тому же не все дома...

И он показывал бумажку, которую нашел у Бурова под промокшей кашкой.

«Дорогая сестра,
воспитание ребенка...

Кино—наука!

Кино—игрушка!

Кино—бессмертие!

Но бессмертие — дурная игрушка».

Последнее слово было подчеркнуто.

Фронты

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

Бьет и мечет. Режет и мечет
Свет и тень. В чет и нечет.
Валит снег, а ветра круты.
Скажи, моя молодость, — это ты?
Ночь февральская, — это ты?
Кровь по жилам, — это тоже ты?
А с тобой красноармейские посты.
А с тобой мандатные листы,
Бражеских метелей белые розги.
Гулевой чертогон матросский.
Клеш по ветру и свист по холоду,
Над землей пополам расколотый.
Гул годов снарядного нагрева.
Ветер, стой. Равнение налево.
Валит снег. Топят печи.
Бьет ночь в чет и нечет.
Высится стройка в лесах рогатых.
Это в переулке за Арбатом,
В царстве мезонинной пустоты.
Скажи, молодость, — это тоже ты?
Да, это я, не в шинели, не в бушлате —
В жарком пальто, купленном в Мосторге.
Битва не кончена. Требую расплаты.
Требую расплаты. Беру дорого.
Я проношусь над служебными бурями,
Толщи докладов вдрызг разрывая.
Я напирая с тобой при штурмах
Девятичасовых, тугих трамваев.
И, раскатившись в звонках телефонов,
И прошибая столы редакций,
Я обучаю простым законам:
Верить, вставать, вырастать, драться.
Жизнь строчит пулеметной лентой.
Если ты свалишься мертвой обузой —
Сзади грохнут шаги студентов,
Песни рабфаков, колонны вузов,
Бегунов на всемирный матч,
Строителей фабрик и радиомачт.
И опять забьет и замечет
Свет и тень. В чет и нечет.
Вихрь нетерпенья и суеты
Это будешь тоже — ты.

В кузнице

МИХ. ГЕРАСИМОВ

Загарная, нагая
И дикая, как хмель,
Ты, к кузне подбегая,
Глядела тайно в щель.

С весны, мой друг давнишний,
Заметил в сердце я
Блещающие вишни —
Глазенок остря.

Над горном зорьки алой
Меняющийся свет,
Над горном небывалый
Тропический букет.

Я сталь, как масло, резал,
Весь мускулами цвел,
И кружева железа
Тебе руками плел.

А ты, зверок мой милый,
Не скроешься порой,
Пленилась буйной силой
И огневой игрой.

Когда стыдливо сдула
Заря загар с лица,
Ты мне букет метнула
Степного яснеца.



Хождение по мукам

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение¹)

Иван Ильич Телегин, морщась и знобясь от боли, бинтовал себе голову марлей из индивидуального пакета. Царапина была пустяковая, кости не затронуты, но больно отчаянно, — винтом сворачивало весь череп. Он так ослабел от усилий, что после перевязки долго лежал на спине в пшенице.

Странно было слышать мирный, как ни в чем не бывало, треск кузнечиков. Невидимые в трещинах земли кузнечики, и большие звезды южной ночи, да несколько усатых колосков, неподвижно висящих между глазами и небом, — вот чем окончилась кровавая возня, вопли и железный грохот битвы. Давеча стонал где-то неподалеку раненый, — и он затих.

Хорошая вещь тишина. Замирала жгучая боль в голове, — казалось, успокоение наступало от этого торжественного величия ночи. Мелькнули было в памяти яркие обрывки дня, всего разорванного в клочья ударами пушек, криками разинутых по-звериному ртов, вспышками ненависти, когда бежишь-бежишь, видя только острие штыка и бледное лицо стреляющего в тебя человека, — но воспоминания вонзились в мозг так болезненно, так своротило вдруг череп, что Иван Ильич замычал, — скорее, скорее о чем-нибудь другом...

О чем же другом мог он думать? — было либо эти страшные клочья длительного, неохватываемого воображением события, — революция, война, — либо далекий, запертый под замок сон о счастье. Даша... Он стал думать о ней (в сущности, он никогда не переставал думать о ней), — о ее беспризорности: одна, неумелая, беспомощная, фантазерка... Сердитые глаза, а сердце, как у птицы, — тревожное, порывистое, — дитя, дитя...

В откинутой руке Иван Ильич сжал комочек теплой земли. Закрыв веки... Рассталась, — уверена, что навсегда. Дурочка... И никто

¹) См. «Новый Мир», №№ 7—12 за 1927 г. и №№ 1, 2 и 5 с. г.

твоих сердитых глаз не испугается... И никто вернее меня не будет любить, дурочка... Натерпишься обид горьких, забываемых...

Из-под ресниц у Ивана Ильича выступили слезы, — ослаб от ранения. Под самым ухом начал тыркать, трещать кузнечик. От света звезд кровавое, истоптанное поле казалось серебристым. Все прикрыла ночь... Иван Ильич приподнялся, посидел, обхватив колени. Все было, как во сне, как в детстве. Сердце жалело, плакало... Он встал и пошел, стараясь, чтобы шаги не отдавались в голове.

Корневская была в версте отсюда. Там кое-где светились костры. Ближе, в лощинке, плясал над землей бездымный язык пламени. Иван Ильич почувствовал жажду и голод, стиснувший желудок, и повернул в сторону костра.

Со всего поля брели туда темные фигуры, — кто легко раненый, кто заблудившийся из растрепанной части, кто волок пленного. Перекликались, слышалась хрипящая ругань, невеселый хохот... У костра, где пылали шпалы, лежало много народа. Поблескивали штыки.

Иван Ильич потянул носом запах хлеба и различил, что все эти, покрытые пылью, люди жуют. Близ огня стояла телега с хлебом и с боченком, откуда тощая, длинноносая женщина в белой косынке цедила воду.

Он напился, получил ломоть и прислонился к телеге. Ел, глядя на звезды. Люди у костра казались успокоившимися, многие спали. Но те, что подходили с поля, голодные и измученные, еще кипели злобой. Ругались и грозились в темноту, хотя их никто не слушал. Сестра раздавала ломти и кружки с водой.

Один, чернобородый, голый по поясу, приволок пленного и сбил его с ног у костра:

— Вот — сука, паразит... Допрашивай его, ребята...

Он пхнул упавшего сапогом и отступил, подтягивая штаны. Впалая грудь его раздувалась. Иван Ильич узнал его — это был Чертогонов — и отвернулся. Несколько человек кинулись к лежавшему, нагнулись:

— Вольноопределяющийся... (Сорвал с него погон, бросил в огонь.)

— Мальчишка, а злой, гадюка.

— За отцовские капиталы, небось, пошел воевать... Видно — из богатеньких...

— Глазами блескает, вот сволочь...

— Чего на него глядеть, пусти-ка...

— Постой, может, у него какие бумаги, — в штаб его...

— Волоки в штаб...

— Ни! — закричал Чертогонов, кидаясь, — он раненый лежит, я подхожу, — видишь, сапоги-то, — он в меня два раза стрелил, я его не отдам... — И он закричал еще диче: — Скидай сапоги!

Иван Ильич опять покосился. Обритая, круглая юношеская голова вольноопределяющегося отсвечивала от огня. Зубы были оспа-

лены, зрачки больших глаз метались, маленький нос весь собрался морщинами. Должно быть, он совсем потерял голову... Резким движением вскочил. Левая рука его безжизненно висела в разорванном, окровавленном рукаве. Между зубами раздался тихий свист и какое-то клокотанье, — он даже шею вытянул. Чертогонов попятился, так было страшно это живое видение ненависти...

— Эгэ, — проговорил из толпы чей-то густой голос, — а я ж его знаю, у батьки его работал на табачной фабрике, то ж ростовский фабрикант Оноли...

— Знаем, знаем, — загудели голоса...

Нагнув лоб, Валерьян Оноли закрутил головой, закричал с пронзительной хрипотцой:

— Мерзавцы, хамы, кррррасная сволочь! Рруки по швам. В морду вас, в морду, в морду!.. Мало вас пороли, вешали, собаки! Мало вам, мало!

И, ничего уже не сознавая, он схватил Чертогонова за косматую бороду, стал бить его сапогом в голый живот...

Иван Ильич сейчас же отошел от телеги. Грозно зашумели голоса, острый крик прорезал их нарастающий гнев... Над толпой поднялось растопыренное, бешено дрыгающее ногами, тело Валерьяна Оноли, подлетело и упало... Высоко поднялся над костром столб мелких искр...

В похолодевшей перед утром степи захлопали кнутами еще ленивые выстрелы, торжественно прокатился орудийный гул... Это колонны Дроздовского и Боровского, разбитые и отрезанные от главных сил, снова пошли в наступление из-за ручья Кирпели, чтобы отчаянным усилием повернуть счастье на свою сторону.

В эту же ночь командарм Сорокин получил из Екатеринодара приказ от непрерывно заседавшего ЦИК'а быть главнокомандующим всеми красными армиями Северного Кавказа на место бежавшего от позора Калнина.

Сообщил ему об этом начальник штаба Беляков, с телеграфной лентой кинулся в вагон главкома и, сбросив его ноги с койки, прочел приказ, освещая ленту бензиновой зажигалкой. Сорокин, не в силах проснуться, таращил глаза и валился на горячую подушку. Тогда Беляков стал трясти его за плечи:

— Да проснись ты, ваше высокопревосходительство, товарищ главнокомандующий... хозяин Кавказа, — понял...? Царь и бог, — понял?

Тогда Сорокин понял всю огромную важность известия, всю изумительную судьбу свою, оттиснутую точками и линиями на узкой полоске бумаги, извивающейся в пальцах начштаба. Он быстро оправил штаны, накинул черкеску, пристегнул кобур, шашку:

— Немедленно объявить приказ по армии... Мне — коня...

На рассвете Иван Ильич Телегин после перевязки, разыскивая штаб своего полка, пробирался между возами, — в это время со стороны вокзала по улице пролетела кучка конвойных с развевающимися башлыками, впереди скакал трубач, за ним — двое: Сорокин, рвавший повод у гривастого коня, и казак со значком главнокомандующего на пике. Как ночные духи, в закружившейся пыли всадники умчались в сторону выстрелов.

На телегах, мокрых от росы, поднимались заспанные головы, выставлялись бороды, хрипели голоса:

— Вот это так дунули...

— А кто такие?

— А шут их знает...

— Запрягай, ребята, как бы чего не было...

А в степи пела труба скачущего горниста, оповещающая о том, что главнокомандующий близко, здесь, в бою, под пулями... «Опрокинем врага, та-та-та, — пела труба, — к победе и славе вперед... Для героя нет смерти, но слава навек, та-та-та»...

В мазаной хате с выбитыми окошками Иван Ильич нашел Гымзу. Больше никого из штаба полка здесь не было. Гымза сутуло сидел на лавке, огромный и мрачный, рука его с деревянной ложкой висела между раздвинутыми коленями. На столе стоял горшок со щами и рядом туго набитый портфель — весь аппарат начальника особого отдела.

Гымза, казалось, дремал. Он не пошевелился, только повернул глаза в сторону Ивана Ильича:

— Ранен?

— Пустяки, царапина... Провалился полночи в пшенице... Потерял своих, — такая путаница... Где полк?

— Сядь, — сказал Гымза. — Жрать хочешь?

Он с трудом поднял руку, отдал ложку. Иван Ильич набросился на горшок с полуостывшими щами, даже застонал. С минуту ел молча.

— Наши дрались вчера, товарищ Гымза, цепи и поднимать не надо: на триста, на четыреста шагов бросались в штыки... Как бешеные...

— Поел, будет, — сказал Гымза. Телегин положил ложку. — Ты слышал приказ по армии?

— Нет.

— Сорокин — верховный главнокомандующий. Понял?

— Ну, что ж, это хорошо... Ты видел его вчера? С брошенными поводьями пер в самый огонь, — малиновая рубашка, весь на виду... Наши мужики как завидят его — ура! Кабы не он вчера, — не знаю... Мы еще подивились вчера, — прямо цезарь.

— То-то цезарь, — сказал Гымза, — жалко, расстрелять его не могу. Телегин опустил ложку:

— Ты... смеешься?

— Нет, не смеюсь. Тебе все равно этих делов не понять. — Тяжелым взглядом, не мигая, он глядел на Ивана Ильича. — Ну, а ты-то не

предашь? (Телегин спокойно взглянул ему в глаза.) Ну, что ж... Хочу поручить тебе трудное дело, товарищ Телегин... Думал я, — пожалуй, ты самый подходящий... На Волгу надо тебе ехать.

— Слушаю.

— Я напишу все мандаты. Я тебе дам письмо к Троцкому. Если ты не согласишься, не передашь, — тогда лучше уходи к белым, назад не являйся. Понял?

— Ладно.

— Живым в руки не давайся. Больше жизни береги письмо... Попадешь в контрразведку, — все сделай, с'ешь это письмо, что ли... Понял? — Гымза задыхался, задвигался и опустил на стол кулак так, что горшок подпрыгнул. — Чтобы ты знал, — в письме будет вот что: армия в Сорокина верит, Сорокин сейчас герой, армия за ним куда угодно пойдет, сейчас, может быть, он один только может бороться с Деникиным... И я требую расстрела Сорокина... Немедленно, куда он революцию не оседлал... Запомнил? Эти слова твоя смерть, Телегин... Понятно?

Он помолчал. По лбу его ползали мухи. Телегин сказал:

— Хорошо, будет сделано.

— Ты поезжай, дружок... Не знаю, — через Святой Крест, на Астрахань? — далеко... Лучше тебе пробираться Доном на Царицын. Кстати разведаете, что у белых в тылах... Захвати офицерские погоны, покрасуйся... Какие тебе — капитанские, или подполковничьи?

Он усмехнулся. Телегину стало зябко. Гымза положил ему руку на колено, похлопал, как ребенка:

— Поспи часика два, я напишу письмо.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Трехнедельный отпуск был, наконец, получен. Вадим Петрович Роцин, разбитый, больной, растерзанный противоречиями, находился в это время в добровольческом гарнизоне на станции Великокняжеская. Крупных боев не было, — все силы красных оттянулись южнее на борьбу с главными силами Деникина. Здесь же по станицам, на реках Маныче и Сале, вспыхивали кое-где волнения, но казачьи карательные отряды атамана Краснова проворной рукой успокаивали мятущиеся умы, — где внушали честью, где шомполами, а где вешали.

Вадим Петрович уклонялся от участия в расправах, ссылаясь на контузию. По возможности не ходил на офицерские попойки, устраиваемые в ознаменование побед Деникина. И странно: здесь, в гарнизоне, так же, как и в действующей армии, к Роцину все относились с настороженностью, со скрытой враждебностью. Кем-то где-то был пущен слух про его «красные подштанники», — так к нему это и прилипло.

В окопах под Шаблиевкой вольноопределяющийся Оноли стрелял в него. Роцин отчетливо помнил эту секунду: гул снаряда с бро-

непоезда, крик ротного—«ложись!», разрыв и—запоздавший револьверный выстрел, и свирепой радостью метнувшиеся вслед за тупым ударом контузии восточные глаза Оноди.

Только один человек мог поверить честному слову Рощина — генерал Марков. Но он был убит, и Вадим Петрович размыслил больше не поднимать сомнительного дела против мальчишки.

Его мучило, откуда, все же, такая ненависть к нему? Разве не было ясно, что он честен, что он бескорыстен, что его поступками руководит только идея величия России? Не за генеральскими погонами он попал в эти страшные степи... Никому он на дороге не становится, отличий не кланчит...

У Рощина не доставало беспощадного видения вещей. Ум его окрашивал мир и события в то, что сам считал лучшим и главным. Неподходящее пропускалось мимо глаз, от назойливого он морщился. И мир представлялся ему законченной системой. Происходило это, по всей вероятности, от врожденного барства, от многих поколений благодушствующих помещиков. Эта исчезнувшая порода превыше всех благовостила мирное благодушие и навязывала его всему и повсюду. Пороли мужика на конюшне,—ну, что ж, покричит-покричит мужик, а после лозы раскается, ему же будет лучше, — раскаянному и умиротворенному. Протестуют векселя, именно идет с торгов, — что ж поделаешь, можно прожить и во флигельке, в лопухах и крыжовнике, без шумных широв, пожалуй, что так и душе будет покойнее под старость лет... Никакими усилиями судьбе не удавалось сбить с толку благодушствующего помещика. И вырабатывалось у них особое мягкое зрение — видеть во всем лишь прекраснейшее и благороднейшее...

Это отсутствие едкого взгляда на лица и поступки было и у Вадима Петровича. (Правда, события последних лет сильно потрепали его романтизм, вернее, от него остались одни лохмотья.) Ему теперь постоянно приходилось жмуриться. Вот отчего он уклонялся, например, от посещения офицерского собрания.

Эти люди—горсточка офицеров и юнкеров — должны были, по его понятию, носить, как крестоносцы, белые одежды: ведь они подняли меч против черного, против взбунтовавшейся черни, против черных вождей, антихристовых, или германских,—чорт их там разберет, — слуг и приспешников... (С этим зарядом идей Рощин и попал на Дон.)

Но на офицерских попойках было дико и страшно слушать шумное бахвальство под звон стопочек, похвалы братоубийственной лихости; эти молодые, когда-то изящные, лица «крестоносцев» обезображены нетерпением убивать, карать, мстить; вот они, стоя со стопочками девяностопятиградусного спирта, поют мертвый гимн тому, кто был ничтожнейшим из людей, был расстрелян, сожжен, развеян по ветру, как некогда Лжедмитрий, и если бы можно было собрать всю кровь пролитую по его бессильной воле, то народ, конечно, утопил бы его живого в этом глубоком озере...

Казалось (на это и жмурился Роцин), этот мертвый гимн был единственной идеей у его однополчан... Очистить Россию от большевиков, дойти до Москвы... Колокольный звон... Деникин везжает в Кремль на белом коне... Да, да, все это понятно... Но дальше-то что, — самое-то главное? Про Учредительное собрание, например, неприлично было и говорить среди офицеров... Значит: гимн мертвецу?

Что же увлекло этих людей на борьбу и смерть? Роцин жмурился... Подставлять грудь под пули и пить спирт в теплушках уже не было героизмом, — вот в чем дело. Этим занимались и храбрые, и трусы — тридцать миллионов душ на земле. Героизм лежал в какой-то иной области духа.

Героизм был в отречении от себя во имя веры в правду. Но тут опять — жмурки, без конца — жмурки... В какую правду верили его однополчане? В какую правду верил он сам? В великую и трагическую историю России? Но это была истина, а не правда. Правда — в движении, в жизни, не в перелистанных страницах пыльного фолианта, а в том, что течет в грядущее, в счастье.

Во имя какой правды (если не считать московского колокольного звона, белого коня, цветов на штыках и прочее) нужно убивать русских мужиков? — этот вопрос начинал шататься в сознании Вадима Петровича, зыбиться, как отражение в воде, куда бросили камень. Тут-то и начиналось его мучительное расщепление. Он был чужой среди однополчан, «красные подштанники», «едва ли не большевичек»...

Все чаще с горячими от стыда ушами он вспоминал последний разговор с Катей. Она сжимала руки, задыхалась от волнения, будто из-под ног Вадима Петровича сыпались камушки в пропасть... Она сказала: «Нужно делать что-то совсем другое, не то, зачем ты приехал сюда... Сначала нужно понять... И только тогда, если ты уверен, что можешь взять это на свою совесть, — тогда иди, убивай»...

Ему еще трудно было сознаться, что Катя, должно быть, права, что он безнадежно запутывается, что все меньше понимает, откуда берется, растет, как кошмар, сила «взбунтовавшейся черни», что сгоряча объяснять, будто народ обманут большевиками, — глупо до ужаса, потому что еще неизвестно, кто кого вызвал: большевики революцию, или народ большевиков, что еще страшнее, еще ужаснее сейчас кого-то обвинять, — разве бога, разве богу кричать проклятия, ухватившись за обломок мачты среди бешеных волн революции...

Катя была права во всем, — из старой жизни она унесла в эти смутные времена одну защиту, одно сокровище — любовь и жалость. Он вспоминал, как она шла по Ростову в платочке, с узелком, — кроткая спутница его жизни... Милая, милая, милая... Положить голову на ее колени, прижать к лицу ее нежные руки, сказать только: «Катя, я изнемог»... Но чортова гордость сковывала Вадима Петровича. На пыльной улице станицы, в строю, в офицерском собрании появлялась

его худая фигура, будто затянутая в железный корсет, голова, совсем уже седая, высокомерно поднята... «Елочки точеные, — говорили про него, — тон держит, подумаешь — лейбгвардеец, 'сволочь пехотная»...

Он послал Кате два коротеньких письма, но ответа не получил. Тогда он решился написать подполковнику Тетькину. Но в это время пришел отпуск, и Вадим Петрович сейчас же выехал в Ростов. По дороге его трясла лихорадка. Надо же было сознаться, наконец, что дорожке величия погибшей империи были ему Катины взволнованные, серые, любимые глаза...

В полдень с вокзала он взял извозчика. Город нельзя было узнать. Садовая улица чисто выметена, деревья подстрижены, нарядные женщины все в белом, гуляя по теневой стороне, отражаются в зеркальных окнах магазинов.

Роцин вертелся на извозчике, ища глазами Катю. Что за чорт! — женщины, как из забытого сна, — в шляпках с драгоценными перьями, в панاماх, белых шарфах... Белые ножки летят по вымытому мрачными дворниками асфальту, ни одного пятнышка крови на этих белых чулочках. Так вот зачем стоит заслон в Великокняжеской! — Четвертую неделю бьется Деникин с красными полчищами! Вот она простая, «как апельсин», правда белой войны!

Роцин горько усмехнулся. На перекрестках стояли немцы в жутко знакомых серо-зеленых мундирах, в новеньких фуражках, — свои, домашние! Ах, вот один выбросил из глаза монокль, целует руку высокой смеющейся красавице в белом...

— Извозчик, чорт, поторапливайся!

Подполковник Тетькин стоял у ворот своего дома. Вадим Петрович, под'езжая, выскочил из пролетки и увидел, что Тетькин пятится, глаза его округляются, вылезают, толстенькая рука поднялась и замала на Роцина...

— Здравия желаю, подполковник. Неужели не узнали? — я... Ради бога, что Катя? Дома? Здорова? Отчего не...

— Батеньки мои, жив! — бабьим голосом крикнул Тетькин. — Голубчик мой, Вадим Петрович! — и он припал, обнял Роцина, замочил ему щеку слезами...

— Что случилось? Подполковник... Говорите все...

— Чуяло сердце — жив... А уж как бедненькая Екатерина Дмитриевна убивалась. — И Тетькин бестолково стал рассказывать про то, как она бегала к Оноли и он ей налгал непонятно зачем; про гнусное поведение Оноли; про Катину горе, от'езд...

— Где она сейчас, где? Подполковник...

Тетькин развел руками, добрейшее лицо его изобразило мучительное желание помочь...

— Помнится мне, говорила, что едет в Екатеринослав... Будто бы даже хотела там в кондитерское заведение какое-то поступить... От отчаяния — в кондитерскую... Я ждал — напишет, — ни строчечки, как в воду канула...

Рощин отказался зайти выпить стаканчик чаю и сейчас же вернулся на вокзал. Поезд на Екатеринослав отходил вечером. Он пошел в залу для ожиданий первого класса, сел на жесткий дубовый диван, облокотился, закрыл ладонью глаза, и так на долгие часы остался неподвижным...

Кто-то, с облегчением вздохнув, сел рядом с Вадимом Петровичем, видимо, надолго. Сиделись до этого многие, посидят и уйдут, а этот начал дрожать ногой, ляжкой, — трясся весь диван. Не уходил и не переставал дрожать. Не отнимая руки от глаз, Рощин сказал:

— Послушайте, вы не можете перестать трясти ногой?..

Тот с готовностью ответил:

— Простите, дурная привычка.—И сидел после этого неподвижно.

Голос его поразил Вадима Петровича: страшно знакомый, связанный с чем-то далеким, с каким-то прекрасным воспоминанием. Рощин, не отнимая руки, сквозь раздвинутые пальцы одним глазом покосился на соседа. Это был Телегин. Вытянув ноги в грязных сапогах, сложив на животе руки, он, казалось, дремал, прислонясь затылком к высокой спинке. На нем был узкий френч, жмуший под мышками, и новенькие подполковничьи погоны. На худом, бритом, загорелом лице его застыла улыбка человека, отдыхающего после смертной усталости...

После Кати он был для Рощина самым близким человеком, как брат, как дорогой друг. На нем лежал свет очарования сестер, — Даши и Кати... От изумления Вадим Петрович едва не вскрикнул, едва не кинулся к Ивану Ильичу. Но Телегин не открывал глаз, не шевелился. Секунда миновала. Он понял, — перед ним был враг. Еще в конце мая Вадим Петрович знал, что Телегин — в Красной армии, пошел туда своей охотой, и на отличном счету. Одет он был явно в чужое, быть может, похищенное у им же убитого офицера, в подполковничьи погоны (а всего он был штабс-капитаном царской армии)... Рощин почувствовал внезапно липкую гадливость, какая обычно кончалась у него вспышкой бешеной ненависти: Телегин мог здесь быть только, как большевистский шпион, контрразведчик...

Нужно было немедленно пойти и доложить коменданту. Рощин стиснул рукой глаза. Два месяца тому назад он бы не колебался ни мгновения. Но он прирос к дивану, — не было силы. Да и гадливость будто отхлынула... Иван Ильич — красный офицер, вот он, рядом, все тот же, усталый, весь добрый... Не за деньги же пошел, не для выслуги, — какой вздор!.. Рассудительный, спокойный человек пошел, потому что счел это дело правильным... «Так же, как я, как я, да, да»... Выдать, чтобы через час муж Даши, мой, Катин брат, валялся без сапог под забором на мусорной куче?..

Ужасом схватило горло, Рощин весь поджался... Что же делать?.. Встать, уйти?.. Но Телегин может узнать его, — растеряется, окликнет... Как спасти?..

Неподвижно, точно спящие, сидели Рошин и Иван Ильич, — близко на дубовом диване. Вокзал опустел в этот час. Сторож закрыл перронные двери. Тогда Телегин проговорил, не открывая глаз:

— Спасибо, Вадим.

У Рошина отчаянно задрожала рука. Иван Ильич легко поднялся и пошел к выходу на площадь спокойной походкой, не оборачиваясь. Минуту спустя Рошин кинулся вслед за ним... Он обежал кругом вокзальную площадь, где у лотков под белым солнцем, от которого плавился асфальт, под связками копченой рыбы дремали черномазые люди... Сожжены были листочки на деревьях, сожжен весь воздух, напитанный городской пылью.

— Обнять его, только обнять, — бормотал Рошин, и красные круги зноя плыли перед глазами. Телегин провалился, как сквозь землю.

В тот час, когда погасла степная заря, когда Рошин, забравшись на верхнюю койку, глухо заснул под стук вагонных колес, — та, кого он искал, по ком душа его, больная от крови и ненависти, мучительно затосковала, — его жена, Катя, ехала в степи на тачанке. Плечи ее были закутаны в шаль. Рядом сидела красавица казачка, Матрена Красильникова, горячая и сильная, как мужик. Бренчало железо тачанки. Пофыркивали кони, идя рысцей. Множество подвод растянулось впереди и позади по степи, скрытые сумраком звездной ночи.

Алексей Красильников, опустив вожжи, сидел на козлах, Семен — бочком, по сапогам его хлестала трава и кашки. Пахло конями, полынью. Катя думала в полудремоте. Ветерком холодило плечи. Не было края степи, не было края дорогам, тоске по счастью. Из века в век шли кони, скрипели колеса, и снова идут, как тени древних кочевий, — счастье, счастье, край степей, лазурный берег, ласковые волны, мир, изобилие, любовь, как пышные плоды земные...

Матрена взгляделась в Катино лицо, в бормочущие губы, усмехнулась. Опять — только топот копыт. Ни обычных криков, ни огонька. Армия уходила из окружения. Батько Махно велел итти тихо. Тяжелые плечи Алексея сутулились, должно быть, одолевала дремота. Семен сказал негромко:

— Не отбиваюсь я от вас... При чем — Семен, Семен? (Матрена коротко вздохнула, отвернулась, глядела в степь.) Я Алексею давно говорил, еще весной, — не ленточка мне матросская дорога, дорого дело... (Алексей молчал, молчала и Матрена.) Флот теперь чей? Наш, крестьянский... Что же, если мы все разбежимся? А? Ведь за одно дело боремся, — вы здесь, мы там...

— А что тебе пишут-то? — спросила Матрена.

— А пишут, чтобы непременно вернулся на миноносец, иначе буду считаться дезертиром, вне революционного закона...

Матрена дернула плечом. От нее так и дышало жаром. Но сдержалась, ничего не ответила. Спустя время, Алексей выпрямился на козлах, прислушался, указал в темноту кнутовищем:

— Екатеринославский скорый...

Катя вглядывалась, но не увидела поезда, уносившего на верхней койке в купе спящего Вадима Петровича, — только услышала свист, протяжный и далекий, и он пронзительной грустью отозвался в ней...

В Екатеринославе прямо с вокзала Вадим Петрович пошел по кондитерским заведениям, справляясь о Кате. Он заходил в жаркие кофейни, полные мух на непротертых окнах и на марле, покрывающей сласти; читал коленкоровые вывески: «Алла верды», «Ходы сюда, душа мой», «Симпатичный уголок»; из дверей этих подозрительных ресторанчиков глядели на него выпученными, как яичный белок, глазами черномазые усачи, готовые, если понадобится, приготовить шашлык из чего угодно. Он справлялся и здесь. Потом стал заходить подряд во все магазины.

Беспощадно жгло солнце. Множество пестрого народа шумело и толкалось на главной, длинной, как дорога, улице. Она возникла недавно в виде чудовищного придатка к старому городу. До войны здесь создавалась новая столица южных степей Украины. Война приостановила ее рост. Сейчас под властью гетмана и охраной немцев город снова ожил, но уже по-иному: вместо контор, банков, торговых складов открывались игорные дома, меняльные лавки, шашлычные и лимонадные; деловой шум и торговое движение сменилось бешеной суетой продавцов валюты, бегающих с небритыми щеками, в картузиках на затылке по кофейным и перекресткам, выкриками непонятого количества чистильщиков сапог и продавцов гуталина, — единственной индустрии того времени, пристаиваниями зловещих бродяг, завываниями оркестриков из симпатичных уголков, бестолковой толкотней праздно толпы, которая жила куплей и продажей фальшивых денег, несуществующих товаров и женской чести.

В отчаянии от бесплодных поисков, оглушенный, измученный, Вадим Петрович присел на скамью под акацией. Мимо валила толпа... Женщины и нарядные и чудные — в одеждах из портьер, в национальных украинских костюмах, женщины с мокрыми от жары подведенными глазами, со струйками пота на загримированных щеках; взволнованные спекулянты, продирающиеся, как маньяки, с протянутыми руками сквозь эту толщу женщин; гетманские, с трезубцем на картузах, надменные чиновники, озабоченные идеями денежных комбинаций и хищения казенного имущества; рослые и широкоплечие, с воловьими затылками, гетманские сечевики, усатые гайдамаки в огромных шапках с малиновым верхом, в синих, как небо, жупанах и чудовищных с мотней шароварах, по которым два столетия тосковали самостийные учителя гимназий и галицийские романтики. Плыли в толпе неприкосновенные германские офицеры, глядевшие с презрительной усмешкой поверх голов... Над шумом и зноем плыл вальс военного оркестра, игравшего на бульваре.

Рощин глядел, и злоба раздувала ему шею. «Вот бы полить керосином, сжечь всю эту сволочь»... Он купил у проходившего водоноши стакан морсу, выпил залпом и снова пошел из двери в дверь. Только теперь он начал понимать безумие этих поисков. Катя, без денег, одна, неумелая, робкая, разбитая горем (с острым ужасом он снова и снова вспоминал про пузырек с ядом в московской квартире),—где-то здесь, в этой нечеловеческой толпе... Ее касаются липкие руки валютчиков, сводников, шашлычников, по ней ползают гнусные глаза...

Он задышался... Лез с растопыренными локтями прямо в толпу, не отвечая на крики и ругань. Вечером он взял за огромную цену номер в гостинице,—темную щель, где помещалась только железная кровать с пролежанным матрасом, стащил сапоги, лег и, молча, уткнув седую голову в руки, плакал.

Перейдя пешком донскую границу, Телегин переменял подполковничью форму на красноармейскую, поездом добрался до Царицына, там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове пред'явил в Ревкоме документы и на буксирном пароходе пошел на Сызрань, где был чехо-словацкий фронт.

Волга была пустынна, как в те полумифические времена, когда к ее песчаным берегам подходила конница Чингиз-хана поить коней из великой реки Ра. Многоверстая зеркальная ширина медленно плыла в каемке песчаных обрывов, заливных лугов, поросших зелеными тальниками. Редкие селения казались покинутыми. На восток уходили ровные степи,—в волны зноя, в миражи. Медленно плыли отражения ленивых облаков. И только в тишине хлопотливо шлепали пароходные колеса по лазурным водам.

Иван Ильич лежал под капитанским мостиком на горячей палубе. Он был босиком, в рваной, распоясанной рубахе, золотистая щетина отросла у него на щеках. Он наслаждался, как кот на солнце, тишиной, влажным запахом болотных цветов, тянущим с низового берега, сухим ковыльным запахом степей, необ'ятными потоками света. Это был всем отдыхам отдых.

Пароход вез оружие и патроны для партизан степных уездов. Красноармейцы, сопровождавшие груз, разленились от воздуха,—иные спали, иные, наспавшись, пели песни, глядя на просторы воды и неба. Командир отряда, товарищ Хведин, черноморский матрос, по нескольку раз на дню принимался стыдить бойцов за несознательность. К нему собирались, садились, ложились вокруг. Он начинал рассказывать про коварные замыслы мировой буржуазии:

— И вот, братишечки, покуда вы здесь дремлете, мировой буржуй не дремлет. Он,— тут следовало очень крепкое морское поминание,—хитер... Ему страшно, братишечки... Он, сукин сын, в портки валит со страха... История-то ведь какая... Мы, рабочие и крестьяне,

чего отчубучили, — а?.. Шестую часть света забрали в свои мозолистые руки, — вот это так революция, правду я говорю? Рабочие и крестьяне других стран и государств поглядят-поглядят,—завидно! У русских нет буржуя, а у нас, мол, на шее сидит, напился, как клоп, мать его... Понятно, братишечки... А что же, — у них оружия нет? Они хуже нас? Наши кровные братья, — тут он вставал и плашмя кулаком бил себя в грудь, гулко, как в бочку, — наши братья трудящиеся на обоих полушариях должны поднять оружие... Троны и парламенты, оплоты кровавых эксплуататоров, полетят кверху ногами... (Сложное морское поминание.) Только вы держитесь, братишечки... Может, еще месяц, ну, недель шесть осталось до мировой революции...

После таких бесед братишечки качали головами:

— Вот это так заварили кашу.

— И податься некуда, — не ты его, так он тебя.

— Воевать надоело, братцы, хуже горькой редьки, а ничего не поделаешь...

— Я был в плену, всюду рабочий человек — один, никакой разницы, со всеми сговориться можно...

— Верно! — кричал Хведин. — Я свет кругом об'ехал на крейсере первого ранга. Негры — и те, как наши мужики, только слава, что сами черные, как деготь... Границы и национальности отменяются, ребята...

— Вот это верно, вот это так, и — ни к чему, — шумели красноармейцы...

Налево засинели хвалынские горы. Товарищ Хведин глядел в бинокль. Команда висела на фальшборте, — покуривали. Городок Хвалынск, ленивый и сонный, яснее проступал за кущами деревьев. Здесь должны были брать нефть.

Седенький, низенький капитан стал около рулевого. Река разделялась на три русла, огибая наносные тальниковые острова, фарватер был капризный. Хведин подошел к капитану:

— В городе ни одной души не видать, — что за штука?

— Нефть нужно взять обязательно, как хотите,—сказал капитан.

— Надо, так подваливай.

Пароход, проходивший у самого острова, где ветви осокорей почти касались колесных кожухов, загудел, стал поворачивать. В это время с острова, из густых тальников закричали отчаянные голоса:

— Стой! Стой! Куда вы идете?!

Хведин выдернул из кармана штанов револьвер. Команда отхлынула от борта. Закипела вода под пароходными колесами.

— Стой же, стой! — кричали голоса. Шумели тальники, какие-то люди продирались к берегу, появились красные взволнованные лица, машущие руки. Все указывали на город. Ничего за шумом нельзя было разобрать. Хведин покрыл, наконец, всех морскими словами. Но и без того стало все понятно... В городе у пристаней появились дымки, по реке раскатились выстрелы. Хвалынск был занят белогвардейцами.

Люди на острове оказались остатками бежавшего гарнизона, частью — местными партизанами. Некоторые из них были вооружены, но патронов не было.

Красноармейцы кинулись в каюты за винтовками. Хведин сам стал за капитана и ругался на всю водную ширь такими проклятиями, что люди на острове сразу успокоились, на лицах появились улыбки. Хведин сгоряча хотел-было сразу атаковать город в лоб с парохода, посадить десант и расправиться. Но его остановил Иван Ильич. В коротком споре Телегин доказал, что атаку без подготовки производить нельзя, что непременно ее нужно комбинировать с обходным движением, и что Хведин не знает сил противника, а, может, у них артиллерия? — «Поняли, чем вы рискуете, товарищ?»...

Хведин только заскрипел зубами, но согласился. Пароход под выстрелами спускался задним ходом по течению и зашел с западной стороны острова, откуда город был скрыт леском. Здесь ошвартовались. Люди с острова высыпали на песчаный берег, — было их человек пятьдесят, ободранные, взлохмаченные.

— Да вы только слушайте, черти, что мы вам говорить будем, — кричали они.

— Помощь идет.

— К нам на помощь Захарин идет с пугачевскими партизанами.

— Мы еще третьего дня к нему ходака послали.

И они рассказали, что третьего дня местные буржуи вооруженным налетом враспloh захватили совдеп, телеграф и почту. Офицеры нацепили погоны, кинулись к арсеналу, отняли пулеметы. Вооружились гимназисты, купчики, чиновники, даже соборный дьякон бежал по улице с охотничьим ружьем. Никто не ждал переворота, не успели схватиться за винтовки.

— Наши командиры разбежались, предали командиры...

— Мы, как бараны, мечемся.

— Без штанов за Волгу уходили, вот беда-то...

— Эх вы, — только и сказал на это Хведин, — эх вы, защитники...

На берегу все сообща стали держать военный совет. Телегина выбрали секретарем. Поставили вопрос: отнимать Хвалынский у буржуев, или не отнимать? Решили отнимать. Вопрос второй: поджидать пугачевских партизан, или брать город своей силой? Тут поспорили. Одни кричали, что надо ждать, потому что у пугачевцев есть пушка, другие кричали, что ждать нельзя; с минуты на минуту сверху из Самары могут подбежать белые пароходы. Хведину надоели споры, махнул рукой:

— Ну, будет зубами лязгать, товарищи. Постановлено единогласно: к вечеру чтобы Хвалынский был наш. Запротоколь, товарищ Телегин.

В это время на левом берегу, на обрыве появились верховые: сначала выскочили двое, потом — четверо, увидели пароход, ускакали. Потом сразу весь берег покрылся всадниками, на солнце блестели широкие пики, сделанные из кос. Хвалынские начали кричать:

— Э-эээ-й, чьи будетеееее?

Оттуда ответили:

— Отряд Захарина пугачевской крестьянской армии...

Хведин взял рупор, надувая шею, загудел:

— Братишки, мы вам оружие привезли, катись на остров... Хвалыньск будем брать...

Оттуда закричали:

— Ладно... У нас пушка есть... Гони сюда паролод...

Всадники на берегу были одним из отрядов крестьянской армии, дравшейся в самарских степях против волостей, признавших власть самарского временного правительства, против чехо-словаков на реке Чагре, воевали против казаков генерала Толстова под Уральском, против казаков атамана Дутова.

Армия возникла сейчас же после занятия Самары чехо-словаками. Город Пугачевск, в прошлом Николаевск, стал центром формирования. Сюда собирались все горячие головы, кому любо было поехать на конях, все, кто загнан был огромными, по сотне тысяч десятин, именьями знаменитого земельного скупщика Шехобалова на нищий крестьянский клин, все, кто тягался за землю с богатейшими уральскими станичниками, все, у кого через края переплескивалась душа, рожденная в бескрайных степях, где вольно шумит пшеница, где хозяин лишь мужик в лаптях, идет за тяжелым плугом, за цабаном из шести пар быков, взрывающих лениво, поливая слюнями ковыль, черноземную целину.

Противник возникал повсюду, как степной мираж. В селе соби-рался сход; богатенькие мужики, унтер-офицеры царской армии, приезжие из Самары переодетые агитаторы, духовенство кричали, что нет такого закону, чтобы бедняк, батрак, безземельный бродяга садился править волостью, отнимал у крепких мужиков землю и хлеб. И сход решал слать в соседние села ходоков, чтобы окапы-вались. Сразу поднималась целая волость, вытаскивали из потайных мест оружие, проводили плугом борозды на границе, рыли окопы на десятки верст.

В иных местах провозглашалась республика с подчинением самарскому центру. Охрана территории поручалась коннице, пехота мобилизовалась только в случае нападения красных. Для вооружения конницы годились косы, — их торчком привязывали к шестам. Такие армии упрямых, злых мужиков были страшны. Они появлялись неожиданно из степного марева, налетали в тучах пыли на цепи и пулеметы пугачевцев. Здесь дрались только свои: брат на брата, отец на сына, кум на кума, — значит — без страха и беспощадно. Разбив красных, конница вооружалась пулеметами и винтовками, но кос не бросала.

В гражданской войне побеждает тот, у кого шире задачи, кто увереннее в своей ярости. В Пугачевске, провинциальном пыльном

городишке на реке Моче, размахивались не только на такие пустыки, как бить Пестравскую или Марьевскую кулацкую волость, а — итти на мир. Пели песни про красное знамя труда, которое они развеют по всем океанам и землям. Где же было устоять перед ними окопанным волостям, дрожавшим над одной своей землишкой!..

Ни летописей, ни военных архивов не осталось от этой великой крестьянской войны в самарских степях, где еще помнились глухо походы Емельяна Пугачева. Разве только в престольный праздник поспорят за ведром вина отец с сыном о былых боях, упрекая друг друга в стратегических ошибках.

— Помнишь, Яшка, — скажет отец, — начали вы в нас садить под Колдыбанью из орудия? Непременно, думаю, это мой Яшка, сукин сын... Вот ведь во-время уши ему не оборвал... А здорово мы вас пуганули... Хорошо, ты мне тогда не попался...

— Хвастай, хвастай, — говорит сын, — а взяла наша...

— Ничего, придет случай, — опять разоидемся.

— Что ж — и разоидемся... Как ты был кулак, так при своей кровавой точке зрения и остался...

— Выпьем, сынок.

— Выпьем, батя...

Хотя и не с руки было Ивану Ильичу ввязываться в драку, но пришлось, — податься некуда. Он только принял меры, — привязал письмо Гымзы к ручной гранате, чтобы уничтожить его без остатка в случае своего ранения или плена.

Пароход подошел к левому берегу. Бросили трап, и на борту поднялся командир пугачевского отряда, Захарин. Это был медно-красный, лет двадцати пяти коренастый человек с крючковатым носом, как у орла-стервятника. Он был до того силен и кряжист, что сходни затрещали под ним. Выгоревший френч его лопнул под мышками, по высоким сапогам била кривая серебряная сабля. Его старшие братья, крестьяне Утевской волости, командовали дивизиями.

За ним поднялись шестеро партизан, — командный состав, одетые живописно и необыкновенно: на одном — зеленый полицейский сюртук с подвернутыми под кушак лапами и лапти, другой — голый по пояс и в валенках со шпорами, прикрученными бичевой, на остальных — выцветшие под солнцем, в дегтю и пыли, рубахи, расстегнутые ворота, пулеметные ленты, гранаты за поясом, германские плоские штыки, обрезы.

Захарин и Хведин встретились на капитанском мостике, пожали руки — один крепче другого. Угостились папиросами. Хведин кратко объяснил военную обстановку. Захарин сказал:

— Я знаю, кто в Хвалынске воду мутит, — Кукушкин, председатель земской управы... Мне бы эту сволочь живым взять.

— Не беспокойтесь, товарищ, ликвидируем, — сказал Хведин. — А как насчет пушки — в исправности она у вас?

— Стреляет, но прямой наводкой, без прицела, целимся через дуло. Зато бьет, проклятая, ахнешь, — колокольня, или водокачка вдребезги.

— Словом — амба. Хорошо. А насчет десанта и обходного движения как думаете, товарищ Захарин?

— Обязательно конницу перекинем на тот берег. Пароходиска может свезти сотню бойцов?

— Шутя — в два рейса.

— Ну, тогда говорить не о чем. Смеркнется — перекинем конный десант повыше города. Пушку поставим на пароход. А на зорьке и атакуем.

Хведин поручил Ивану Ильичу командовать стрелковым десантом, который назначался к высадке в лоб на пристани. В сумерки пароход осторожно, без огней, пошел по боковому рукаву Волги вдоль острова. В тишине слышался только голос матроса, промеряющего глубину: «Семь, восемь, под табак»...

Вслед за пароходом ушли по берегу и пугачевцы. Хвалынским было роздано оружие, они лежали на песке. Телегин ходил близ самой воды, посматривая, чтобы не курили, не зажигали огня. Чуть слышно плескала река о песок. Пахло болотными цветами. Звенели комарики. Люди на песке притихли.

Ночь становилась все чернее, все бархатнее, усыпалась звездами, — сквозь испарения реки они мерцали и переливались блаженно. Со степного берега тянуло сухостью полыни, булькали перепела: «Спать пора»... Иван Ильич ходил вдоль воды, разгоняя сон.

Когда ночь переломилась, небо потеряло бархатную черноту и далеко из-за реки послышались петухи, — по воде, едва задымившейся туманом, зашлепали колеса. Подходил пароход. Иван Ильич осмотрел барабан револьвера, подтянул ремешок на штанах и пошел вдоль спящих, похлопывая их веточкой по ногам:

— Товарищи, просыпайтесь.

Люди одичало вскакивали. Знобясь, поджимались, — сразу сообщали спросонок, что предстоит... Многие пошли пить, опуская голову в реку. Телегин командовал вполголоса. Надо было натаскать прикрытие, — бойцы стали стаскивать рубашки, набивали их песком и укладывали вдоль фальшборта. Работали молча, — было не до шуток.

Начинало светать. Приготовления закончились. Небольшую пушку, горное заржавленное орудие, установили на носу. Пятьдесят бойцов поднялось на борт, легли за мешками. Хведин стал на штурвал:

— Вперед, самый полный!

Закипела вода под колесами. Пароход быстро обогнул остров и по коренному руслу побежал на город. Там кое-где желтели огоньки. Позади проступала смутная линия гор, покрытая ночью. Теперь громко доносились крики петухов.

Иван Ильич стоял около орудия. Он никак не мог представить, что сейчас нужно будет стрелять в эту вековечную тишину. Хвалын-

ский житель, вызвавшийся быть наводчиком у пушки, лысый, похожий на дьячка-рыболова, человек с узкими плечами сказал ласково тонким голосом:

— Дорогой товарищ-командир, а что — вдарить бы нам по почте, — в самый аккурат... Видите — два огонька желтеются...

— Вдарить по почте! — гроыхнул в рупор голос Хведина. — Готовсь! Орудие... Огонь!

Бомбардир присел, глядя в ствол пушки, — повел его на огоньки. Аккуратно заложил снаряд. Обернулся к Телегину:

— Товарищ дорогой, отойдите маленько, разорвать может эту штуку...

— Огонь, дьявол лысый!

Отскочив, ослепила, ударила пушка, покатился по воде грохот, отозвался в горах. Близ места, где желтели огоньки, блеснул разрыв, и второе эхо кинулось по горам.

— Огонь! огонь! — кричал Хведин, крутя штурвал. — С левого борта частый огонь! Залпами, залпами, сопляки, сволочи!

Он топал ногами, бесновался, гремел сверхъестественными словами. С борта выстрелили беспорядочным залпом. Хвалынский берег быстро приближался. Бомбардир аккуратно зарядил и опять выстрелил, — было видно, как полетели щепы от какого-то сарая. Теперь отчетливо рисовались очертания деревянных домов, сады, колокольни.

Внизу на пристанях начали вспыхивать иголки ружейного огня. И вот то, чего опасался Телегин, раздалось, — отчетливо, торопливо застучал пулемет. Привычно поджались пальцы на ногах, во всем теле как будто сжались сосудики. Телегин присел у пушки, указывая бомбардиру на длинное строение на полугоре:

— Попытайся-ка попасть вон в тот угол, где кусты...

— Э-хе-хе, — сказал бомбардир, — домик-то этот хорош, ну да ладно.

В третий раз ударила пушка. Пулемет на минуту затих и застучал в другом месте, выше. Пароход крутым поворотом подбегал к пристани. Высоко, — по трубе, по мачте резануло пулями.

— Не дожидайся причала, прыгай! — кричал Хведин. — Ура, ребята!

Заскрипел, затрещал борт конторки. Телегин выскочил первым, обернулся к лезущим через борта хвалынцам:

— За мной! Ура!

И побежал по сходящим на берег. За ним неистово заорала толпа. Стреляли, бежали, спотыкались. Берег был пуст. Как-будто в садовые заросли метнулось несколько фигур. Кое-где стреляли с крыш. И уже совсем далеко на холмах застучал с перебойми, замолк и еще раза два стукнул пулемет. Противник не принимал боя.

Телегин очутился на какой-то неровной площади. Едва переводя дыхание, оглядывался, собирая людей. Подошвы босых ног горели, — должно быть, ссадил их о камни. Пахло пылью. Деревянные дома стояли с закрытыми ставнями. Не шевелились даже листья на сирени

и на акации. В угловом двухэтажном доме, с провинциальной башенкой, на балконе висело на веревке четыре пары подштанников. Телегин подумал: «Это сопрут». Город, казалось, крепко спал, и бой, беготня, крики — только приснились.

Телегин спросил, где почтамт, телеграф, водокачка, и послал туда отряды по десяти человек. Бойцы пошли, все еще ошестиненные, отскакивая, вскидывая на каждый шорох винтовку. Противника нигде не обнаруживалось. Уже начали запевать скворцы, и с крыш снимались голуби.

Телегин с отрядом занял совдеп, каменное здание с облупленными колоннами. Здесь двери были настежь, в вестибюле валялось оружие. Телегин вышел на балкон. Под ним лежали пышные сады, давно некрашенные крыши, пыльные пустые улочки. Провинциальная тишина. И вдруг вдалеке раздался набат, — тревожный, частый, гулкий голос колокола полетел над городом. Там, откуда неся медный крик о помощи, началась частая стрельба, взрывы ручных гранат, крики. Тяжелый конский топот и вой. Это десант Захарина преградил дорогу отступающему в горы противнику. Затем, по переулку, бешено цокая копытами, проскакали всадники. И снова все затихло.

Иван Ильич, не спеша, пошел вниз к пароходу — доложить, что город занят. Хведин, выслушав рапорт, сказал:

— Советская власть восстановлена. Делать нам больше здесь нечего. Поплыли дальше. — Старичка капитана, едва живого от страха, он братски похлопал по спине. — Дождался, понюхал порошу. Так-то, брат... Становись на вахту, передаю командование, пойду спать...

Пароход взял нефть и в десятом часу утра пошел наверх. Под стук машины, журчание воды Телегин проспал до вечера. Над рекой разлился закат длинным мгlistым заревом, — медленно тускнели его краски. На корме негромко пели, — печальное, с подголосками, уносившимися в эти пустынные просторы. Напрасная красота вечерней зари, тишина ложилась на берега, на реку, лились в глаза, в душу...

— Эй, братишки, что приуныли! Уж петь, так веселую, — крикнул Хведин. Он тоже выпался, выпил чарку спирту, и теперь похаживал по верхней палубе, подтягивая штаны. — Сызрань бы нам еще взять? Как, товарищ Телегин? Вот бы отчубучить?..

Он скалил белые зубы, похотывал. Плевать ему было на все опасности, на печаль заволжских закатов, на смертную пулю, которая где-нибудь да поджидает его, — в бою ли, из-за угла... Жадность к жизни, горячая сила так и закипали в нем. Палуба трещала под его голыми пятками...

— Подожди, дай срок, и Сызрань и Самару возьмем, наша будет Волга, туды иху в печенки, в селезенки, в душу, в веру, в дохлую сучку...

Заря подергивалась пеплом. Пароход бежал без огней. Вечер покрыв берега, они расплылись. Небо было мгlistое. Хведин, не зная, куда девать силу, предложил Ивану Ильичу сыграть в картишки.

— Ну, не хочешь на деньги, давай в носки... Только бить, так уж бить.

В капитанской каюте сели играть в носки. Хведин горячился, подваливал, нагнал до трехсот носов, от избытка горячности едва было не сжулил, но Иван Ильич глядел зорко: «Нет, брат, не с дураками играешь». И выиграл.

Усевшись удобнее на табуретку, Телегин начал бить тремя засаленными картами. У Хведина нос сразу стал, как свекла:

— Ты где это учился?

— В плену у немцев учился, — сказал Телегин. — Морду не отворачивай. Двести девяносто семь.

— Ты смотри... Без оттяжки бей... А то я — из шпалера...

— Врешь, последние три полагается с оттяжкой...

— Ну, бей, подлец...

Но Телегин не успел ударить. В каюту вошел капитан. Челюсть у него прыгала. Фуражку держал в руке. По серой лысине текли капли пота:

— Как хотите, господа товарищи, — сказал он отчаянно, — я готов на все... Но, как хотите, дальше не поведу... Ведь на верную же смерть...

Бросив карты, Хведин и Телегин вышли на палубу. С левого борта впереди ярко горели, как звезды, электрические огни Сызрани. Огромный теплоход, весь ярко освещенный, медленно двигался вдоль берега, — простым глазом можно было рассмотреть на корме огромный белый андреевский флаг, внушительные очертания пушек, прогуливающиеся по палубе фигуры офицеров...

— Не могу вертаться, товарищи, хоть тут что, а надо пройти, — зашептал Хведин. — Нам проскочить бы до Батраков, там ошвартуемся, выгрузимся...

Он приказал всей команде сесть в трюм, быть готовой к бою. На мачте подняли трехцветный флаг. Зажгли топовые и отличительные огни. С теплохода заметили, наконец, буксир. Короткими свистками приказали замедлить ход. Голос в рупор пробасил оттуда:

— Чье судно? Куда идете?

— Буксир — купец Калашников. Идем в Самару, — ответил Хведин.

— Почему поздно зажгли огни?

— Боимся большевиков. — Хведин опустил рупор и — вполголоса Телегину: — Эх, мину бы сейчас... Писал я им в Астрахань, — беспременно вышлите мины... Задницы советские...

После молчания с теплохода ответили:

— Идите по назначению.

Капитан дрожащей рукой надел фуражку. Хведин, скалясь, щурясь, глядел на огни теплохода. Плюнул, пошел в каюту. Там, закуривая, бешено ломал спички.

— Иди, что ли, добивай, чорт, — крикнул он Телегину.

Через час Сызрань осталась позади. Близ Батраков Телегина спустили в шлюпку. На станции Батраки он сел в двенадцатичасовой поезд, и в пять пополудни шел с самарского вокзала на квартиру доктора Булавина, отца Даши... На нем снова был парусиновый френч с подполковничьими погонами. Похлопывая по голенищу палочкой, той самой, которой под Хвалынском ночью поднимал партизан, он с живейшим любопытством, как давно не виданное, прочитывал по пути театральные афиши, воззвания, объявления,—все они были на двух языках: русском с буквой ять и чешском...

Поднявшись с бокалом лимонада, Дмитрий Степанович Булавин вытащил из-за жилета салфетку, пожевал для достоинства губами и голосом значительным и глубоким, приобретенным за последнее время на посту товарища министра, начал речь:

— Господа, позвольте и мне...

Банкет давался представителями города по поводу победоносного шествия армии Учредительного собрания на север. Заняты были и Симбирск, и Казань. Большевики, казалось, окончательно теряли среднее Поволжье. Под Мелекесом остатки армии Гая, в три с половиной тысячи сабель, отчаянно пробивались из окружения. В Казани, взятой чехами с налета, было захвачено двадцать четыре тысячи пудов золота, на сумму свыше 600 миллионов рублей,—больше половины государственного золотого запаса. Факт этот был настолько невероятен, грандиозен, что все его неисчерпаемые последствия еще слабо усваивались умами.

Золото находилось по пути в Самару. Никто еще определенно не накладывал на него властной руки, но чехи как-будто твердо решили предоставить его законному российскому правительству и даже скорее — самарскому комитету членов Учредительного собрания, КОМУЧ'у, чем недавно образовавшейся директории в городе Уфе. Самарское купечество держалось насчет судьбы золота своей точки зрения, но пока ее не высказывало. Чувства же к победителям чехам достигли степени крайней горячности.

Банкет был многолюдный и оживленный. Дамы самарского общества, а среди них были такие звезды, как Аржановы, Курлины, Шехобаловы — владелицы пятиэтажных мукомольных мельниц, элеваторов, пароходных компаний и целых уездов залежного чернозема — дамы, блистающие бриллиантами с волошский орех, в туалетах, если и не совсем уже модных, то, во всяком случае, вывезенных в свое время из Парижа и Вены, — ласковый и смеющийся цветник этих дам окружал героя событий, командующего чешской армией, капитана Чечека. Как все герои, он был божественно прост и обходителен. Правда, его плотному телу было немного жарковато, тугой воротник шикарного френча врезывался в багровую шею, но молодое, полное, кроткое лицо с кроткими рыжими усиками, с блестящими глазами

так и просилось на поцелуй в обе румяные щеки. Очаровывающая улыбка не сходила с его уст, словно отстраняя от себя всякую славу, словно общество дам в тысячу раз было приятнее ему, чем гром побед и взятие губернских русских городов с поездами золота.

Напротив чеха сидел тучный, средних лет, военный с белым аксельбантом. Яйцевидный череп его был гол и массивен, как оплот власти. На обритом лице примечательными казались большие толстые губы, — он, не переставая, жевал. Сдвинув бровные мускулы, зорко поглядывал на разнообразные закуски. Рюмочка тонула в его большой руке, — видимо, он привык больше к стаканчику. Коротко закидывая голову, выпивал. Умные, голубые, медвежьи глазки его не останавливались ни на ком, точно он был здесь настороже. Военные склонялись к нему с особенным вниманием. Это был недавний гость, герой уральского казачества, оренбургский атаман Дутов.

Неподалеку от него, между двумя хорошенькими женщинами, блондинкой и шатенкой, сидел французский посол, месье Жанб, в светло-серой визитке, в ослепительном белье. Маленькое личико его с превосходнейшими усами и острым носиком было сильно поношено. Он гортанно трещал, склоняясь то к полуобнаженным прелестям шатенки (она била его за это по руке цветком), то к жемчужно-розовому плечу блондинки, хохочущей так, будто посол ее щекотал. Обе дамы понимали по-французски только когда говорят медленно, но и без того было видно, что женские прелести свели с ума беднягу Жанба. Все же это не мешало ему во время коротких пауз обращаться к солидному купцу Брыкину, только что приехавшему из Омска, с вопросами о последних ценах на сибирскую муку, или поднять бокал за доблестные деяния атамана Дутова и тут же справиться о состоянии хлебных запасов в Области. Интерес, проявляемый месье Жанб к сибирской муке и отчасти сибирскому мясу и маслу, указывал на его горячую преданность белому движению: в минуты продовольственных затруднений французский посол всегда мог предложить правительству полсотни вагонов муки и прочего... Находились скептические умы, утверждавшие, что не мешало бы, как это делается всяким порядочным правительством, предложить месье Жанба представить полностью верительные посольские грамоты... Но правительство предпочитало путь более тактичный, — доверия к союзникам.

За столом находился еще один примечательный иностранец, смуглый, быстроглазый синьор Пиколомини (утверждавший, что это его настоящая фамилия). Он представлял в своем лице, несколько неопределенно, итальянскую нацию, итальянский народ. Короткий голубой мундир его был расшит серебряным шнуром, на плечах колыхались огромные генеральские эполеты. Он формировал в Самаре специальный итальянский батальон. Правительство разводило руками, — «Где он тут найдет итальянцев, чорт его знает», — но деньги давало: все-таки — союзники. В буржуазных кругах ему значения не придавали, обзывали пиколашкой, и сегодня за столом он отчаянно скучал между двумя прапорщиками запаса.

Правительство отсутствовало на этом буржуазном банкете, кроме беспартийных — доктора Булавина и помощника начальника контрразведки, Семена Семеновича Говядина, высоко вознесшегося по служебной лестнице. Время обоюдных восторгов, когда скидывали большевиков, миновало. Правительство, — КОМУЧ, — все до одного отпетые эсеры, продолжало плясать под дудку «селянского министра» Виктора Чернова, посылавшего директивы из Москвы.

КОМУЧ, заседавший в великолепном дворце самарского предводителя дворянства Наумова, нес такую бурду про завоевания революции, что только чехи, ни черта не понимавшие в русских делах, и могли ему верить. Конечно, на первых порах, когда делали переворот, и нужно было успокоить рабочих и мужиков, — эсеровское правительство было даже превосходно. Самарское купечество само кричало эсеровские лозунги. Но вот уже и Волгу освободили от Хвалынска до Казани, и Деникин завоевал чуть ли не весь Северный Кавказ, и Краснов подходит к Царицыну, и Дутов расчистил Урал, и в Сибири, что ни день, возникают белые правительства и грозные атаманы, а эти — в наумовском дворце, — Вольский, Брушвит, Климушкин с товарищами, — все еще не могут успокоиться: как бы это им так, все-таки, довести страну до Учредительного собрания?.. Тьфу! И большое купечество решительно стало переходить на другие лозунги — по-проще, покрепче, попонятнее...

Дмитрий Степанович говорил, обращаясь, главным образом, к Чечеку, к месье Жанб, к Пиколомини:

— ... У змеи выдернуто жало. Этот феноменальный, поворотного значения факт не достаточно учтен... Я говорю о шестистах миллионах золотых рублей, находящихся ныне в наших руках... (Чечек геройски подбоченился, у месье Жанб усы встали дыбом: «Браво», — крикнул он, потрясая бокалом, глаза Пиколомини загорелись как у дьявола.) У большевиков выдернуто золотое жало, господа... Они еще могут кусать, но уже не смертельно... Они могут грозить, но их так же испугаются, как нищего, размахивающего костылем... У них больше нет золота, — ничего, кроме типографского станка...

(Брыкин, купец из Омска, вдруг разинул рот, громогласно захотал, и, вытирая салфеткой шею, пробормотал: «Ох, дела, дела, господи»...)

— Господа иностранные представители, — продолжал доктор Булавин, и в голосе его появился металл, какого прежде не бывало, — господа союзники... Дружба дружбой, а денежки денежками... Вчера мы были для вас почти что опереточной организацией, некоторым временным образованием, скажем — в роде шишки, неизбежно выскакивающей после удара... (Месье Жанб, Чечек и Пиколомини сейчас же сделали негодующие жесты... Дмитрий Степанович с лукавостью усмехнулся.) Сегодня всему миру уже известно, что мы — солидное правительство, мы — хранители золотого государственного фонда... Теперь мы договоримся, господа иностранные представители... (Он сердито стукнул костяшками пальцев по столу.) Сейчас я говорю, как

частное лицо среди частных лиц в интимнейшей обстановке... Но я предвижу всю серьезность брошенных мной мыслей... Я предвижу, как двинутся пароходы с оружием и с мануфактурой в русские гавани... Как возникнут гигантские белые армии... Как меч суровой кары опустится на шайку разбойников, хозяйничающих в России... Шестисот миллионов хватит на это... Господа иностранные представители, помощь, широкая и щедрая помощь — законным представителям русского народа!..

Он пригубил из бокала и сел, насупись и сопя... Сидящие за столом жарко заплодировали. Купец Брыкин крикнул: — «Спасибо, брат... Вот это верно, это, брат, по-нашему, без сицилизма»... Поднялся Чечек, коротко одернул на животе кушак:

— Я буду кратко... Мы отдавали и мы отдадим свою жизнь за счастье наших братьев по крови — русских... Да здравствует великая, мощная Россия, ура!

Тут уже буквально загредел весь стол от рукоплесканий, дамские протянутые ручки бешено захлопали среди цветов. Поднялся месье Жанб, лоб его был благородно откинут, пышные усы придавали его лицу великолепное мужество:

— Медам и месье... (Он говорил по-французски.) Мы всегда знали, что Брест-Литовский мир есть дело рук германского генерального штаба. Благородная русская армия, мечтавшая о славе своих отцов, хранившая в своем сердце горячую веру в победу над проклятыми бошами, армия, с песней на устах умиравшая за святое дело, коварно была обманута шайкой большевиков. Они внушили ей противоестественные идеи и изуверские инстинкты, и армия перестала быть армией... Медам и месье, не скрою — был момент, когда Франция поколебалась в своей вере в сердечность русского народа... Этот кошмар развеялся... Сегодня здесь мы видим, что нет; тысячу раз нет, — русский народ снова с нами... Армия уже сознает свои ошибки... Снова русский богатырь готов подставить свою грудь под свинец нашего общего врага... Я счастлив в моей новой уверенности... Я пью за русский народ, за пробуждение русских национальных чувств, за возрождающуюся армию...

Когда затихли аплодисменты, вскочил, потрясая густыми эполетами, Пиколомини. Но так как никто из присутствующих не понимал по-итальянски, то ему просто поверили, что он «за нас», и купец Брыкин полез к нему, — черненькому и маленькому, — целоваться. Затем были речи представителей капитала. Купечество выразалось туманно и витиевато, — больше кивали на Сибирь, откуда должно притти избавление... Под конец упросили атамана Дутова сказать словечко. Он отмахивался: «Да нет же, я воин, я говорить не умею»... Все же он грузно поднялся среди мгновенно наступившего молчания, вздохнул:

— Что же, господа, помогут нам союзники — хорошо, не помогут — как-нибудь справимся с большевичками своими силами...

Были бы деньги... Вот тут, господа, крыльев нам не подрезайте... А уж казачество своей крови не пожалеет...

— Бери, атаман, бери нас с потрохами, ничего не пожалеем, как Минин и Пожарский, — в полнейшем восторге завопил Брыкин...

Банкет удался. После официальной части негласно к черному кофе был подан коньяк и ликеры. Было уже поздно. Дмитрий Степанович ушел по-английски, — не прощаясь.

Когда Дмитрий Степанович, под'ехав к себе на машине, открывал парадное, к нему быстро подошел офицер:

— Простите, вы — доктор Булавин?

Дмитрий Степанович оглянул незнакомца. На улице было темно, и он разглядел только подполковничьи погоны. Пожевав губами, доктор ответил:

— Да.. Я — Булавин...

— Я к вам по очень, очень важному делу... Понимаю—не приемный час... Но я уже заходил, звонился три раза...

— Завтра в министерстве от одиннадцати...

— Умоляю вас — сегодня... Я уезжаю с ночным парходом...

Дмитрий Степанович опять помолчал. Было в незнакомце что-то до последней степени тревожное и настойчивое. Доктор пожал плечом:

— Предупреждаю: если вы о вспомоществовании, то это не через мою инстанцию...

— О, нет, нет, пособия мне не нужно...

— Гм... Заходите...

Из передней Дмитрий Степанович прошел первым в кабинет и сейчас же запер двери во внутренние комнаты. Там было освещено,— видимо, кто-то из домашних еще не спал. Затем доктор сел за письменный стол, указал просителю стул напротив, мрачно взглянул на кипу бумаг для подписи, сунул пальцы между пальцами:

— Ну-с, чем могу служить?

Офицер прижал к груди фуражку и тихо, с какой-то раздирающей нежностью, проговорил:

— Где Даша?

Доктор сейчас же стукнулся затылком о резьбу кресла. Теперь, наконец, он взглянул в лицо просителя... Года два тому назад Даша присылала ему любительскую фотографию, — себя с мужем... Доктор вдруг побледнел, мешочки под глазами у него задрожали... Хрипло переспросил:

— Даша?

— Да... Я — Телегин...

И он тоже побледнел, глядя в глаза доктору. Опомившись, Дмитрий Степанович вместо естественного приветствия зятю, которого

видел первый раз в жизни, театрально взмахнул руками, издал неопределенный звук, точно выдавил хохоток:

— Вот как... Телегин!.. Ну, как же вы?..

От неожиданности, должно быть, не пожал даже руки Ивану Ильичу. Кинул на нос пенснэ (не прежнее—в никелевой оправе, треснувшее, а солидное, золотое) и, заторопившись, для чего-то стал выдвигать ящики стола, суетливо роясь в бумагах.

Телегин, ничего не понимая, с изумлением следил за его движениями. Минуту назад он готов был рассказать про себя все, как родному, как отцу... Сейчас подумал: «Чорт его знает, может, он догадывается... Пожалуй, поставлю его в ужасное положение. Как-никак — министр»... Опустив голову, он сказал совсем уже тихо:

— Дмитрий Степанович, я больше полугода не видел Даши, письма не доходят... Не имею понятия, что с ней...

— Жива, жива, благоденствует, — доктор нагнулся почти под стол к нижним ящикам.

— Я в Добровольческой армии... Сражаюсь с большевиками с марта месяца... Как видите, заслужил подполковничьи погоны... Сейчас командирован штабом на север с секретным поручением.

Дмитрий Степанович слушал с самым диким видом и вдруг, при слове «секретное поручение», усмешка пробежала под его усами.

— Так, так, а в каком полку изволите служить?

— В Солдатском, — Телегин чувствовал, как кровь заливает ему лицо.

— Ага... Значит, есть и такой в Добровольческой армии?.. А надолго к нам пожаловали?

— Сегодня ночью еду...

— Превосходно... А куда именно? Простите — это военная тайна, не настаиваю... Иными словами — по делам контрразведки?

Голос Дмитрия Степановича зазвучал так странно, что Телегин, несмотря на волнение, на страшную угнетенность, вздрогнул, насторожился. Но доктор в это время нашел то, чего искал:

— Супруга ваша в добром здравии... Вот, почитайте, получил от нее на прошлой неделе... Тут и вас касается... (Доктор бросил перед Телегиным несколько листков бумаги, исписанных крупным Дашиным почерком. Эти неправильные, бесценные буквы так и поплыли в глазах у Ивана Ильича.) Я, простите, на минутку отлучусь... Да вы усаживайтесь удобнее...

Доктор быстро вышел, запер за собой дверь. Последнее, что слышал Иван Ильич, это были его слова, ответ кому-то из домашних:

— ... да так, один проситель...

Из столовой доктор прошел в темный коридорчик, где был телефон старинного устройства. Стоя лицом к стене, завертев телефонную ручку, он потребовал вполголоса номер контрразведки и вызвал к аппарату лично Семена Семеновича Говядина.

Дашино письмо было написано чернильным карандашом, буквы чем дальше, тем становились крупнее, строки все круче загибали вниз.

«Папа, я не знаю, что со мной будет... Все так смутно... Ты единственный человек, кому я могу написать... Я — в Казани... Кажется, послезавтра могу уехать, но попаду ли к тебе? Хочу тебя видеть... Ты все поймешь... Как посоветуешь, так я и сделаю... Я осталась жива только чудом... Не знаю, — может быть, лучше было бы и не жить после всего... Все, что мне говорили, внушали, — все ложь, гнусно, обнаженная мерзость... Даже Никанор Юрьевич Куличек... Ему я поверила, по его наущению поехала в Москву, работала в их организации... (Все расскажу при свидании подробно.) Даже и он вчера заявил мне буквально: «Людей расстреливают, кучами валят в землю, винтовочная пуля — вот вам цена человека, мир захлебнулся в кровище, а тут еще с вами нужно церемониться... Другие и этого не скажут, а прямо — в постель». Я сопротивляюсь, папа, верь мне... Я не могу еще быть только у г о щ е н и е м после стопки спирта. Если я уступлю и этому, последнему, что у меня осталось, значит — свет погас и — голову в петлю. Я старалась быть полезной... Не только женщиной... В Ярославле работала три дня под огнем, как милосердная сестра... Ночью, — руки в крови, платье в крови, — повалилась на койку... Будят, — кто-то задирает мне юбку. Вскочила, закричала... Мальчишка, офицер, какое лицо — не забыть! Озверел, валит молча, вывертывает руки... Мерзавец, походя соблазнился... Папа, я выстрелила в него, из его револьвера, — не понимаю, как это случилось... Кажется, он упал, — не видела, не помню... Выбегаю на улицу, — зарево, горит весь город, рвутся снаряды... Как я не сошла с ума в ту ночь! И тогда-то решила, — бежать, бежать... Я хочу, чтобы ты понял меня, помог. Я хочу бежать из России... У меня есть возможность... Но ты помоги мне отделаться от Куличка. Он всюду — за мной, то-есть он всюду таскает меня за собой, и каждую ночь — одни и те же разговоры... Но — пусть убьет — я не хочу»...

.....
 Иван Ильич остановился, передохнул, медленно перевернул страницу...

.....
 «Случайно мне достались большие драгоценности... При мне у Никитских ворот зарезало трамваем одного человека. Он погиб из-за меня, я это знаю... Когда очнулась, — в руках у меня оказался чемоданчик из крокодиловой кожи, — должно быть, когда меня поднимали, кто-то сунул мне его в руки... Только на другой день я полюбопытствовала: в чемоданчике лежали бриллиантовые и жемчужные драгоценности. Эти вещи где-то были украдены тем человеком... Он ехал на свидание со мной... Понимаешь, — украдены для меня... Папа, я не пытаюсь разобраться ни в каком праве, — эти вещи я оставила у себя... Право у меня на них есть, может быть, право жизни... В них сейчас мое единственное спасение... Но если ты будешь доказывать мне, что я воровка, все равно я их оставляю у себя... После того, как я видела смерть в таком изобилии, я хочу жить... Я больше не верю в человеческий образ... Эти великолепные люди, с прекрас-

ными словами о спасении родины, — сволочь, звери... О, что я видела! Будь они прокляты! Понимаешь, произошло вот что... Неожиданно ко мне явился поздно ночью Никанор Юрьевич, кажется, прямо из Петрограда... Он потребовал, чтобы я вместе с ним покинула Москву. Оказывается, их организация, «Союз защиты родины и свободы» была раскрыта чрезвычайкой, и в Москве — поголовные аресты. Савинков и весь штаб бежали на Волгу. Там, в Рыбинске, в Ярославле, и в Муроме, на Оке, они должны были поднять восстание. Они страшно торопились с этим: французский посол Нуланс не давал больше денег и требовал на деле доказать силу организации. Они надеялись, что все крестьянство перейдет на их сторону, что иностранные послы, которые сидят в Вологде, помогут им, и что англичане как раз к этому времени захватят Архангельск. Никанор Юрьевич уверял, что дни большевиков сочтены, — восстание должно охватить весь север, всю северную Волгу и соединиться с чехо-словаками, которые уже подходили тогда к Казани... Куличек уверил, что мое имя найдено в списках организации, что оставаться в Москве опасно, и мы с ним уехали в Ярославль... Там все уже было подготовлено: в войсках, в милиции, в арсенале — всюду начальниками были их люди, из организации... Мы приехали к вечеру, а на рассвете я проснулась от выстрелов... Кинулась к окну... Оно выходило во двор, напротив — кирпичная стена гаража, мусорная куча, и несколько собак, лающих на ворота... Выстрелы не повторились, все было тихо, только вдалеке — трескотня и тревожные гудки мотоциклеток. Затем начался колокольный звон по городу, звонили во всех церквях. На нашем дворе раскрылись ворота, и вошла группа офицеров, на них уже были погоны. У всех лица, возбужденные до ужаса, все они размахивали оружием. Они вели тучного, огромного роста, бритого человека в сером пиджаке. На нем не было ни шапки, ни воротничка, жилет не застегнут. Лицо его было красное и гневное. Они ударяли его в спину, у него моталась голова, и он страшно сердился. Двое остались его держать около гаража, остальные отошли и совещались. В это время с черного крыльца нашего дома вышел полковник Перхуров, — я его в первый раз тогда увидела, — начальник всех вооруженных сил восстания... Все отдали ему честь. Этот человек страшной воли, — провалившиеся, черные глаза, худощавое чернобородое лицо, подтянутый, ни движенья лишнего, в перчатках, в руке — стек. Я сразу поняла, это — смерть тому, в пиджаке. Перхуров стал глядеть на него исподлобья, и я увидела, как у него зло обнажились зубы. А тот продолжал ругаться, грозить и требовать. Тогда Перхуров повернулся к нему боком, вздернул бородку и scomандовал, и сейчас же ушел... Двое, те, кто держали, отскочили от толстого человека... Он сорвал с себя пиджак, скрутил его и бросил в стоящих перед ним офицеров, — прямо в лицо одному, — весь побагровел, ругая их. Тряс кулаками и стоял в расстегнутом жилете, огромный и бешеный. Тогда они выстрелили в него. Он весь содрогнулся, вытянул перед собой

руки, хватая воздух, шагнул и повалился. В него еще некоторое время стреляли, в упавшего. Это был комиссар, большевик, Нахимсон... Папа, я увидела казнь... Я до смерти теперь не забуду, как он хватал воздух... Никанор Юрьевич уверил меня, что это хорошо, что если бы не они его расстреляли, то он бы их расстрелял... Что было дальше — плохо помню, — все происшедшее было продолжением этой казни, все было насыщено судорогами огромного человеческого тела, не хотевшего умирать... Мне велели идти в какое-то длинное желтое здание с колоннами, и там я писала на машинке приказы и звания. Носились мотоциклетки, крутилась пыль... Вбегали взволнованные люди, сердились, приказывали, из-за всего начинался крик, — хватались за голову. То — паника, то — преувеличенные надежды. Но когда появлялся Перхуров, с каменным лицом, с поблескивающими зубами, и бросал короткие слова, — вся суета стихала. Перед ним вытягивались, он, как бы небрежно, указывал в окно стеклом, под его запавшим взглядом человек сразу превращался в послушную машину... На другой день за городом слышались громовые раскаты орудийных выстрелов. Подходили большевики. В нашем учреждении с утра до ночи толпились обыватели, а тут вдруг стало пусто. Город будто вымер. Только ревел, проносясь, автомобиль Перхурова, проходили с песнями вооруженные отряды... Ждали каких-то аэропланов с французами, каких-то войск с севера, пароходов из Рыбинска со снарядами... Надежды не сбылись. И вот город охватило кольцо боя. На улицах рвались снаряды, валились древние колокольни, падали дома, повсюду начинались пожары, их некому было тушить, солнце затянулось дымом. Не убрали даже трупов на улицах. Выяснялось, что Савинков поднял такое же восстание в Рыбинске, где находились артиллерийские склады, но восстание подавили солдаты; что села вокруг Ярославля и не думают идти на помощь; что ярославские рабочие не хотят садиться в окопы, сражаться против большевиков... Страшнее всего было лицо Перхурова, — я повсюду встречала его в эти дни. Это смерть каталась в машине по развалинам города, все происходящее было воплощением его воли. Несколько дней Куличек держал меня в подвале. Но, папа, во всем я чувствовала и свою какую-то вину... Я бы все равно сошла с ума в подвале. Я надела косынку с крестом и работала до той ночи, когда меня хотели изнасиловать... За день до падения Ярославля мы с Никанором Юрьевичем бежали на лодке за Волгу... Целую неделю мы шли, скрываясь от людей. Ночевали под стогами, — хорошо, что были теплые ночи. Туфельки мои развалились, ноги сбила в кровь. Никанор Юрьевич где-то раздобыл мне валенки, просто, должно быть, стащил с плетня. На какой-то день, не помню, в березовом лесу мы увидели человека в изодранном армяке; в лаптях, в косматой шапке. Он шел угрюмо, быстро и прямо, как маньяк, опирался на дубинку. Это был Перхуров, — он тоже бежал из Ярославля. Я так испугалась его, что бросилась ничком в кусты... Потом мы пришли в Кострому и остановились в слободе

у чиновника, знакомого Куличку, и там прожили до взятия Казани чехами... Никанор Юрьевич все время ухаживал за мной, как за ребенком, — я благодарна ему... Но тут случилось, что в Костроме он увидел драгоценные камушки, — они были в носовом платке, в моей сумочке, которую он всю дорогу нес в кармане пиджака. Я только в Костроме о них и вспомнила. Пришлось рассказать ему всю историю, — сказала, что по совести считаю себя преступницей. Он развил по этому поводу целую философскую систему, — получалось, что я не преступница, но вытянула какой-то лотерейный билет жизни. С этих пор его отношения ко мне переменялись, стали очень сложными. Повлияло и то, что мы жили чистенько и тихо в провинциальном домишке, пили молоко, ели крыжовник и малину. Я поправилась. Однажды после заката в садике он заговорил о любви вообще, о том, что я создана для любви, стал целовать мне руки и шею. И я почувствовала, — для него нет сомнения, что через минуту я ему отдамся на этой скамейке под акацией... После всего, что было, ты понимаешь, папа? Чтобы не объяснять всего, я сказала только: «Ничего у нас не выйдет, я люблю Ивана Ильича»... Я не солгала, папа»...

Иван Ильич вынул платок, вытер лицо, потом глаза и продолжал чтение.

«Я не солгала... Я не забыла Ивана Ильича. У меня с ним еще не кончено... Ты ведь знаешь, мы расстались в марте, он уехал на Кавказ, в Красную армию... Он на отличном счету, настоящий большевик, хотя и не партийный... У нас с ним порвалось, но прошлое нас связывает крепко... Прошлого я не разорвала... А Куличек подошел к делу очень просто, — ложись. Но лечь я могу с тем, в ком, знаю, что буду жить, кто будет помнить обо мне хотя бы с нежностью... Ах, папа, то, что мы когда-то называли любовью,—это лишь наше самосохранение... Мы боимся забвения, уничтожения... Вот почему так страшно встретить ночью глаза уличной проститутки... Это лишь тень женщины... Но я, я — живая, я люблю себя, я хочу, чтобы меня любили, вспоминали, я хочу видеть себя в глазах любовника... Я люблю жизнь... Если мне захочется отдаться вот так, на миг, — о да... Но во мне сейчас только злоба, и отвращение, и ужас... За последнее время что-то случилось с лицом, с фигурой, я похорошела... Я, как голая сейчас, — повсюду голодные глаза... Будь проклята красота!.. Папа, я посылаю тебе это письмо, чтобы ни о чем уже, когда увижусь с тобой, не говорить... Я еще не сломанная, ты пойми»...

Иван Ильич поднял голову. За дверь, ведущей в проходную, послышались осторожные шаги нескольких человек, шопот. Дверная ручка повернулась. Он быстро вскочил, оглянулся на окна...

(Окончание следует).

К а н у н

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

Голубые шелковые ниши;
Лоск лакейских фраков и салфеток;
Скрипки расслоились в зеркалах;
Канонада реже, но не тише;
Маузер матроса будет меток;
И со стен косят и лгут афиши:
«Красным город я не сдам».

Пропадай. А ну-ка, ну-ка, скрипки,
По-румынски, сквозь туман коньячный,
В пудру, в рану у лопатки, — жарь.
— Что, полковник? — Трубка из улыбки
Проторчала, пыхнул дым прозрачный...
Трубка... браунинг... И вызвизг зыбкий...
Пуля? — Нет: тапер сорвал струну.

Пудра. Душно. Воздух полон пудрой.
В ноздри так набьется прах могильный, —
Не всегда уложат напожал...
Корабли? Мерзавцы!.. И с лахудрой
Погибай здесь, выкидыш бессильный!
Лейтенант английский... Ишь — премудрый
Продырявить бы тебя насквозь!

Скрипки, скрипки, скрипки... Канонада.
Почему там в зеркале матросы?
Почему такая тишина?
Ух... почудилось... Скорее надо
Срезать эти пудренные косы,
Стулья увязать, чтоб — баррикада!..
— Что? Полковник?! — Он сошел с ума!..

Положение

Девятое звено „Кашеевой Цепи“

МИХ. ПРИШВИН

Похороны гуська

Растет могучее дерево, сменяются человеческие поколения. Наконец, рождается новое существо и в своей коротенькой жизни видит, как дуб распадается. Так пережил я существование величайшей в мире империи.

Мы теперь, оглушенные падением царства, с большим трудом можем определиться в этой эпохе без ярких событий перед японской войной: помнится смутно расцвет винной монополии, окончание Великого Сибирского пути, выборы в земствах, волнения на юге крестьян. Только одно было ярко, это — бурлящее кипение студенческой жизни, унылая песня умирающей чеховской интеллигенции и крик буревестника, прославляющего людей, не имеющих никакого положения в обществе.

В эту эпоху явился инженер Алпатов на родину создавать себе положение.

Сколько раз приходилось мне встречать в русских лесах чащи заростания когда-то бывших в обработке земель: самый далекий уступ леса, край чащи относился к эпохе освобождения крестьян, когда помещики сокращали запашки, а потом, по неизвестным причинам, ярус за ярусом лес спускался к внутренней поляне, где виднелись иногда кусты акации, сирени, смородины, и валялись камни от фундамента когда-то стоявшего на этом месте здания.

В черноземной полосе, где жили Алпатовы, леса давным-давно были вырублены, на этой богатой земле было часто и густо людьми, как дровами в лесу. Размножаясь и делясь между собой, этот мелкий люд из года в год наседали на имение Алпатовых, десятину за десятиной сдавала Марья Ивановна в аренду, и так мало-по-малу получалось у нее на черноземе, как чаща заростания в лесной полосе.

Вокруг все множилась беднота. Овраги росли, статистики цифрами доказывали: оскудение центра через столько-то лет постепенно

обратит богатейший в мире край в совершенно бесплодную пустыню. Никто, однако, цифрами не мог доказать, что через какие-нибудь два года начнутся первые страшные толчки, от которых потом скоро величайшая в мире империя рассыплется в прах.

В это время Алпатов, образованный заграничный инженер-торфмейстер, приехал создавать себе положение.

— Помнишь, Миша, — стала говорить Марья Ивановна любимому сыну, — ты тогда был совсем еще крошка, я предсказывала: земля непременно перейдет мужикам. Вот так теперь и выходит.

— Я это помню очень ясно. Это было еще раньше, чем убили царя, как только я родился, кажется, так и слышал, ты повторяла дворянам: «Помните, земля непременно перейдет к мужикам». Но я всегда представлял себе: мужики придут с топорами и выгонят помещиков.

— Погоди... это еще не исключается. Сейчас одна лестница ведет в банк дворянский и крестьянский: дворяне закладываются, мужики закабаляются. Но зато и земля дорожает. Я по себе знаю, что значит работать на банк. Мужик лезет, как саранча, и при малейшей оплошности правительства все разгромит...

Она понизила голос:

— Царишка-то, говорят, никуда. Что ты думаешь?

— Я, мама, по необходимости за границей мало думал об этом, приходилось очень много работать изо дня в день.

Марья Ивановна повеселела.

— Я сама тоже лично не беспокоюсь, моя жизнь кончена. Вот, правда, Лида только замуж не вышла и донимает меня своими кошками, одно только это и беспокоит, остальные все создали себе положение...

— Положение, — встрепенулся Михаил Алпатов, — по твоим рассказам мне начало чудиться, будто у нас ничего прочного нет... Неужели и Коля тоже создал себе положение?

— Как тебе сказать, — Аннушка его, конечно, почти что публичная женщина была, но у него выправилась: живут. Он так об этом говорит: «Вам это не хорошо, а мне отлично; неужели же я свои семейные дела должен по вашему вкусу устраивать?» И, как сказать, ведь он прав, я примирилась. Служит он сборщиком по винной монополии: семь дней в месяц ездит, собирает деньги, в остальное время ловит на реке раков и рыбу, а в зимнее время вытачивает трубочки на токарном станке. Говорит, ему больше ничего не надо, и эта жизнь всегда была его идеалом. Выходит тоже какое-то положение. А как ты, что ты теперь думаешь делать с собой?

— Я инженер, и тоже намерен создавать себе положение.

И, когда мать на эти слова улыбнулась, спросил:

— Почему ты улыбаешься?

— Тебе это не понять, я мать, вы мне до старости будете ребятами: я вспоминаю, как ты из гимназии хотел убежать в какую-то Азию, потом, я помню, читала у тебя в записках о каком-то прыжке

в не известное, письма из тюрьмы от тебя переkreщивались желтыми знаками, и вот никак не верится, что ты инженер и намереваешься при том создавать положение. Вот бы теперь тебе хорошую невесту найти, тогда я бы поверила.

Алпатову очень захотелось сделать матери удовольствие и, хотя его невеста была не совсем то, о чем думала Марья Ивановна, и положение не совсем совпадало с обыкновенным положением в таких случаях, он все-таки не удержался и сказал:

— У меня, мама, невеста есть.

Мать просияла, но, хитрая, быстро скрыла сияние, чтобы потом подойти к этому как-нибудь осторожнее и побольше выпытать. Сказала почти совсем равнодушно:

— Это очень хорошо, но, конечно, дело твое, и я не вмешиваюсь.

Она принялась усердно мыть посуду и помещать ее постепенно в буфет. В то же время она сообщала разные новости из деревенской жизни, кто на ком женился, кто умер, и что Гусек сильно болен и вот - вот умрет. Было жалко Алпатову Гуська: с этим стариком связалось все лучшее в детстве, и всегда казалось,—из всех людей на свете нет лучше и нет роднее Гуська. Мать нашла этот момент его грустного раздумья очень удобным, чтобы попробовать выпытать о невесте, заперла буфет с перемытой посудой, подседа к сыну близко и спросила:

— Ну, Миша, если это не секрет, скажи, из каких же она?

— Не беспокойся, мама, тебе, наверно, моя невеста придется по вкусу: она училась в Смольном и теперь кончает Сорбонну по историческому.

— По историческому?

И сразу затем восхищенно:

— У тебя не дура губа!

Алпатов смеялся.

— А ты знаешь, тут ничего нет смешного, это моя старинная мысль, что образованным купцам надо жениться на дворянках или, в крайнем случае, на поповнах: у них есть устойчивость в семьях, а купец наш деньги копит и думает о самом главном, из чего собственно и складывается счастье. Наш купец живет весь на фу-фу.

Алпатов немного струсил, что мать так скоро сделала бытовой вывод из слов, сказанных почти что шутя.

— Но, мама, — сказал он, — я не руководствовался такими соображениями о семейном счастье: все вышло совершенно случайно.

— Не скажи, совсем случайно, знаю, конечно, не по рассудку, да кровь-то все-таки у тебя наша, купеческая. Там, в Париже, учится теперь тоже отличная девушка, Ина Ростовцева, она тоже кончила в Смольном, и та еще лучше твоей: та с шифром кончила. Она раз была у меня на именинах, когда ты в тюрьме еще сидел, много о тебе расспрашивала, и много я ей о тебе рассказывала. Такая прелестная, почти тургеневская женщина, и только, если локоны поднимаешь и открывается лоб: умница, передовая. Эта, если не удастся личная жизнь,

не останется, как наша Лида, в старых девах с кошками. Неужели ты с ней не встречался в Париже?

— Я в Париже был очень недолго.

— Признаюсь, желала я очень, чтобы ты с ней встретился: я за тебя ее прочила. Но и, как ты рассказываешь, это не хуже моего. Любовь к такой девушке заставит каждого подтянуться и создавать положение.

Услышав опять п о л о ж е н и е, Алпатов даже вздрогнул и понял окончательно: он сделал большую ошибку, что, желая приятного матери, сказал лишнее. А повторяемое матерью п о л о ж е н и е привело его к довольно тревожному раздумью о действительности. Он пересел к окну и затерялся глазами в снегах: то п о л о ж е н и е создавалось на версальских озерах, в зеленеющих деревьях, под жужжание пчел. Тут еще не прилетали грачи, и только что побурела дорога. Вдали, по невидимой тропе в снегах, то показываясь, то исчезая, шел с кадилом в руке деревенский священник, за ним на полотенцах несли тесовый гроб, и за гробом ныряли бабы в снегу.

— Гусек! — вскрикнула Марья Ивановна, — это его несут; господи, да как же это я прозевала!

И перекрестилась. В коридоре кашлянул староста.

— Ты что пришел?

— Гуська вынесли, — пришел доложить.

Все вышли к воротам. У каменных столбиков остановилась деревенская процессия с покойником. Отец Афанасий поет тонким тенором. Как все постарели: работник Павел тоже седой. Тихонечко спрашивает его Михаил Алпатов: почему же покойника полем несли?

— Вершину промыло, — сказал Павел, — живые-то еще ходят по гребешку, а покойников носят кругом. Случай уже был такой: сами удержались, а покойника выпустили, так и с'ехал в гробу, как на салазках, в овраг.

Отец Афанасий недолго поныл у ворот. И в церкви все у него наскоро, и вот уже дальше на кладбище идет, помахивает кадилом.

Оттепель. Снег сливается с небом. Горизонт совершенно исчез. Рыжая дорога кажется поднимается все выше и выше на небо, и туда уносят Гуська.

— Дорога-то как подопревает, — сказал Иван Михайлович, — вот-вот просовы начнутся. Вот-вот грачи прилетят.

— Видели? — сказал о грачах Павел. — А там и перепелки прилетят, да некому будет ловить.

— Отловился!

— Крышка! И чудак же был покойник. Все знали: помирает старик. Вижу, в поле идет человек. Я пригляделся: Гусек. Я его догоняю, я ему: «А сказывали, ты помер. Куда ты идешь?» — Он мне говорит: — «Я, Паша, домой». Подивился я и пошел от него.

— Что же ты его в деревню не вернул?

— Чего его вертать, все там будем, все домой придем. Ну, конечно, потом хватились, нашли: сидит в ендове на горелом пне, где

вы с ним все, бывало, перепелок ловили, сидит, как живой. Ну, а, видно, не хотелось уходить домой-то: на щеках, на бороде слезы намерзли.

Поровнялись с соседней усадьбой. Запел отец Афанасий. Вышла из ворот седеющая Софья Александровна. Крестилась, крестилась. А потом присоединилась к Марье Ивановне, и такой у них живой разговор. Алпатов услышал слова: инженер, потом невеста и, наконец, **п о л о ж е н и е...**

Софья Александровна даже перекрестилась и сказала, посмотрев на Алпатова очень внимательно:

— Ну, Марья Ивановна, поздравляю: теперь он проскочил.

— Кто бы думал!

— Мы думаем, а господь по-своему.

И еще, и еще перекрестилась зараз и потому, что бунтарь и безбожник Михаил **п р о с к о ч и л**, и что показалось близко деревенское кладбище.

В поле, где глазу уж и совсем схватиться не за что, и совсем уже было как-будто отец Афанасий, помахивая кадилом, пробирается к небу, остановились, наконец, среди небольших кустов. Крестов на кладбище почти не было, почти все были повалены летом коровами и свиньями, а кустики почти начисто были обкусаны овцами.

Тут зарыли Гуська, перепелиного охотника.

Коротенькая правда

Ночью нажимает мороз. Утром деревья одеваются инеем. А в полдень разгорается небосвод, исчезает иней, каплет с крыш, дорога сильно бурее, синица поет брачным голосом.

Синицу ли русскую слушать после птиц в Булонском лесу!

Вот почему, верно, и не удаются все письма Алпатова к невесте в Париж: как-будто раньше его кто-то приходил к этой снежной русской весне, взял от нее все лучшее и оставил ее медленно тянуться в тревожной тоске. Он, однако, не может писать о тоске русской природы и убожестве вековой работы на банк своей матери в маленьком имении. Он пишет о будущем и рассуждает, доходит до цитат из умных книг. И так обманчиво это писание. В ночной тиши не кажется ему во время писания, будто само это маленькое имение движется под напором его мысли и чувства... Так бездарный писатель заменяет себе жизнь бумажной работой; находят такие же, как он, жалкие читатели, поощряют его, и он верит в себя, и так проводит всю жизнь на свободе вместо заключения в больнице для умалишенных.

К счастью Алпатова, далеко до рассвета в коридоре начинается удивительный шум, и весь дом наполняется ароматом ржаной соломы. С детства знакомый таинственный шелест и чудеснейший в мире аромат побеждают раздумье над этим чудовищным для европейца хозяйственным преступлением — сжигать вместо дорогих дров солому, силу

земли выпускать в дымовую трубу. Привязанность с детства к этому шелесту, к этому аромату столь велика, что обращается не только против агрономического раздумья, но и против умственных писем к невесте. Перечитав написанный вздор, он идет в коридор, совершенно заваленный, и в печке вместе с соломой сжигает всю исписанную за ночь бумагу.

Родная ржаная солома в этот раз спасает Алпатова и внушает ему решимость немедленно ехать и достигать не бумажного, а действительного положения.

— Ехать, так ехать, — сказала ему за чаем Марья Ивановна. И тут же распорядилась запрягать лошадей.

— Стало-быть, — сказала она, — положение вы считаете все-таки необходимым. Это что же, она поставила тебе такое условие, или вместе надумали?

Как ни мучительно было Алпатову ответить, но все-таки почему-то было и приятно, чтобы мать как можно лучше думала о его невесте. Он сказал:

— Да, это она поставила такое условие.

— Умно, очень умно. Только одного я не понимаю, зачем она тебя в этот гнилой Петербург тянет, лучшие люди у нас теперь собираются в земстве: болота есть недалеко и от нас, поступай в земство и осушай. Болотный ценз можно по три рубля за десятину купить. Поступай сначала инженером, пролезешь с цензом в члены управы, будешь получать и как инженер, и как член управы: это будет уже довольно кругленькое положение.

— Нет, мама, ты себе не так представляешь, мне нужны огромные пространства болот, чтобы развернуться, и не земские, а большие государственные средства. Придется, может быть, для этого идти и до царя. Вот у меня какой план.

— Такие планы, знаешь ли, Миша, роятся у многих, у нас никто не хочет работать и достигать положения постепенно, одни только латыши да немцы.

— Я знаю, как немцы работают, я ученик немецкой школы.

— Это большой плюс. Но все-таки в таком деле необходима протекция.

— Она у меня есть: отец моей невесты в Лесном департаменте, действительный...

Надо бы сказать затем статский, но Алпатов сказал тайный советник. Такое бывает со всеми, и потом с большим стыдом вспоминается...

— Ну, тогда картина совершенно переменяется! — воскликнула Марья Ивановна. — Помню, когда тебя в тюрьму посадили, одна только Калиса Никаноровна меня успокоила: — «Поверьте, Марья Ивановна, — говорила она, — из таких выходят самые умные люди». Софья Александровна каких только бед не сулила, а теперь говорит — «проскочил».

Алпатов посмотрел внимательно на мать, не смеется ли она над ним. Но, нет, она просто радовалась.

— Боюсь, мама, ты не совсем верно все понимаешь мое: помню, когда я был маленький, ты говорила кому-то из наших народников, вероятно, Дунечке: — «Почему-то русские писатели всегда описывают униженных и оскорбленных, как-будто нет у нас победителей». Мне это глубоко запало в душу, и, верно, потому я терпеть не могу народников. И наши писатели большей частью народники: их привлекает ленивый раб-мужик. Но почему никто не опишет человеческий труд в его достижениях? Наш Николай Иванович в слободе гармони чинил, а теперь у него миллионы. Пусть он купец, фабрикант, но какой труд, какое великое напряжение воли! Писатель свободен: он может посмотреть на это с лучшей стороны. Вот и я так хочу победить. После я вернусь к общему делу, но, раз поставлен вопрос быть или не быть, я хочу счастье свое завоевать, перед этим должно все отступить, и живой я не сдамся.

Марья Ивановна потемнела в лице при последних словах.

— Только не преувеличивай, Миша, и не будь чересчур скор, ведь это я говорила о романах, что хорошо бы нам от униженных и оскорбленных отдохнуть на победителях, а в жизни победы даются годами, и часто о своих победах сами победители не знают до конца своих дней. Вот хотя бы и Николай Иванович: всего себя и убил на достижении богатства, дети — идиоты, после него все пойдет прахом. Если по большой правде говорить, то какой же он победитель.

— Я, мама, не о большой правде говорю, я о своей маленькой, без этой маленькой правды ведь жить нельзя, я у немцев не чужими глазами смотрел, я же видел, как они своей коротенькой правдой преобразили всю свою землю. Без своего личного устройства стыдно людям даже в глаза смотреть, а не то что проповедывать большую правду. Я ничего не утратил из того, за что сидел в тюрьме, ты вот знаешь, — земля перейдет мужикам и все-таки не бросаешь ее, а я знаю, государственная власть перейдет в общее дело, и еще много знаю всего, но не могу жить в этом без себя самого...

Не часто жизнь баловала Марью Ивановну такими душевными разговорами с сыновьями, и она была счастлива, и все, что говорил ей сын, казалось таким верным, как-будто он высказывал ее же затаенные мысли. Но тревога материнского сердца не считается с верными выводами: было, казалось ей, в словах сына какое-то слишком повышенное отношение к коротенькой правде, к тому, что само собой разумеется, о чем люди молчат, что растет и созревает у людей все равно как у животных и растений, и достигается больше способностью ждать, чем стремиться. Опасливо посмотрела Марья Ивановна на сына, как на маленького ребенка, бывало, на беззащитное существо, открытое для жестоких ударов со всех сторон. Этот внутренний опасливый взгляд матери Алпатов хорошо знал, и всегда он вызывал

в нем желание защитить себя от него логическим доказательством. Теперь он истратил все свои аргументы, и все-таки таинственный недоверчивый взгляд матери почивал на нем, как и в детстве. Чем бы его теперь победить?

Мать говорила:

— Я радуюсь всему, что ты говоришь, все верно, только одно тревожит меня: ты преувеличиваешь значение своего личного счастья. Посмотри на меня, я всю жизнь, вдовой, работала в глуши на банк и все-таки не могу сказать, чтоб несчастна была. Счастье само приходит, а ты за ним гонишься.

— Понимаю, — воскликнул сын, — в этом расходимся мы, в этом новое время сказалось, у вас этого не было.

Услыхав новое время, Марья Ивановна сказала:

— Ну, да, конечно, мы по заграницам не ездили, мы учились на медные деньги.

А уже давно сказали, что лошади поданы, и Марья Ивановна терпеть не могла заставлять кучера зря сидеть на козлах перед крыльцом, вида этого не выносила. Надо было торопиться, но нельзя было расстаться в момент столкновения счастья нового времени и этой жизни на старые медные деньги. И сыну, и матери хотелось скорее найти из этого выход. Вдруг мать что-то придумала.

— Миша, — сказала она, — мы сейчас должны расстаться, бог знает еще когда прилетит ко мне опять соловей, я же хорошо понимаю, откуда идет вся твоя перемена: все от нее. Скажи на прощанье мне, старухе, кто она?

— Да я же тебе говорил, — удивился Алпатов, — ты же мне сама сказала: «У тебя не дура губа».

— Как ты не понимаешь, Миша, ты мне говорил о ней вообще...

— Что же тебе надо еще?

— Ну, хотя бы, как зовут ее?..

Алпатов очень смутился, но вдруг ему мелькнуло: сказать, — это значит победить все сомнения матери о нем, в его охоте за счастьем. И ведь рано или поздно он победит и достигнет, и все откроется...

— Я скажу тебе, мама, — ответил он, — только под величайшим секретом, дай мне слово.

Марья Ивановна, почуяв, что дверь открывается, не обратила даже внимания на какой-то секрет, на какое-то честное слово, она, просияв, сказала:

— Знакомая?

— Да, — ответил Алпатов.

Сияние матери усилилось.

— Мне кажется, я догадываюсь... Ина Ростовцева?

И, когда сын ответил, и догадка оказалась верной, мать сияла, как солнце.

Положение

На дворе усадьбы довольно было простора пошалить лошадям, запряженным гуськом, поработать арапником кучеру, осыпающему их и бранными и ласкательными словами, совершенно как если бы эти существа с хвостами и гривами хорошо понимали русский простонародный язык. Но, как только выбрались со двора на ту самую рыжую дорогу, по которой недавно унесли Гуська на кладбище, передней лошади стало невозможно вилять: снег всю зиму валил без осадки, и даже рослому коню в нем было почти что по самую шею.

Было очень пасмурно. Снежная земля и небо совершенно сливались, и рыжая дорога на слегка уже оседающем снежном поле выпуклая, как железнодорожная насыпь, отчетливо и вполне определенно поднималась на небо... Алпатову захотелось крепко подумать о большой и коротенькой правде, о своей охоте за счастьем, но в полях без горизонта мысль расплывалась, а рыжая дорога возвращала к детству, к Гуську с его перепелами. Но, как только он закрыл глаза, ему представилось, будто он едет не вперед, а назад, и он стал думать об этом странном явлении, стараясь установить в себе разумное соответствие с действительностью. Из этого усилия являлось нелепое представление лошадей, бегущих хвостами вперед, и саней впереди их. Он стал упрячиться: «Ни за что не открою глаз, пока не докажу себе разумом движение вперед». И, когда он твердо установился в борьбе с обратной силой движения, случилось еще хуже, чем было: он все забыл...

Кто много ездил в санях по снежной стране, наверно, хоть на одно мгновение испытывал и чувство этого обратного движения и особенно страшное, как вдруг оказывается—человеку нечего вспомнить о себе самом... Я обыкновенно в такие минуты или больно кусал себе язык, или заговаривал с кучером:—«Ну, Глеб, расскажи мне, как теперь ты живешь?»—Алпатов перестал сопротивляться, открыл глаза. Движение вперед сразу определилось, но мало радостного было и в этом движении: рыжая горбатая дорога поднималась на скучное небо, где покойники лежат совершенно забытые. Алпатову, как и всем нам, едущим по таким бескрайным снежным полям, пришлось отказаться найти определенную мысль о себе и обратиться к кучеру с каким-то самым нелепым вопросом. И только уже, когда, наконец-то, доехали, и поезд понес его в Москву, наладилось соответствие внешнего мира с внутренним, и Алпатов вернулся к мысли своей о большой и коротенькой правде. Он даже себе план придумал—побыть в Москве несколько дней и тут перед поездкой в Петербург посмотреть не прежними детскими глазами, а новыми, как иностранец: что же такое особенно хорошее сравнительно с европейцами нажили русские люди в Москве, исполняя законы естественной коротенькой правды?

И, вернее всего, этот влюбленный молодой человек увидел бы на родине какую-то прелесть,—почему же столько иностранцев

навсегда остаются в Москве? Но не успел он устроиться в своем номере, хорошенько чаю напиться, его попросили явиться в охранное отделение.

Его спросили, тот ли он Алпатов, который устраивал школу пролетарских вождей, сидел за это в тюрьме, по особому ходатайству был отпущен за границу и теперь явился сюда без разрешения в'езда в столицу?

Бывало, в прежнее время Алпатов был так находчив в ответах жандармам, теперь—он растерянно спрашивает:

— Вот этого я и не знал, ведь это было уже так давно, стало-быть, мне нельзя жить в столице, как же так?

— Я не говорю, что нельзя,— улыбнулся жандармский полковник.

И подвинулся к Алпатову так близко, что коснулся его ног своими жирными ляшками в синих штанах.

— С вашим старинным другом, Ефимом Несговоровым, не встречались ли вы за границей?

— Нет, я его там не видел.

— Неужели ни одного разу?

— Ни разу.

Больше ничего бы и не надо говорить, жандарму спрашивать было нечего. Но, верней всего, эта мысль о коротенькой правде и готовность в этом делать опыты смягчила Алпатова, и он сказал жандарму совершенно ненужную фразу:

— Я все время за границей провел в упорной работе.

Жандарм почему-то очень обрадовался.

— Очень, очень похвально, что же теперь вы намерены делать в России?

— Конечно, применять свои знания.

— Применять, применять,—добродушно воскликнул жандарм,— а на чем же применять?

— Я торфмейстер, у нас такие болота, буду осушать.

С полной искренностью и сочувствием опять воскликнул жандарм:

— Осушать, осушать!

И предложил даже сигару.

В сигарах Алпатов кое-что понимал, и ему захотелось продолжать свои опыты: жандарм такой добродушный, почему бы и не покурить.

— Бразильский лист? — спросил он.

И так он обрадовал полковника: так мало людей, понимающих толк в хороших сигарах!

— Это мексиканский лист, — сказал он. И бросился к ящику.

— Пожалуйста, вот вам и бразильский. Раньше я тоже был страстным поклонником бразильского листа, теперь перехожу на мексиканский.

Поговорили о сигарах, — что в Германии в этом отношении очень хорошо, но в Париже из рук вон плохо, а в России за деньги

можно такое достать, чего нет в Германии. С деньгами в России можно что угодно достать и, если только умеючи жить, денег в России для умного человека найдется сколько угодно.

Под конец Алпатов, вставая со стула, — жандарм тоже встал, — спросил, как же дальше быть: ему теперь в Пётербург надо ехать, не будут ли там его тоже беспокоить?

— Будут-то будут, — ответил жандарм.

— Как же выйти из такого положения?

Полковник задумался.

— Вот что, — сказал он, — вы же в Петербург зачем едете, наверно, устраиваться?

— Да я вам сказал, я затеваю большое дело с осушением болот, мне там надо получить назначение.

Полковник чрезвычайно обрадовался.

— Осушать, применять, — воскликнул он, — самое разлюбезное дело! А пока они о вас за границей будут справляться, вы создадите себе в Петербурге отличное положение.

Да, вот так и сказал жандарм: п о л о ж е н и е.

И с этим Алпатов вышел на улицу.

Будь он свободен в себе, как не раз бывало ему за границей в промежутках упорной работы, конечно, он зашел бы в Кремль; очарованный, долго бы оттуда сверху смотрел на Москву, отличая тут великое движение востока на запад, и сокрушающие победы запада, и беспричинное сияние востока. Теперь ему было не до того: последние слова жандарма о положении все перемешали в нем. Расстроенный, он обратил только внимание, что огромные зеркальные окна магазина Елисеева на Тверской были почему-то мутные. Он даже провел пальцем по стеклу и оставил резкую линию: то была, значит, пыль. Но мало того, что пыль: вокруг были снега и, значит, пыль на зеркальных окнах роскошного магазина оставалась еще с прошлого года! Неприятно было ему, и что московские люди на узкой Тверской так сильно размахивали руками, что иногда задевали. Один раз возле витрины магазина кто-то сзади привалился к нему. Какой-то старик, пробиваясь через толпу, назвал его дьяволом. Кто-то хлопнул его сзади со всего маху по плечу и, когда все раз'яснилось, даже не извинился, а просто сказал: «Я вас за Ивана Петровича принял».

Все это нам привычное и такое смешное мало-по-малу начало бить в Алтапова, как бьет капля воды с крыши в камень, и на камне через множество лет от этого получается углубление, — у Алтапова теперь уже в сердце было что-то размыто и там скопилось непрерывной ноющей болью.

Но самое главное, что эта ноющая боль, все более и более ввинчиваясь, с одной стороны, перешла в точку почти физической боли, а с другой, именно в этой точке и помещалось свое собственное Я, как будто в чем-то виноватое.

Когда-то Алтапов, чутьем угадывая это состояние у других, глубоко его презирал, называл «самоковырянием» и думал, — каждый, если захочет, может выйти из такого порочного круга усилием собственной воли. Теперь он сам был в плену. Раньше Кашеева цепь, ему казалось, была в мире внешнем, огромная цепь, теперь не цепь, а цепочка завертывалась вокруг своего Я, и эта цепочка оказалась сильнее, чем вся великая цепь. Мало-по-малу, ничего не видя вокруг себя, он заметил в ужасе, что и мысли его, и боль, и даже все внешнее, что попадалось в глаза, и особое новое чувство своей вины, протекая кругом, начиналось, как танец, от печки, и эта неподвижная печка была положением, а конец — по больному месту острые слова: я — маленький.

В номере он с удивлением вспомнил о своем решении несколько дней шататься без дела в Москве. Теперь только поскорее бы уехать отсюда подальше в Петербург и там начать все по-новому, по-настоящему. Только перед этим захотелось ему совсем избавиться от проклятого самоверчения, рассказать об этом искренно другу в письме.

И он пишет ей о себе, уверенный, что когда он выскажет все совершенно, то непременно и сбросит с себя эту новую, маленькую, но еще более страшную цепь. Его обманывает теперь увлекающее сладостное чувство писать ей о себе, он забывает, что если другому прочитать написанное им, то как раз это и будет изложение самоверчения, начиная от печки — положение — и кончая осью всего порочного круга: — я маленький.

Исписав несколько листов почтовой бумаги, Алтапов зовет курьера и велит ему немедленно отнести на почту и отправить заказным. Но как только уходит курьер, и невеста его оказывается не здесь, в комнате, как было, когда он писал, а далеко в Париже, то вдруг переменяется весь смысл написанного: все письмо — сплошное издевательство над положением, которое сам же он вызвался создавать ради нее. Это письмо, он теперь понимал так ясно, было бредом, в котором он бормотал о своем великом Я, назначенном разбить Кашееву цепь, и что это великое Я, встретив на пути своем положение, обернулось в сидящее на цепочке я — маленькое.

Он бросился по лестнице гостиницы, чтобы вернуть курьера, но было поздно: получив приказание поспешить, курьер убежал.

От кого же он сам бежит теперь из этого номера, где явилась ему несчастная мысль написать? Он еще не знает, что бежит от себя самого и что от этого никуда нельзя убежать. Все, что было в номере, сейчас же вернулось к нему, как только сказали на Николаевском вокзале, что поезда ждать придется ему еще час. Он спрашивает себя чаю и садится за столик писать. На диване рядом с ним, обернувшись лицом к спинке, храпит на весь зал толстый человек. Не обращая внимания на храп, он пишет в Париж, что под минутным впечатлением от разговора с жандармом о положении, он немного сошел с ума и написал ей бессмысленное письмо. Но пусть она не обращает на это внимания:

это все эгоистический бред, а в будущем он непременно сумеет забыть себя и вернется к тому положению, о котором они вместе думали в Париже...

Он перечитал письмо свое несколько раз и совершенно уверился: письмо было очень хорошее. Теперь, если он это письмо сейчас опустит в ящик, оно придет, может быть, днем раньше, чем заказное. Вот хорошо бы еще приписать сюда: что он просит ее не читать и разорвать заказное письмо. И он опять берется за перо, но как раз в эту минуту храпящий человек обертывается, не открывая глаз, отхаркивается, плюет, и своей мерзостью обдаёт все письмо.

Алпатов бросает перо. Сильной рукой хватает толстого человека за ворот, трясет, и тот медленно открывает налитые кровью глаза...

«Пьяный!» — собрал Алпатов.

И, бросив письмо, спешит удалиться. Но пьяный только теперь пришел в себя и узнал, кто это вдруг потряс его с такой чудовищной силой.

— Караул! — закричал он, — держите, держите, он чайник украл у меня!

Флора и фауна

Поэты берут красоту северного света белой ночью, когда закончится брачное время у многих интересных наших растений и животных, птицы сели на яйца, все в природе занято делом, а человек, не зная покоя, бродит белой ночью по улицам огромного города... Сказал ли кто-нибудь о красоте света на севере, когда после тьмы человек пробуждается в засыпанном снегом и сияющем в новом свете городе? Многие обратили внимание на такой Петербург только в тот день, когда замолчал пулемет, и все вышли на улицу, чтобы во время великой войны народов сказать о мире всего мира в с е м — в с е м!

Нет, кажется, о весне света до тех пор еще мало кто говорил, считая болезненную белую ночь истинной весной петербургского человека. Но Алпатов, никогда еще не выдавший Петербурга, сразу обратил внимание на сияние снега в большом городе: ни в Москве, ни в одном европейском городе такой роскоши архитектуры, украшенной снегом и так освещенной, он еще не видал. А, между тем, шел он по солнечной стороне Невского не для того, чтобы о вечном мире народов сказать в с е м — в с е м, а просто в департамент шел, как множество других, создавать себе положение. Ему представлялся департамент по Гоголю местом издевательства над убогим, но сложным существом человека, в роде того, как было в его гимназическом классе, когда все мальчики мучили одного странного. По Достоевскому в департаменте служили бедные люди, униженные и оскорбленные. По Щедрина там лютые хищники делили казну. Казалось бы, всего ближе был Алпатову департамент у Гончарова в «О б ы к н о в е н н о й и с т о р и и», где молодой человек, в юности почти революционер, просит дядюшку устроить ему п о л о ж е н и е...

Да, тут в красоте на болоте люди так много всего намечтали, что каждому оставался в наследство двойник. Но красота весны света была сама по себе так велика в Петербурге, что Алпатов, думая по авторам о департаменте, не вспомнил пока своего двойника из «Обыкновенной истории», и свой путь по коротенькой правде все еще считал каким-то особенным и необычным у других.

На углу Невского и Литейного, в книжном магазине Сытина, огромная красная книга «Весь Петербург» (в издании Суворина) сразу дала Алпатову и адрес действительного статского советника Петра Петровича Ростовцева на Захарьевской, и его служебный телефон в департаменте на Мойке. Он, представляя себе департамент исключительно по литературе, позвонил с большим волнением. Но деловой голос просто и даже довольно любезно ответил ему: его превосходительство не имеет особых часов для приема и видеть его можно в Ученом комитете в служебные часы.

Мартовский свет, разгораясь все больше и больше ближе к полудню, во всем помогал Алпатову.

Сверкает алмазная весна. Многие синицы в Лесном поют брачным голосом, самые красивые маленькие птички, кочуя, рассыпаются по темнеющим дорогам, — снегири, свиристели, овсянки. На Невском возле пассажа продают мимозы, тепличные фиалки и ландыши. Ярко освещенная студенческая молодежь на верхнем этаже конки оказалась Алпатову букетом цветов. На углу Невского и Михайловской, под капелью, из двух улыбающихся девушек одна казалась очень похожей на Ину Ростовцеву.

И если в мрачном Петербурге на Невском Алпатов открыл себе весну света, то почему бы и департаменту не выйти таким же удачным и положению в нем совершенно особенным: очень возможно, еще ни один инженер не приходил сюда с таким великим планом осушения русских болот. Швейцар в этом изящно одетом молодом человеке сразу же увидел его счастливое будущее и не только вежливо помог ему раздеться, но и проводил немного по лестнице, и в Ученом комитете указал кабинет его превосходительства. Секретарь, который разговаривал с ним по телефону, был очень похож на очень скромного, изысканно вежливого немецкого молодого ученого, и, действительно, оказался временно служащим здесь лаборантом. Он тоже скоро получает командировку в Германию и смотрит на Алпатова из Германии почтительно. Пока его превосходительство занят в кабинете с посетителем, есть время покурить и расспросить лаборанта, можно ли рассчитывать на успех.

— Как понравится, — сказал секретарь. — Петр Петрович ученого склада человек, место его на кафедре, да вот только жизнь заставила его заняться производством бумаг.

— Вы так смотрите...

— Коллега, весь город занят производством бумаг. Но редко вы встретите человека, совершенно мертвого и преданного одной

только бумаге. Огромное большинство в Петербурге живет двойной жизнью.

Мгновенно вспомнив, как в Париже Ина ему показалась двойной, Алпатов сказал:

— Я это очень понимаю, жизнь вообще двойная, протекает в большой и в коротенькой правде, и люди живут обыкновенно надвое. Но, я думаю, задача каждого сделать коротенькую правду большой, и человек должен соединить все правды в одну.

Удивленный лаборант ответил:

— Сбываются мои предчувствия: наверно, у нас преувеличили значение военной Германии, и в сущности своей она остается попрежнему страной мыслителей. У нас в Петербурге едва ли кто-нибудь из служащих думает в своем деле соединить разделенную жизнь. Мы все служим здесь исключительно для производства бумаг, а дома занимаемся личной жизнью, которая и кажется настоящей. Я лично занимаюсь наукой, другой сидит просто в кафе.

— Чем же занимается его превосходительство в другой своей, настоящей жизни?

— Лучшую часть своей жизни его превосходительство посвятил созданию лесной энциклопедии, другой стороной он, как все мы, раб исходящих и входящих бумаг. Если вам удастся подойти с его лучшей стороны, он все вам сделает, а если не удастся, то просто расскажет длинную историю, как он ездил в Карлсбад растворять камень в печени и почему из этого ничего не вышло и камень не дает ему жить.

В это время из кабинета вышел посетитель в мундире, с учеными знаками, и лаборант, пригласив Алпатова к двери, шепнул:

— Будем надеяться на лучшее!

Его превосходительство, бессменный секретарь Ученого комитета Лесного департамента, Петр Петрович Ростовцев, сидел за большим письменным столом, заваленным горою бумаг. Была видна входящему в кабинет только пепельная голова с желтым лицом. Взглянув на прекрасный лоб Петра Петровича, Алпатов сразу узнал происхождение закрытого локонами лба своей невесты и почтительно, гораздо усерднее поклонился, чем если бы перед ним сидел не отец Ины, а просто действительный статский советник. Но Петр Петрович даже и головы не поднял, а только указал рукой на стул. Алпатов сел и замер. Петр Петрович погрузился в работу и о просителе совершенно забыл.

По длинным корректурным гранкам быстро гуляла рука с красным карандашом, — одна рука красила, другая синила. Мало-по-малу весь лист сделался похожим на трехцветный флаг из белого, красного и синего. После того рука берет пачку каких-то картинок, выбирает из них подходящие, иные припиливает к флагу-листу, иные наглухо приклеивает синдетиконом. С одной гранкой было покончено, началась другая, Алпатов кашлянул, и Петр Петрович поднял на него свои усталые и очень добрые глаза.

— Я, ваше превосходительство, пришел к вам посоветоваться.

— Рассказывайте, слушаю, — ответил Петр Петрович, снова погружаясь в работу.

Алпатов побоялся упустить Петра Петровича и поскорей протянул к нему руку с бумагой.

— Вот мой диплом. Я иностранный инженер. Хочу просить вашего совета, можно ли мне как-нибудь устроиться на живую работу. Петр Петрович взглянул и просиял.

— Торфмейстер! — воскликнул он, — да вас ко мне прямо же бог прислал. Помогите мне, а потом я вам все сделаю. Садитесь удобнее.

Оказывается, русские ученые вовсе не умеют писать для энциклопедии и надо у них из десяти слов оставить два-три, а то и всю статью самому изложить по-другому.

Алпатов с удовольствием берет корректуру статей о торфе, усердно красит, синит, переписывает вновь и, наконец, показывает.

— Что значит немецкая школа, — восхищается Петр Петрович, — наши растрепы могут только выдумывать, а вещь показать, это — не их дело. Я в вас как-будто alter ego нашел. Но в чем же дело, в чем я могу вам помочь?

— Я ищу живую работу, чтобы жить не надвое, для службы и для себя, как тут все живут, а целиком отдаться интересному труду, как большинство людей работает в Германии.

— Понимаю, — грустно и ласково сказал Петр Петрович, — вы хотите создать лучшее.

Конечно, Петр Петрович это совсем просто сказал, но у Алпатова это «лучшее» соединилось с тем, что он слышал от своей невесты: «Помни всегда, я отдала тебе все свое самое лучшее».

— Вот верно-то! — воскликнул Алпатов совершенно по-детски, — именно лучшее.

Петр Петрович с удивлением опять повторил:

— Право, я кажется в вас alter ego нашел. В свое время я тоже, как вы, хотел цельного дела, хотел быть только фаунистом, воображал себе даже, что и жена моя тоже будет зоологом. А вот теперь, видите, как все, разделился надвое.

Алпатов с глубоким сочувствием, с искренним состраданием смотрел на Петра Петровича.

— Да, — сказал он, — я только теперь понимаю, что моей главной задачей будет не разделяться.

— Как же вы думаете этого достигнуть? — спросил Петр Петрович. — Извините меня, я спрошу: вы неженатый?

Алпатов покраснел и не знал, куда деваться. Петр Петрович даже глаза отвел. Потом Алпатов справился с собой и рассердился даже:

— Я не женат, но какое же это отношение имеет к нашему делу?

— Не сердитесь, милый мой, — ласково сказал Петр Петрович, — в большинстве случаев наше лучшее зависит только от этого...

— Я сам так думаю.

— Вы можете всячески думать, но беда...

— Никакой беды, беда у сильного человека — это вызов к борьбе.

— Скажите... — улыбнулся Петр Петрович, — вы не совсем уже юноша и отличный работник, до чего же значит можно за границей консервироваться. Кроме того, я думаю, вы происходите прямо от ма-тушки сырой земли...

Алпатов вспомнил, как рассказывала ему Ина об отце, что сам он из купцов, был Чижиков и стал Ростовцевым и потом для графини своей стал генералом. И почти с гордостью он сказал:

— Я происхожу от купцов.

— Так я и знал, и еще догадываюсь, — наверно, вы до загра-ницы бунтовали?..

— Как это вы можете догадываться, ваше превосходительство?

— Очень просто: никто из приходящих ко мне за местом в депар-таменте не говорил еще мне: «Беда — это вызов к борьбе». Только не думайте вовсе плохо о бюрократии: Петербург высасывает из страны все лучшее, и оно уже потом здесь хиреет. И если с этим вздумать бороться, то надо уничтожить весь Петербург.

— Вы забыли, ваше превосходительство, я с самого начала ска-зал, что ищу живого дела, понимаю, конечно, на болотах, а не в де-партаменте.

— Вот это верно, — обрадовался Петр Петрович, — если есть охота работать в болотах, то это мы с вами можем устроить. Но, ко-нечно, не сразу. Есть ли у вас хоть что-нибудь пока перебиться? Для существования вы можете подработать у меня в энциклопедии; мы разделимся с вами: я себе возьму редактировать фауну, вы — флору.

Алпатову хотелось броситься на шею Петру Петровичу: ведь он будет работать у него по ночам в той самой квартире, где выросла Ина!

Лаборант показался в дверях. Петр Петрович весело ему сказал:

— Ну, идите, идите сюда, молодой человек, мы тут вот сейчас заключили союз флоры и фауны.

Алпатов в приемной подождал лаборанта и все ему рассказал с восхищением: ему даже и не снилось, чтобы такие были превосходительствa и такой департамент. Лаборант соглашался с ним, но про себя думал: все это выходит потому, что Алпатов приехал из Германии.

Потом был Алпатов на Невском проспекте под вечер, когда на нем все кипит и бурлит. Зажигались лампочки. Начинался снег. Уйти, оторваться не хочется. Долго смотрит Алпатов на цветы за огром-ным зеркальным стеклом. Снег падает, а там целое дерево цветущей сирени. Но лучше всего одна вазочка в ювелирном магазине: неболь-шая, античная вазочка с гением прельстила его. Она ли, такая совер-шенная сама по себе, взяла его в плен, или раньше того пришла ему в голову мысль и случайно сошлась с формой изящного сосуда? Вот он что-то придумал. Поскорей бы только добежать к себе и написать это своему другу.

И он пишет в дешевых номерах Пименова на Пушкинской улице, рядом с банями того же Пименова, представляя себе вместо женщины маленькую керченскую вазу с гением.

«В какой пленительной силе встает теперь моя первая детская встреча с природой и каким прекрасным кажется мне родной человек в родной стороне. Вспомните же, друг мой, я настаиваю, я буду радостно трудиться изо дня в день, чтобы вы наш брачный день приняли навсегда, как единственную творческую силу природы, все, что мы называем неопределенным словом — любовь. Соберите же черепки вашей расклотой жизни, уверяю: есть на свете живая вода, я найду ее, и она опять даст черепкам форму единого прекрасного сосуда!»

Причисленный

На Невском была суматоха. Коты с финскими ножами в карманах, встречая проституток, говорили им: «Облава, облава!», и незарегистрированные женщины бросались в боковые полуосвещенные улицы. Особенно удобно было им переждать облаву на Пушкинской возле номеров и бань Пименова: тут можно было и спастись от облавы и з а м а р ь я ж и т ь кого-нибудь в номерах или в банях.

Но Алпатов и не подозревал, что он поселился в вертепе. Какое дело ему было до всего этого низкого, когда он так ясно видел само лицо жизни в форме античной женственной вазы с гением. Он бы и долго писал и пропустил бы назначенный час для ночной работы в квартире отца своей невесты. Но ветер, как часто бывает в Петербурге, вдруг переменялся, сильно повеяло теплом, и с грохотом обрушился снег. Алпатов очнулся, посмотрел на часы, запечатал письмо и вышел на улицу. Проститутки десятками бросились к нему, называя к р а с а в ч и к о м. Некоторые были пьяные, хрипя и отхаркиваясь, предлагали любовь, преследовали, хватались руками за пальто. Алпатов пробивался через их толпу с таким чувством, как на войне нам живым приходилось быстро ехать по полю, усеянному трупами: не так было страшно, как описывают, забываются страшные трупы, когда самому очень хочется жить...

Друг мой, в любви нашей, конечно, скрыта война, и улицы большого города политы гораздо больше нашей кровью, чем поля обыкновенных сражений. Ночью на улицах бой, днем идем мы все, как последствие великой войны: мы—победители и побежденные. Но редко доходит до того, чтобы всех сразу коснулась война. В мирной жизни все проходит невидимо, как у маленьких животных в густой траве. Но мы были свидетелями, когда война всех коснулась, и потом улицы большого города начали было даже покрываться действительно настоящей зеленой травой: во многих местах на Васильевском острове, где я жил, это было. Но скоро снова человек все взял в свои руки: опять везде загорелись огни, опять начали везде торговать и любить. Я шел, как лунатик. Мне казалось, будто я, как ворон, прожил лет триста, возвра-

щался на давно оставленное привычное место и все узнавал. «Вон там, — угадывал я, — должен быть крендель булочной, описанный Блоком, как-то теперь?» И что же: хотя золотой крендель куда-то исчез, но булочная была на том же самом месте и продавали тут прежние французские булки и русские крендели. Через два дома от кренделя была пивная, и опять вот она: люди попрежнему сидят и пьют у окна. А потом я завертываю за угол, и волнение мое доходит до последних пределов: тут должна быть маленькая подвальная лавочка, где в роковой вечер я купил себе папирос «К а д о». У меня сердце больно забилося, когда я в действительности увидел ту же самую лавочку с папиросами. Спускаюсь туда, и тот самый хозяин с усами, как у Бисмарка, подает мне папиросы «С а ф о». С сожалением говорю ему: «Когда-то было «К а д о»!» Он мне моргнул и покосился на публику. Я подождал немного и, когда все вышли из лавочки, Бисмарк, обдывая пыль с коробки, подает мне «К а д о». Я закурил и, как лунатик, продолжал свой путь, и всюду, где я жил, где так смутно мыслил и смешанно чувствовал, на кровавых местах побоищ нахожу выпрямленное чувство и созревшую мысль. Мало-по-малу я уже не лунатиком, а хозяином прохожу по полю сражения и собираю урожаи на крови и сею. Неужели я сею только для того, чтобы скрыть повседневный бой и создать иллюзию мира? Не знаю, друг мой, мне так хочется жить, я плыву, поминая милых умерших, втайне радуюсь сердцем, что сам остался в живых.

Это напряжение жизни у Алпатова было так сильно, что из обыкновенного светящегося номера 25 на Захарьевском он создает себе в один миг, на всю жизнь, конечно, такого же фетиша, как вышло у меня с папиросами «К а д о» в подвальной лавочке. Для других людей был самым обыкновенным серый каменный в четыре этажа дом с подвальной лавочкой, от которой проходим днем и ночью пахнет морковью и кислой капустой. В этом доме для других людей может быть самая неинтересная квартира—пепельно-серого с желтым лицом действительного статского советника, не сумевшего в Карлсбаде растворить камень своей собственной печенки. Для Алпатова это был дом его невесты, и он, волнуясь, не мог даже сразу войти: прошел до угла, вернулся, прошел до другого угла, снова вернулся, и тогда уже вошел с трудом, сам себя заговаривая. Как условились, чтобы не беспокоить кого-то звонком, он тихонечко с лестницы стучит в стену. Петр Петрович сам открывает дверь чуть-чуть, только для глаза, спрашивает: «Вы?» — и снимает цепочку. Он в халате и туфлях, неслышно закрывает дверь на французский замок, умоляет шопотом, что-нибудь не задеть, раздеваясь в передней и потом итти за ним совершенно неслышно. Алпатов крадется на цыпочках через анфиладу неосвященных комнат на огонек. И потом, когда закрывается дверь кабинета за ним, то кажется ему, будто попал в мышеловку: книги высоко вверх, под потолок, и в шкафах, и в вертящихся этажерках, и внизу, даже на полу разложены диаграммы и карты. Они садятся у письменного стола рядом и начинают работать.

Час ночи.

Что-то грохнуло и покатилося. Петр Петрович вопросительно поднял голову. Алпатов ему подсказал:

— Это весна: в желобе лед покатился.

Петр Петрович:

— Неужели весна?

Он сказал это в особенном смысле: — «Продолжаются разве весны на свете?» Алпатов ответил в своем смысле, что эта весна для него совершенно особенная, что он уже видит третью весну: в Париже было, как в апреле, проезжая назад по Германии, видел март, и в России началось все сначала.

— Так вы и в Париже были, а у меня там теперь учится дочь.

Как вертелось на языке сказать: — «Я с ней встречался».

Но вместо этого он спросил:

— Почему учится она в Париже, а не здесь?

— Результат семейной борьбы, я настаивал, чтобы здесь училась: у нас тоже неплохо на высших курсах. Но для некоторых в нашей семье неприемлемо слово **курси́стка**.

Алпатов догадался, кому неприемлемо.

Опять грохнуло и покатилося в желобе. Петр Петрович сказал:

— Так, стало-быть, это весна. Ну, давайте еще поработаем.

Два часа ночи.

Редактор. Может быть, вы подкрепитесь шоколадом? Бывало, всю ночь жую шоколад. Теперь все запретили. Кушайте. Мне доставляет наслаждение смотреть, как люди с аппетитом едят. Неужели вы, правда, теперь третью весну переживаете?

Помощник редактора. Это не важно, Петр Петрович, весна у человека бывает одна.

Редактор. Да, это правда. Потом короткое лето, и осень, неизбежная зима, и — конец. А вам как представляется?

Помощник. Мне представляется так же, как вам, для всех неизбежное, но в отношении себя я всегда почему-то думаю о смерти: пусть у всех, а я-то как-нибудь проскочу.

Редактор. Мне вы очень, очень нравитесь: в молодости я думал совершенно, как вы.

В четыре утра белый тюль на окнах становится снежным узором на голубом. Алпатов положил карандаш и любитесь.

Редактор. Вы, наверно, устали?

Помощник. Рассветает. Я думаю, вот бы такие занавески делали на окна, как выходит теперь: кружева на голубом шелку. Давайте, если можно, закончим работу: мне хочется посмотреть, как теперь на улице. Вы, наверно, тоже немного устали?

Редактор. Я совсем не устаю от этой работы: ведь это я делаю для себя и получаю гроши. Мне трудно в Комитете, там я секретарь, здесь председатель. Лесная энциклопедия — мое собственное дитя. Но давайте кончать, ведь вы — секретарь и должны уставать.

Алпатов убирает бумаги. Петр Петрович ему говорит:

— Я заметил, у всех складывается понимание жизни двойное, как бы направо и налево; у меня сложилось — на одной стороне председатель, на другой — секретарь: у председателя талант и слава, но живет он трудом секретаря. Вы себе нашли что-нибудь в этом роде?

— Я хотел бы соединить в себе то и другое, чтобы для всех со стороны я был секретарем, а внутри себя председатель.

— Совершенно удивительно! В своей молодости я думал так же, как вы. Но вот вам мой совет: если только вы хотите сделать карьеру, о секретарстве надо выбросить всякую мысль.

— Я не карьеру хочу делать, я хочу создать себе положение.

— Положение! — удивился Петр Петрович. — Как положение? Вы об этом не говорили. Я слышал от вас о каком-то большом деле. А положение — это совсем другое; хотите, я похлопочу: вас причислят к министерству.

Алпатов очень замаялся: нельзя же было ему посвятить отца Ины в свой план, — для виду скоро создать положение, а потом увезти ее с собой на большую работу. Но Петр Петрович полюбил его и стал по лицу все понимать. Он сказал:

— Не трудитесь мне об'яснять: вам нужно положение, и это я постараюсь вам сделать, вас причислят.

— Что же, — спросил Алпатов, — Причисленный, — есть ли это уже положение?

— Причисленный, — ответил Петр Петрович, — это в роде как бы представленный; у нас в министерстве есть около тысячи представленных к чину действительного статского советника, но удовлетворяют их не сразу, всего несколько десятков около пасхи из всей тысячи делаются настоящими генералами. Вот я, кажется, нашел точное определение: представленный — это скорее состояние, чем положение. Точно также Причисленный — это состояние, а когда Причисленный получает место, — это уже есть положение.

В передней Алпатов очень тихо напомнил:

— Вы не забудьте, ваше превосходительство, может быть, и сегодня уже для меня это сделать.

Бесшумно, привычной рукой, спуская пружинку дверного замка, Петр Петрович ответил:

— Ступайте, любуйтесь весной, и считайте себя как бы Причисленным.

На рассвете успело уже слегка подморозить. Пока Алпатов достиг Невского, уже совсем рассвело. Всюду на улице было много некрасивых остатков, как после боя на поле: там обрывки газеты, или разорванный конверт, иногда тесемка, была одна калоша и футляр от финского ножа. Электричество забыли погасить, и этот бледный свидетель пересказывал весеннему свету о ночных делах человека. Непривычная ночная работа поселила великий сумбур в голове Алпатова: электричество стало ему, как вечный секретарь, и он жалел его так же, как и Петра Петровича с секретарской работой его в департаменте.

Следы на Невском

Весна задержалась. Каждый день одинаково к полудню согревается воздух, до вечера бывает тепло, и на улице исчезают все признаки снега. В полночь летит пороша, на рассвете скрепляет порошу мороз, и следы немногих людей в заутренний час отчетливее виднеются на Невском.

Странный след оставлял Алпатов на Невской пороше в заутренний час. По Литейному след был очень извилистый, неровный: человек шел, поминутно останавливаясь, вероятно, о чем-то раздумывая, топтался на месте. Можно бы подумать, что с Литейного на Невский выходил совершенно пьяный человек и свертывал к большому цветочному магазину. Тут, возле цветов, очень много натоптано, охотник по зверю сказал бы, что зверь тут жировал. После того пьяный след переходил к магазину, где была на выставке маленькая керченская ваза с гением. Тут след был твердый и насквозь до асфальта: тут он долго стоял. И отсюда обратно, пересекая свой извилистый след, верными шагами шел по Невскому к Пушкинской.

Если бы только мог Алпатов понять свой собственный след, как бы он ужаснулся себе самому, оставляющему ежедневно на мостовой изо дня в день совершенно одинаковые отпечатки. Но и на рукописях исправляемых им статей тоже остаются следы. Каждый раз, приступая к работе, на полях первой рукописи он ставит множество точек, заключая каждый десяток в кружок. На второй статье точек меньше, и дальше все меньше и меньше. Так ему необходимо считать точки, пока не войдет в работу. А днем, когда все работают, он пишет невесте, похожей на вазу, письма безо всякой меры и счета. Можно ли так жить изо дня в день и оставлять на заутренней невской пороше правильный деловой след человека?

Каждый день он входит с надеждой, — вот сегодня Петр Петрович объявит ему радость: он причислен к министерству. Ведь нужен только первый шаг в каждом деле, а потом обыкновенно все спокойно идет своим чередом. Но Петр Петрович упорно молчит. С ним тоже что-то происходит: Алпатов все бледнеет, Петр Петрович желтеет и очень часто теперь, не работая, лежит на диване. В последний раз он долго не отворяет, Алпатов стучит в стену еще и еще. А когда, наконец, отворится дверь, Алпатову приходится своего редактора под руку вести до дивана.

«А что если придет такой день, — подумал Алпатов, — и к Петру Петровичу вовсе не пустят и нельзя будет спросить о своем?».

Он решает сегодня и спрашивает. И Петр Петрович говорит:

— Все сделано, но почему-то не отвечает департамент полиции. Я вижу — вы очень волнуетесь, почему вам не терпится?

Смущенный Алпатов:

— Так, весна задержалась: на меня это всегда сильно действует.

— Проехались бы пока, — советует спокойно Петр Петрович, —

«Вот я поеду в Карлсбад и вам бы можно командировку устроить за покупкой гидроторфных машин; да, едемте вместе.

Алпатов смекнул:

«Вот бы воспользоваться и заехать в Париж».

— Но как же поехать? — сказал он, — для этого, верно, надо быть тоже Причисленным?

— Это можно по вольному найму. И я вам о поездке так, между прочим сказал, а по вольному найму на всякую работу легко можно устроиться.

Алпатов встрепенулся:

— Так почему же вы раньше-то не сказали!

— С вами происходит что-то мне непонятное, молодой человек, вы пришли ко мне в первый раз и объявили желание работать. Я хотел вас устраивать. Потом вы заявляете, вам здесь необходимо некоторое положение. Я начал хлопотать о положении, и теперь вы опять хотите работать.

— А разве по вольному найму, — это не положение?

— Какое же это положение, если при первом недоразумении вас могут уволить: это волчье положение и, вернее сказать, не по вольному найму, а по волчьему найму.

После того Петр Петрович закрыл глаза. В этот раз Алпатов напрасно ставил и считал точки на рукописи: длинные периоды в статье «сфагнум не сокращались, и один раз он даже приставку к глагольной форме отнес, как в немецком, на конец предложения. И все-таки доси-дел до конца, когда стали на окне голубеть занавески.

Неизменная пушистая пороша лежала на мостовой. Занималась заря, бледнела луна. И начался в этот заутренний час опять этот пьяный извилистый след с Литейного по Невскому к огромной витрине с цветами.

Вот почему виляет след на пороше: в холодном утреннем воздухе является ему третий образ невесты: не его маленькая, желанная Ина, готовая идти за ним, не считающаяся ни с каким положением, не Ина Петровна, подобная страшной графине, а утренняя, умытая и деловая. Собираясь в университет, может быть, даже к зачету, она читает на ходу из бедной России признание в любви от маленького, неимеющего положения, торфмейстера, его рассуждение о творческой силе любви. Как-будто жизнь ежедневная массы деловых людей тоже питается любовью! «Батюшки мои! — восклицает она, — он обещается найти живую воду и воскресить мой разбитый сосуд». Может быть, затем она прекрасно сдала и по доброте своей хочет ответить сегодня маленькому торфмейстеру, но получается новое письмо в десять почтовых листов, а к завтраму предстоит сдавать новый зачет, и утром ей подадут еще пакет в десять листов.

Вот отчего Алпатов пьянеет в утреннем воздухе и такой неверной походкой идет к окну с цветами. Но и цветы не дают ему отдыха: это праздничные цветы для подарков людей с большим положением.

Большая, бледная, почти бесцветная луна тоже рассказывает о своем обыкновенном положении: совершенно холодной, не имеющей на себе ни малейших признаков жизни, вечно вертеться вокруг себя и ходить без малейших признаков личного праздника вокруг земли. Луна, утренняя, бледная при солнечном свете, с полной откровенностью говорит: «Я знаю только необходимость вертеться, остальное все придумали маленькие горячие люди».

И после того Алпатов сам себе говорит:

— Я маленький торфмейстер, и больше нет во мне ничего.

Вот почему возле цветочного магазина так много притоптано, с этого места, сделав ужасное открытие посредством луны в себе самом, он долго не может сойти. Ему представляется, он дошел в себе до последнего и больше идти некуда. Но это еще неправда. Он, шатаясь, проходит несколько шагов к ювелирному магазину и впивается глазами в маленькую керченскую вазу с гением.

Ваза с гением

Когда-то в детстве нас с братишкой ставили на коленки перед иконами и заставляли читать «Отче наш» и «Богородицу». Это были не молитвы: какая молитва может быть у пригвожденного к полу ребенка! Но однажды в скуке я придумал читать как можно тише, чтобы не расслышали старшие, в тон и ритм «Богородицы»: «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была?» И это теперь после многих лет жизни оказалось молитвой: ни «Отче», ни «Богородица» мне теперь ничего не дают, но с трудом могу без слез прочитать это стихотворение Лермонтова. Может быть, и Алпатов, глядя на античную вазочку, вместо иконы, тоже шептал какое-нибудь стихотворение в роде молитвы и так мало-по-малу создавал из ужасной астрономической луны привычное нам, родное, хорошее небольшое светило?

А еще однажды, переживая большую беду, лежа в кровати, я как-то нечаянно через окно с подушки увидел на рыжем от электричества небе маленькую бледную петербургскую звезду. В полном соответствии с этой звездой в моем внутреннем хаосе явилась светлая точка совершенного спокойствия, как-будто на земле ко мне подошел мой собственный меридиан, и я на него прочно стал. Время от времени светлая точка в моем хаосе и свой меридиан стали появляться, и долго был я так наивен, что в такую драгоценную минуту бросался убирать свою комнату и наслаждался чудесным порядком, когда все вещи становились на свои собственные места. Много я таких минут упустил, пока не догадался пользоваться ими и, когда под ноги попадает свой меридиан, а наверху загорается светлая точка, заниматься не расстановкой вещей в комнате, а своих собственных мыслей. Я начал эти мысли посылать своему другу, и когда мой друг стал меня понимать, то все мучения кончились: я узнал, что для творчества не

надо родиться непременно великим человеком и что создаваемая нами в творчестве форма, все равно книга, сад, или машина, есть форма более совершенного и длительного общения людей.

После того, как Алпатов сосредоточился на волшебном предмете и прочитал свою «Ветку Палестины» и увидел свою светлую точку, у него сейчас же сложилась в голове ясная форма письма, которое должно бы непременно вернуть ему утраченную невесту. Он только боится, как бы не забыть ему все по пути в номера Пименова, или чтобы не встретился какой-нибудь человек и не расстроил бы его порядок. Вот почему следы его теперь располагаются по такой правильной линии.

Но так он каждый день приносит в свою комнату порядок в мыслях и уверенность в сердце, что в этот раз непременно он выразит, наконец, себя в новом письме, и от этого все переменится и начнется новая, бодрая, уверенная жизнь... Но, друг мой, в любви к женщине, вероятно, бессильна молитва.

Неизбежно каждый раз, когда письмо бывает отправлено Ине, похожей на античную вазу с гением, является Ина Петровна и обнажает все эгоистические претензии маленького торфмейстера. А потом после ночной работы утром непременно показывается самая ужасная, третья, деловая, как астрономическая луна, и тут бы конец всему, но в последний конец опять непонятная сила дает оружие к новой борьбе.

Вот теперь ранним утром спешит он снова к себе и очень боится швейцара: разбуженный швейцар обыкновенно ворчит, и не это ли, в конце концов, отнимает у него силу написать настоящее письмо? Сегодня он приготовился сунуть в руку сонному швейцару целый рубль. Но, когда он с Невского свертывает на Пушкинскую, швейцар, оказывается, в этот ранний час стоит на улице около входа в гостиницу, с ним рядом стоит какой-то мизерный человечек с большим кульком, и, запуская туда время от времени руку, достает кедровые орешки и щелкает.

Вероятно, и швейцара это он угостил, швейцар тоже грызет. В этом щелкании орешков, как все равно и подсолнухов, Алпатов с детства в родной стороне видел самое ему ненавистное: люди совершенно ничего не думают, и глаза у них в это время бывают такие, как будто ждут всякого повода, чтобы над чем-нибудь по-обезьяньему захохотать. Не захотелось и на чай давать. Он прошел было мимо зевак, как вдруг швейцар вернул его одной лениво сказанной коротенькой фразой.

— Поглядите, тут, кажется, есть вам письмо.

Нечего было ему разглядывать: среди нескольких десятков писем он сразу видит это свое. Наконец, он дождался!

И швейцар получает свой рубль.

Трудно читать, когда здоровое сердце бьется больше больного. Письмо лежит на столе, а он в «Новом Времени» читает бюллетень

природы профессора Кайгородова: «Началась массовая перекочевка всех придорожных маленьких птиц, все синицы в Лесном поют брачным голосом».

В этот раз беду он предчувствовал и малодушно даже хотел бежать от письма и вскрывал его, как яд себе в стакан наливал...

Потом залпом вдруг выпил свой яд:

«Слишком уважаю, чтобы отдаваться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все разглядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз твердо и решительно говорю: нет».

Нет!— и все переменялось. Вдруг оказалось, что мира этого взамен совсем и не существует, все было обман. В особенности удивительно стало с тем большим делом в болотах, куда он, в конце концов, должен был увезти свою невесту. Болота оказались не заманчивой девственной природой, а просто дикими кочками с чахлыми деревьями, холодные, пустые.

Но как же революция, борьба за освобождение людей от Кашеевой цепи? Это все оставалось, но только не больше как факт: от его участия в этом деле ничего не переменится. Все равно, как и та бледная астрономическая луна не устанет вертеться, будет он или не будет встречать ее вечерами и провожать по утрам. Мать его у себя на хуторе тоже будет доживать свой век, брат любимый, Николай, будет собирать деньги от винной монополии и ловить раков, сестра останется с кошками. Все пойдет по своим неизменным законам, и мира взамен Ины не существует. Но почему-то ему все-таки оставались синицы в Лесном: все до одной поют теперь брачным голосом, — вот бы послушать! На тонких не одетых веточках берез, раскинутых по голубому небу, ему представилось в лучах весеннего солнца великое множество синиц, раскрывающих тонкие носики.

Он быстро схватывается и выходит только затем, чтобы увидеть синиц на березах. Идет быстро пешком по Невскому. За ним, отступая, но не выпуская из виду, идет небольшой человек с кульком кедровых орешков и неустанно пощелкивает.

Был на пути мост с гигантскими конями, но Алпатов не только этих коней, он и Казанский собор не заметил. Не видел Дворцовую площадь с опущенной снегом колоннадой. Все сверкало искрами на солнце и везде переливалось всеми цветами капель. На Неве вырубали для ледников красивый лед. На небе был свой небесный ледоход весны света, и сам тяжелый Исаакий поднялся. Но Алпатов ничего не видал, и спокойная линия дворцов ушла в даль без него... Он видел где-то впереди только паутинки сплетающихся веток берез и множество маленьких птиц, раскрывающих носики.

Мало-по-малу людей на улицах становится меньше, среди каменных домов все чаще попадаются деревянные, крашеные охрой постройки, и белый каменный город становится желтым. Он еще прибавляет шагу и скоро пересекает все кольцо деревянного желтого

города. Начинается настоящая деревенская дорога с раскатами от розвальней и скоро уводит в лес, еще совершенно по-зимнему засыпанный снегом. Вокруг только березы и среди них изредка темные елки. Тут Алпатов остановился, прислушался, и ему показалось, не синица пела, а где-то щелкнула белочка, разгрызая орех. Он оглянулся туда, где щелкнуло: то не белка, а человечек с бумажным кулком в руке догонял его и пощелкивал. Алпатов хотел его пропустить. Но человек, вероятно, тоже заинтересовался синицами, остановился и слушает. Алпатов идет вперед. Тот идет сзади в пяту и мерно щелкает. Вместо синиц Алпатов теперь представляет, будто Петр Петрович взял себе в рот орех и силится разгрызть, и его умное и доброе лицо становится тупым. Вместо синиц он видит лучшие лица разных людей с орехами во рту в обезьяньем лесу. Он прибавляет шагу, а тот сзади себе прибавляет и щелкает. Перешел на тропинку по другой стороне дороги. Человек-обезьяна переходит за ним и все щелкает. Явилась вырубка при дороге; и с ней, казалось, такая счастливая мысль: сесть на пень, будто бы отдохнуть, и человек-обезьяна мимо пройдет. Садится на пень, а человек-обезьяна тоже рядом садится и щелкает. С чудовищной злобой Алпатов наводит свои глаза в маленькие серые щелки и вдруг все понимает: за ним послали филера и самого глупого. А тот, спокойно отставляя орех, поднесенный ко рту, спрашивает:

— Сами-то чем занимаетесь?

— Чем занимаюсь? — ответил Алпатов, не сводя с него глаз, — я учу обезьян.

И, протянув руку, с наслаждением сжал ему шею. Человек-обезьяна высунул язык, уронил кулек с орехами, но успел схватиться за нож. Алпатов схватил его за руки. Нож упал в снег.

Подтолкнув его сзади коленкой, Алпатов велит ему скоро бежать. И тот убегает.

Alter ego

Певчие птицы не густо распределены в лесах, и такие все они маленькие. Нужно сделаться властелином молчания, чтобы в лесах наслаждаться пением птиц. А у Алпатова кровь звенела, время скакало: в Лесном не мог он слышать брачным голосом поющих синиц. Шесть дней он колот лед на Неве и на Выборгской стороне набивал ледники Военно-Медицинской Академии. На седьмой день он ушел на Галерную гавань и там у водоразбора сел на бревно. Пришли две пожилые женщины с ведрами. Одна была слабая, шла с ведрами и задыхалась. Другая помоложе сказала:

— Вам бы отдохнуть: к зятю поехать.

— И-и-и... милая, — ответила больная, — к зятю поехать, так ведь надо подольше пожить, а на кого же я брошу своих.

Женщина помоложе больше ничего не могла сказать, и ее тропа уходила в сторону, могла она сказать только слова: — До свидания, родная!

— Спасибо же, милая, спасибо на добром слове, — пропела больная женщина.

Серебряная волна голоса слабой женщины достигла слуха Алпатова, он встал, взял, как игрушку, в одну руку ведро, другой подержал женщину, проводил...

После того ему пришло в голову: почему не понимает Ина, что в любви его есть и такое, вот как у этих женщин между собой, и он мог бы от всего отказаться, только сохранить бы ему непомятенную память о ней...

Почему?

Тогда собственная его светлая точка совершенного спокойствия показалась где-то вдали, и он идет к прежнему месту на Невском, входит в магазин, покупает маленькую античную вазу с гением, уносит ее к себе в номер, ставит на столе, смотрит, и, на вопрос свой: почему Ина не находит в себе для него простого любовного слова, какое нашлось у этих чужих друг другу женщин у водоразбора, — получает ответ. Вазочка, теперь такая близкая, такая спокойная, своя вазочка отвечала ему: — «С Иной, как со мной, надо, чтобы она была тут возле, надо помочь ей нести свое ведро, как женщине у водоразбора, и отбросить в сторону всякий свой интерес».

Светлая точка спокойствия теперь находилась в зените. Оставалось теперь только ставить вопросы, и ответ ему там где-то готов: в эти минуты весь мир — магазин для ответов, успевай только ставить вопросы. Прежде всего, конечно, ему нужна близость: невозможно так сгустить слова на бумаге, говорить здесь с ней, как с живой. Он просто пойдет сейчас к Петру Петровичу, к ее отцу, к его другу, все расскажет ему, объяснит причину колебаний своих между работой и положением. Петр Петрович, конечно, устроит ему командировку за гидроторфными машинами, сам поедет в Карлсбад, вызовет Ину к себе из Парижа...

Друг мой, вот теперь я понимаю, что рано было мне говорить о бледной звездочке, показавшейся когда-то мне после многих мучений на рыжем от электричества петербургском небе: надо, чтобы она показалась, когда все лишнее совершенно сгорит в груди, и чтобы с этой молитвой «Ветка Палестины» уж не было связано затаенное желание приблизить к себе женщину: «Детей от Прекрасной Дамы рождать никому не дано». Бесполезны молитвы в любви к ускользающей женщине... тут нет выхода.. каждый поступок разоблачает обман и обнажает свое ничтожество до страстного и последнего желания истребить самого себя. Я бы не стал и рассказывать, конечно, эту интимную историю, если бы не взял на себя долг летописца. Не смейтесь, мой друг, эта история не случайного человека, подлежащего клиническому лечению холодными душами или теплыми ваннами в двадцать семь градусов. Это было время такое, вспомните, с чего началось, когда безумный Евгений грозил всему Петербургу: — «Ужо тебе!». И после того сколько людей предсказывали конец ему, и как

страшно потом перед концом все у нас разделилось в стране на Петербург и Россию.

Нет, мой друг, молитва не может приблизить к себе женщину живую, от которой хотелось бы иметь детей в неудержимом стремлении продолжения в детях собственной жизни.

Так хорошо было придумано у Алпатова после семидневного скитания в окрестностях Петербурга — открыться во всем полюбившему его отцу Ины и ехать вместе с ним за границу. Все было ясно теперь, и он, уверенный, пошел в департамент. Случилось, в приемной отсутствовал лаборант и не мог ни о чем предупредить Алпатова. Он сам подошел к двери его превосходительства и, как делают все чиновники, бесшумно открыл себе щелку и посмотрел в кабинет. Все было в комнате, как и раньше: за письменным столом из груды бумаг виднелись пепельные волосы Петра Петровича и возвышался его желтеющий ученый лоб. Алпатов входит. По своему обыкновению, увлеченный работой Петр Петрович, не поднимая головы, сидит с молчаливой просьбой тихо стоять и дожидаться.

Так не мало времени прошло и много хорошего пробежало в голове Алпатова. Он чувствовал себя, как мастер, совершенно овладевший формой, в которую после долгих усилий, наконец, входят его непокорные материалы. Как теперь обрадуется Петр Петрович, когда, подняв голову, увидит его, пропадавшего где-то семь дней. И как легко теперь будет все ему объяснить.

Но когда, наконец, его превосходительство поднял голову, то холод пробежал по жилам, и волосы шевельнулись: его превосходительство, поднявший голову, был не Петр Петрович! Ужас, однако, был не в том, что вместо Петра Петровича сидел кто-то другой, а что сходство этого нового человека со старым было так велико, что вслед за первою мыслью — «не тот!», явилась другая: — «а, может быть, я сошел с ума и в действительности сидит настоящий прежний Петр Петрович?».

Человек, подобный Петру Петровичу, спросил:

— Что вам угодно?

«Другой!» — поверил себе Алпатов, и ответил:

— Я к Петру Петровичу.

— Как, — сказал другой Петр Петрович, — разве не знаете вы, что Петр Петрович шесть дней тому назад скончался?

Алпатов попятился и закрыл свое лицо ладонями.

— Вы что же, — ласковым голосом спросил другой Петр Петрович, — приехали откуда-нибудь из провинции, наверно, родственник покойному?

— Нет, я так... мы работали вместе над лесной энциклопедией, сдружились.

— Так вы инженер Алпатов, alter ego Петра Петровича! Как я вас ждал! Садитесь, пожалуйста, садитесь вот тут: мы с вами закончим его дело.

И Алпатов сел на тот самый стул, где привык сидеть рядом с настоящим Петром Петровичем. Теперь ему невыносимо стало видеть такого же человека, с теми же синими и красными карандашами, но не отца Ины.

— Извините, — сказал он, — я сейчас не могу...

— Вполне понимаю, — сказал другой Петр Петрович, — вы ко мне на дом приходите вечером, как у вас было: все пойдет по-старому.

Алпатов спросил:

— Мы с Петром Петровичем все ожидали одну бумагу из департамента полиции, быть может, она за эти дни получилась?

— В этом отношении не все благополучно.

Подумал немного, и махнул рукой.

— Хотя бумага и секретная, да уж куда ни шло, ведь покойный Петр Петрович, наверное бы, ее вам показал.

И живой Петр Петрович из ящика достает отношение директора департамента полиции. Алпатов читает справку о себе самом, что в таком-то году он был одним из основателей школы пролетарских вождей, что он был судим и приговорен к тюремному заключению на год с последующей ссылкой в места не столь отдаленные; год предварительного заключения, однако, ему был зачтен, а ссылка по особому ходатайству заменена пребыванием за границей. В настоящее время выясняется самая возможность пребывания названного Алпатова в столице. Директор департамента полиции в заключение писал:

«Свидетельствуя совершенное почтение вашему превосходительству, настоящим имею честь запросить: после всего вышеизложенного находите ли возможным причислить названного инженера Алпатова к министерству?».

Алпатов равнодушно положил бумагу на стол и спросил нового Петра Петровича, на каком кладбище похоронили покойника.

— Среди литераторов, — ответил новый Петр Петрович, — его энциклопедию признали за великий труд, хорошо похоронили Петра Петровича, на Волковом кладбище.

Любовь по воздуху

Теперь на Октябрьской железной дороге в каждом пассажирском поезде, в каждом вагоне непременно кто-нибудь из москвичей назовет Ленинград мертвым городом. А тот, кто пережил его запустение, когда иные мостовые зарастали травой, начинает доказывать, будто Октябрьский проспект стал теперь таким же оживленным, каким был Невский при Гоголе.

— Тот, да не тот! — отвечает москвич.

И он прав, я там был: около четырех часов вечера на бывшем Невском проспекте движение, пожалуй, не меньше прежнего, да вот нет чего-то, назовем это, как Гоголь, мечтой, из-за чего у него

маленький задумчивый чиновник попадает под лошадей. Нынешний гражданин, хотя и не богаче гоголевского чиновника, да зато осмотрительней, и у него уже нет в голове прежних мыслей о «Медном Всаднике».

Не знаю верно, сколько погубло бумаг в революцию, пусть все цело и хранится в архивах. Но с этим никто уж спорить не будет: бумаги в архивах сами по себе мертвые существа, и нужен особый творческий человек, чтобы они показались нам интересными. А тогда были такие живые бумаги, что в своем самопроизводстве собирали людей часто мертвых, и они нам казались живыми.

Белые ночи такие же и теперь прозрачные, но линия дворцов иначе выглядит теперь нам белою ночью. Бывало, каким-то Евгением из «Медного Всадника» проходишь по гранитному берегу и, как на болоте бывает, видишь возле себя белую лилию и не можешь достать, так бывало тогда с плененной красотой в Петербурге, — манит красота, а сам грозишься, как Евгений: «ужо тебе, Петра творенья!».

Все это теперь кончилось. Я иду гражданином, любой дворец мне открыт: уплатив двадцать копеек за вход, а то и вовсе бесплатно, я могу любоваться вещами царей и великих князей. Но я ничего не нахожу себе в этих дворцах и думаю о мертвой скуке их прежних обитателей. Сбылся мой старый сон, много раз мне повторявшийся: будто бы весь город-призрак исчез, а я хожу по болоту наедине с осушительной затеей Петра и слушаю, как уцелевшие где-то куранты свидетельствуют совершенное почтение давно исчезнувшему высокопревосходительству.

Этот сон тогда многие видели, но Алпатову было это не ночью, а днем, при полном блеске весны света, на Волковом кладбище. Оказалось, что этот город мертвых, из-за того, что каждому мертвецу места нужно очень немного, гораздо более населен, чем город живых. В тесных проходах он даже при помощи сторожа не может найти свежую могилу действительного статского советника Петра Петровича Ростовцева.

— А, может быть, вам надо могилу не Ростовцева, действительного статского советника, — спросил сторож, — а писателя Ростовцева?

Тогда все и объяснилось: Петра Петровича по его желанию и признанию за ним большой заслуги в деле создания лесной энциклопедии похоронили на литературных мостках. Там Алпатов скоро находит могилу Белинского, Тургенева, читает благоговейные надписи молодежи карандашом на чугуне и железе, рассматривает букетики засохших цветов. Наконец, внимание его останавливает фигура издателя энциклопедического словаря Павленкова. Ему показалось, издали, будто на животе у Павленкова было выбито слово: энциклопедия. Вблизи он рассмотрел — бюст помещался на книге, и слово было выбито на корешке ее, но не на животе. Все равно

первое впечатление не прошло, и он покачнулся от боли, представляя в будущем и себя самого с такою же надписью на животе стоящим среди настоящих творцов.

Вот когда и явилось ему это, как многим, колеблющееся видение города-призрака, и захотелось, как безумному Евгению, скорее бежать куда-то к своему домику. Чудом могло, конечно, случиться, что Ина там ожидает его. Но и без чуда возможно: она приехала, узнав о смерти отца, она раскаялась в своем жестоком письме и теперь дожидается его в номере, как уже было тогда с ней в Париже. Но, самое главное, кажется ему, что он верит: ведь нужно только горчичное зерно веры, чтобы гора сдвинулась и подошла...

Что это, неужели он молится о чуде у свежей могилы?

Друг мой, в любви к женщине бессильна молитва, нельзя читать утром, вечером, ночью и достигать мало-по-малу сближения: никаким трудом, никаким талантом не возьмешь свою возлюбленную, если только нет решения в природе, в этом от нас независимой. Впустую все молитвы в любви, самые усердные, даже до кровавого пота, и такие, что с ними можно бы каменную гору обнажить со всеми драгоценными недрами. Волоска не шевельнут эти молитвы на голове желанной женщины, никогда не дойдут до нее даже во сне: в любви нет усердной молитвы, все напрасно, если сойтись, как говорят, не с у д ь б а.

Я вспоминаю Гришу, когда он приходил играть к нашему балкону на своих тростниковых ж а л е й к а х (с рожком). Был я такой маленький, что совсем не понимал не только любви, но даже в движении стрелки обыкновенных стенных часов. Боюсь сказать, было ли мне два года, но знаю наверно, не более трех. Мы жили в небольшом каменном доме с железным ажурным балконом. На этой тихой улице в каждом домике плела кружевница, и через открытые окна к нашему балкону постоянно неслись особенные мелодичные звуки кленовых коклюшек. Только теперь, через десятки лет я угадываю все значение этих звуков нашей улицы. Как настоящая тишина бывает много сильнее, если в ней слышится неустанный сверчок, так и затаенный человек, исполненный трепетной силы, показывается мне на нашей скромной улице, когда я представляю себе звуки кленовых коклюшек, перебираемых пальцами девушек, и я говорю себе: человек везде человек.

Каждое утро к нашему балкону приходил Гриша и начинал играть на жалейках. Было хорошо его слушать, но я не понимал тогда всего значения этой музыки. Нам давали по медной монете. Мы бросали ему с балкона в шапку. Он кланялся и уходил за угол, дальше и дальше, играл, и мы все слушали, пока не оставались у нас на улице только звуки осиротелых кленовых коклюшек.

Не знаю, может быть, я никогда бы и не догадался о молитве любви в этих звуках, если бы вдруг мелодию не оборвали грубой силой: однажды во время игры подошел городской, взял Гришу за

ворот и увел его от нас навсегда. Я очень хорошо помню это предчувствие, что Гришу увели навсегда. Мы несколько дней все-таки выходили на балкон, все-таки ждали, но предчувствие конца не обмануло нас: музыка исчезла навсегда и даже так странно сошлось, что потом я, бродя много по всей стране, никогда не слышал больше нигде игры на жалейках.

Когда Гришу увели навсегда, и музыка его перестала, я понял ее. Никто из старших, однако, не догадывался, почему я плачу по ночам: мне было жалко Гришу, и я о нем проплакал много ночей.

После, когда я стал все понимать, не раз мне передавали историю любви этого Гриши, десятки лет потом эта маленькая история повертывалась ко мне своей то грустной, то смешной стороной. Только никто не разделял мои чувства, я это очень тайл, все смеялись, не было ни одной души со мной, и даже брат, с кем вместе мы слушали музыку и вместе горевали, потом все совершенно забыл. Старушка няня, всегда выходившая тогда с нами на балкон слушать Гришу, не могла вспомнить, как городской тогда на ее глазах увел Гришу, и на вопрос мой: — За какую вину увел городской Гришу? — отвечала равнодушно:

— Что-нибудь с б о н д и л.

Я остался на всю жизнь наедине с этим для всех ничтожным событием, и оно так затронуло мое маленькое трехлетнее сердце, что чужой рассказ о смешной любви, мне кажется, я могу передать, как будто сам был кровным свидетелем и почти участником для всех потешного романа по воздуху.

Он пел тенором на правом клиросе собора. На левом пели приютские девочки, и с ними взрослая дочь соборного протоиерея, отца Потамия Махова. В городе постоянно смеялись, пересказывая, как местный курье з, что соборный протопоп, отец г и п п о - Потамий, назвал свою дочь Му з о ю. Гриша, уличный оборванец, влюбился в эту совершенно недоступную ему дочь протоиерея и сделал ее своей му з о й. Он был так прост, что о любви своей кому-то рассказал, и это дошло до ужасно смешливых наших купцов. Смеялись над ним: за такого оборвыша не пойдет даже последняя постирушка Феша Ламская, а не то что дочь соборного протопопы Махова. Гриша широко открыл удивленные глаза и говорил купцам:

— Мне этого и не надо.

— Врешь, — говорили купцы, — подсолнухи ты любишь?

Гриша отвечал простодушно:

— Подсолнухи я люблю.

Купцы ему:

— А ежели ты их любишь, то и грызешь.

Но Гриша возмущался, и однажды сказал:

— Я люблю по воздуху.

Вот с этого разу и пошло по всему городу: Гриша влюбился по воздуху в дочь соборного Гиппототама Музу. Гимназисты и гимна-

зистки переменили обычное условное название любви платонической и называли это коротко по воздуху. Мальчишки толпами бегали за Гришей и совсем задрезнили.

Но самое главное началось, когда Гриша надумал своей Музе писать и в своих письмах переменял свою фамилию Отрезкова на Отрепьева. Верней всего, он взял это, как украшение себе, из любви самозванца Григория Отрепьева к Марине Мнишек. Все свои письма вначале он подписывал:

Известный Вам
Григорий Отрепьев.

Вскоре Муза вышла за дьякона Фортификантова в Лебедянь. Гриша писал в Лебедянь матушке Музе Потамьевне Фортификантовой, но в этих письмах подписывался уже не как известный, а как бывший:

Ваш бывший
Григорий Отрепьев.

Все эти письма, обежав Лебедянь, возвращались к соборному протопопу и у нас в городе переходили из рук в руки. Все покатывались со смеху, и гимназист гимназистке в то время писал или «Ваш известный», или «Ваш бывший».

Последнее письмо Гриши не дошло по адресу и хранилось у швейцара Орловской гостиницы, и он часто потешал им всех, кто хорошо давал ему на чай. Последнее письмо из романа по воздуху было адресовано не Музе Потамьевне Фортификантовой, а Пресвятой Пречистой Деве Марии и подписано: не известный, не бывший, а совсем по-новому:

Будущий
Григорий.

Друг мой, звуки жалейки с рожком были прекрасны, я не могу их забыть. Это была великая молитва любви, хотя я знаю: в любви к женщине все молитвы бессильны.

— Верю, верю, верю! — заговаривал себя Алпатов. И уверился в этом, что Ина дожидается его. Он без колебания спросил швейцара:

— Меня ожидают?

Швейцар открыл ему дверь широко и сказал:

— Да, вас ожидают.

Двери комнаты Алпатова были открыты. По одну сторону стола сидел жандарм, по другую маленький человек в штатском. Алпатов сразу узнал маленького с серыми щелками вместо глаз. Не хватало, видно, ему кулечка с орехами, и вместо этого он вертел в руке вазочку с гением.

Наводнение в Ленинграде

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ

Начиналось, как и все на свете,
Как и полагалось начинать:
Вышел ветер, тихий, добрый ветер,
Вышел ветер, как дитя, играть.

И сначала, пролетев, как велено,
Застревающий между перил,
Неожиданно самоуверенно
Он, затрепетав, заговорил.

Голос бился, как у агитатора,
Запрокидывалась голова,
И от моря, отражая матово
Скаты, набережные и статуи,
По команде ветра, так, пошатываясь,
Подошла к перилам глуховатая
И подслеповатая Нева.

И мгновенно люди стали — стран-
никами,
И сводила каждого с ума
Черная, припадочная паника,
Заматавшаяся по домам.

И минуты за минутами
Проходили, как туман и дым,
И минуты измерялись футами
Ветром нагнетаемой воды.

Четверти аршина нехватало,
Чтоб через перила, как орда,
Вышла на берег, заклокотала
Эта разъяренная вода.

Город, город,
И его бы смыло
Затопило б каждую черту...

...Но переломился о перила
Ветер на мосту.

Ветер умер...
И едва заметно
Трупом закачался на волнах,
И, как гром, ударила над ветром
Оглушительная тишина.

Черному предательству не веря,
Не могла никак унять Нева
Дикого и пенистого зверя,
Разрывающего рукава.

Не желающего покориться,
Лихорадочного, как струна,
Из больной, панической столицы
Еле-еле увела она.

И, обманута, ушла обратно,
Повернула прочь—
Добивать у моря, у Кронштадта,
Эту неудавшуюся ночь...

Приключение

Рассказ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

Перед глазами Дванова, привыкшими к далеким горизонтам, открылась узкая долина какой-то древней, давно сохшей реки. Долину занимала слобода Петропавловка—огромное стадо голодных дворов, сбившихся на тесном водопое.

На улице Петропавловки Дванов увидел валуны, занесенные сюда когда-то ледниками. Валунные камни теперь лежали у хат и служили сиденьем для задумчивых стариков.

Эти камни Дванов вспомнил, когда сидел в петропавловском сельсовете. Он зашел туда, чтобы ему дали ночлег и чтобы написать статью в губернскую газету. Дванов написал, что природа не творит обыкновенного, поэтому у нее выходит хорошо. Но у природы нет дара, она берет терпением. Из редких степных балок, из глубоких грунтов надо дать воду в высокую степь, чтобы основать в степи социализм. Охотясь за водой, — сообщал Дванов,—мы одновременно попадем в цель своего сердца—нас поймут и полюбят равнодушные крестьяне, потому что любовь не подарок, а строительство.

Дванов умел интимное соединять с общественным, чтобы сохранить в себе влечение к общественному.

Дванова начала мучить уверенность, что он уже знает, как создать социалистический мир в степи, а ничего еще не исполняется. Он не мог долго выносить провала между истиной и действительностью. У него голова сидела на теплой шее, и что думала голова, то немедленно превращалось в шаги, в ручной труд и в поведение. Дванов чувствовал свое сознание, как голод,—от него не отречешься и его не забудешь.

В подводе совет отказал, и мужик, которого все в Петропавловке звали богом, указал Дванову дорогу на слободу Каверино, откуда до железной дороги двадцать верст.

В полдень Дванов вышел на нагорную дорогу. Ниже лежала сумрачная долина тихой степной реки. Но видно было, что река умирала:

ее пересыпали овражные выносы; и она не столько текла, сколько расплывалась болотами. Над болотами стояла осенняя тоска. Рыбы спустились ко дну, птицы улетели, насекомые замерли в щелях омертвевшей осоки. Живые твари любили тепло и раздражающий свет солнца, их торжественный звон сжался в низких норах и замедлился в шопот.

Дванов верил в возможность подслушать и собрать в природе все самое звучное, печальное и торжествующее, чтобы сделать песни — мощные, как естественные силы, и влекущие, как ветер. В этой глуши Дванов разговорился сам с собой. Он любил беседовать один в открытых местах. Беседовать самому с собой — это искусство, беседовать с другими лицами — забава. Оттого человек идет в общество, в забаву, как вода по склону.

Дванов сделал головой полукруг и оглядел половину видимого мира. И вновь заговорил, чтобы думать:

«Природа—основа дела. Эти воспетые пригорки и ручейки — не только полевая поэзия. Ими можно поить почву, коров и людей и двигать моторы».

В виду дымов села Каверино дорога пошла над оврагом. В овраге воздух сгущался в тьму. Там существовали какие-то молчаливые трясины и, быть может, ютились странные люди, отошедшие от разнообразия жизни для однообразия задумчивости.

Из глубины оврага послышалось сопение усталых лошадей. Ехали какие-то люди, и кони их вязли в глине.

Молодой отважный голос запел впереди конного отряда.

Есть в далекой стране,
На другом берегу,
Что нам снится во сне,
Но досталось врагу...

Шаг коней выправился. Отряд хором перекрыл переднего певца, но по-своему и другим напевом:

Кройся, яблочко,
Спелым золотом,
Тебя срежет совет
Серпом, молотом...

Одинокий певец продолжал вразлад с отрядом:

Вот мой меч и душа,
А там счастье мое...

Отряд смял припевом конец куплета:

Эх, яблочко,
Задушевное,
Ты в паек попадешь,—
Будешь прелое...
Ты на дереве растешь
И дереву кстати,
А в совет попадешь
С номером-печатью...

Люди враз засвистали и кончили песню напропалую:

И-эх, яблочко,
Ты держи свободу:
Ни советам, ни царям,
А всему народу...

Песня стихла. Дванов остановился, интересуясь шествием в овраге.

— Эй, верхний человек! — крикнули Дванову из отряда. — Слазь к безначальному народу!

Дванов оставался на месте.

— Ходи быстро! — звучно сказал один густым голосом, вероятно, тот, что запевал. — А то считай до половины—и садись на мушку!

Дванов не сообразил, что ему надо делать, и ответил, что хотел:

— Выезжайте сами сюда — тут суше! Чего лошадей по оврагу морите, кулацкая гвардия!

Отряд внизу остановился.

— Никиток, делай его насквозь!—приказал густой голос.

Никиток приложил винтовку, но сначала, за счет бога, разрядил свой угнетенный дух:

— По мошонке Иисуса Христа, по ребру богородицы и по всему христианскому поколению — пли!

Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки оврага на дно, будто сбитый ломом по ноге. Он не потерял ясного сознания и, когда катился вниз, слышал страшный шум в земле, к которой на ходу прикладывались поочередно его уши. Дванов знал, что он ранен в правую ногу — туда впилась железная птица и шевелилась колкими остями крыльев.

В овраге Дванов схватил теплую ногу лошади, и ему стало не страшно у этой ноги. Нога тихо дрожала от усталости и пахла потом и травой пройденных дорог.

— Страхуй его, Никиток, от огня жизни! Одежда твоя.

Дванов услышал. Он впился в ногу коня обеими руками, нога превратилась в напирющее живое тело. У Дванова сердце поднялось к горлу, он вскрикнул в беспомощности того ощущения, когда жизнь из сердца переселяется на кожу, и сразу почувствовал облегчающий, удовлетворительный покой. Природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был создан: семя размножения. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом.

Подошел Никиток и попробовал Дванова за лоб: тёпел ли он еще? Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающую ладонь. Но Дванов знал, что проверял Никиток, и помог ему:

— Бей в голову, Никита. Расклинивай череп скорей!

Никита не был похож на свою руку — это уловил Дванов, — он вскрикнул тонким паршивым голосом, без соответствия покою жизни, хранившемуся в его руке.

— Ай ты цел? Я тебя не расклиню, а разошью: зачем тебе сразу помирать, — ай ты не человек? Помучайся, полежи, — спрехвала помрешь прочней!

Подошли ноги лошади вождя. Густой голос резко осадил Никиту:

— Если ты, сволочь, будешь еще издеваться над человеком, я тебя самого в могилу вошью. Сказано — кончай, одежда твоя. Сколько раз я тебе говорил, что отряд — не банда, а анархия!

— Мать жизни, свободы и порядка! — сказал лежащий Дванов. — Как ваша фамилия?

Вождь засмеялся:

— А тебе сейчас не все-равно? — Мрачинский!

Дванов забыл про смерть. Он читал «Приключения современного Агасфера» Мрачинского.

— Вы писатель? Я читал вашу книгу. Мне все-равно, только книга ваша мне нравилась.

— Да пусть он сам обнажается! Что я сдохлым буду возиться, его тогда не повернешь! — соскучился ждать Никита. — Одежда на нем в талию, всю порвешь и прибýtка не останется.

Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого, действительно, без порчи платья не разденешь. Правая нога заостенела и не слушалась поворотов, но болеть перестала. Никита заметил и товарищески помогал.

— Тут, что-ль, я тебя тронул? — спросил он, бережно взяв ногу Дванова.

— Тут.

— Ну, ничего, — кость цела, а рану салом затянет, ты — парень не старýй. Родители-то у тебя останутся?

— Останутся, — ответил Дванов.

— Пушай остаются, — говорил Никита. — Поскучают и забудут. Родителям только теперь и поскучаться! Ты — коммунист, что ль?

— Коммунист.

— Дело твое: всякому царства хочется!

Вождь молча наблюдал. Остальные анархисты возились у коней и закуривали, не обращая внимания на Дванова и Никиту. Последний сумеречный свет погас над оврагом, — наступила очередная ночь.

— Так вам понравилась моя книга? — спросил вождь.

Дванов был уже без плаща и без штанов. Никита клал их в свой мешок.

— Я уже сказал, что да, — подтвердил Дванов и посмотрел на преющую рану на ноге.

— А сами-то вы сочувствуете идее книги — вечному анархизму, так сказать, бродячей душе человека? — допытывался вождь.

— Нет, — заявил Дванов. — Идея там чепуховая, но написана книга сильно. Так бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона: понимали все наоборот и вышло замечательно.

Вождь от удивления привстал на седле:

— Это интересно... Никиток, мы возьмем коммуниста до Лиманного хутора, там его получишь сполна.

— А одёжа? — огорчился Никита.

Помирился Дванов с Никитой на том, что согласился доживать голым.

Вождь не возражал и ограничился указанием Никите:

— Смотри, не испортить мне его на ветру! Это — большевистский интеллигент, редкий тип.

Отряд тронулся. Дванов схватился за стремя лошади Никиты и старался итти на одной левой ноге. Правая нога сама не бодела, но если наступить ею, то она чувствует снова выстрел и железные остья внутри.

Овраг шел вглубь степи, суживался и поднимался. Тянуло ночным ветром; голый Дванов усердно подскакивал на одной ноге, и это его грело.

Никита хозяйственно перебирал белье Дванова на седле.

— Обмочился, дьявол! — сказал без злобы Никита. — Смотрю я на вас: прямо, как дети малые! Ни одного у меня: чистого не было: все моментально гадят, хоть в сортир их сначала посылай... Только один был хороший мужик, комиссар волостной: бей, говорит, огарок, прощайте, партия и дети. У того белье осталось чистым. Вразумительный мужик!

Дванов представил себе этого вразумительного мужика и сказал Никите:

— Скоро вас расстреливать будут, совсем с одеждой и бельем. Мы с покойников не одеваемся.

Никита не обиделся:

— А ты скачи, скачи, знай! Балакать тебе время не пришло. Я, брат, подштанников не попорчу, из меня не высосешь.

— Я глядеть не буду, — успокоил Дванов Никиту. — А замечу, так не осужу.

— Да и я не осуждаю, — смутился Никита. — Мне что? Мне товар дорог.

До Лиманного хутора добрались часа через два. Пока анархисты ходили говорить с хозяевами, Дванов дрожал на ветру и прикладывался грудью к лошади, чтобы согреться. Потом стали разводиться лошадей, а Дванова оставили одного. Никита, уводя лошадь, сказал ему:

— Девайся, куда сам знаешь. На одной ноге не ускачешь.

Дванов подумал скрыться, но сел на землю от немоци в теле и заплакал в деревенской тьме. Хутор совсем затих, бандиты расселись и легли спать. Дванов дополз до сарая и залег там в про-

сяную солому. Всю ночь он видел сны, которые переживаешь глубже жизни и поэтому не запоминаешь. Проснулся он в тишине долгой, устоявшейся ночи, когда, по легенде, дети растут. В глазах Дванова стояли слезы от плача во сне. Он вспомнил, что сегодня умрет и обнял солому, как живое тело.

Он снова уснул.

Никита утром еле нашел его и сначала решил, что Дванов мертв, потому что он спал с неподвижной сплошной улыбкой. Но это казалось оттого, что не улыбающиеся глаза Дванова были закрыты. Никита смутно знал, что у живого лицо полностью не смеется: что-нибудь в нем всегда остается печальным — либо глаза, либо рот.

Сады

АНТОН ПРИШЕЛЕЦ

Земля и сад мой — все в цвету,
И тихий пруд встает осокой.
Я чувствую — и я цвету,
И наливаюсь крепким соком.

Так легок шаг мой на заре,
Такая песня в звонком теле, —
Ах, хорошо итти без цели
И в ранних зорях загореть!

В расстегнутой косоворотке,
Смеющимся и молодым,
Все той же праздною походкой
Вхожу в соседние сады.

Они кругом, сады земные,
Я только гость их, я — земной.
И в каждом оброну зерно
И сочные сорву плоды их.

На рассвете

А. ЯСНЫЙ

Еще столетие до утра
В этой стране бесцветной.
Налево свистит полосатый мрак,
Направо пляшут скелеты.

Не знаю, как я попал сюда:
Кручи, уступы, скаты;
Бурого цвета шипит звезда:
— Ты не уйдешь обратно.

— Влезь! — умоляет меня гора,
— Плюнь! — болото советует,
— Влево! — дудит полосатый мрак,
— Вправо! — стучат скелеты.


Хмурое дерево за поворотом
Встало — не обойдешь.
Тогда вынимаю хитрой работы,
Немецкой работы, нож.

И с бешенством, что закипает,
Когда не очень везет,
Раз ударяю,
И два ударяю,
Пока не теряю счет.

Но дерево словно слоновой кости,
Насмешливое, гудит.
И я просыпаюсь в поту от злости,
Что дерево устоит.

Зеленоватый, из ближней рощи,
Поэтами не воспет,
Такой, что можно его на ощупь,
Влезает в окно рассвет.

И кровь, упорством пружиня жилы,
Смыкает в улыбку рот.
А сны...
Так сколько мне снов не снилось,
Случается наоборот.



Жилтоварищество № 1331

МИХ. ВОЛКОВ

(Окончание¹⁾)

ХІІІ

Жильцами кв. № 6 заявлено, что гр. Палкин держит в комнате заболевшего скарлатиной ребенка.

Доложил председателю о происшедшем, Парфен Сильвестрович через дверь, из опасения занесения заразы, приказал немедленно принять соответствующие меры.

Вызвал санитарного врача. Гр. Палкин не подчинился требованию врача отправить ребенка в больницу. В доме началась паника. Жильцы, подобно потревоженной муравьиной куче, забегали взад-назад по лестницам, возмущаясь поступком гр. Палкина. Больше всех неистовствовала одна дама, в возрасте, при котором мудрые отцы инквизиции, обычно, отправляли женщину на костер. В нашем упрямом ведомстве служил чиновник на должности архивариуса, имевший чин 12-го класса, сей чиновник, не состоя в законном браке, переменил более дюжины различных мастей женщин, исполнявших обязанности жены, чем вызвал замечание его превосходительства. На что сей чиновник клятвенно уверял, что после сорока лет всякая женщина принимает облик ведьмы. С чем его превосходительство вполне согласился, что, может быть, и явилось причиной развода с женой, полной брюнеткой, и замены таковой худенькой востроносой блондинкой...

Вышеназванная дама останавливала всякого, встретившегося ей жильца, с просьбой, посмотреть на ее язык, на предмет присутствия на нем заразы. Жильцы стали избегать встреч с нею, тогда она повадилась беспокоить меня, являясь в приемные часы в конторку.

— Андрей Иванович, поглядите на мой язык!

¹⁾ См. «Новый Мир», № 5, с. г.

При этом вытягивала язык. Судя по языку сей дамы, я понял, почему можно легко перенести любое режущее, колющее оружие, но не женский язык.

Преодолевая отвращение, я делаю вид, что внимательно рассматриваю.

— Что вы видите?

— Что-то есть.

— Боже мой!.. Налет?

— Нет, кажется, остатки непережеванной картошки.. Может быть, и налет. Придется, во избежание заражения других, отправить вас в больницу.

— Ради всего святого, не губите меня... В больнице я погибну... Там меня уморят...

— Не могу, гражданка.. Я обязан выполнить требуемые санитарные правила.

Я хочу позвонить по телефону. Гражданка хватает меня за руки, не дает взять трубку. На меня неприятно действует боязнь этой дамы за свою жизнь и полнейшая безучастность по отношению к другим. Я грубо отталкиваю ее от телефона. Она всеми силами старается мешать мне говорить. На что даже обратили внимание на станции, сделав замечание, что в нетрезвом состоянии разговор по телефону воспрещается. Все же я сумел вызвать карету для перевозки больных.

Вечером за больной прибыл автомобиль. Мне пришлось проводить санитаря в комнату больной. Санитар спросил:

— Где ребенок?

Гражданка завизжала. Санитар попытался утешить.

— Не убивайтесь, гражданка, я очень сочувствую вашему материнскому чувству, но... что же делать?..

Видя ошибку санитаря, я поправляю его:

— Собственно, гр. санитар, я вызвал вас не для ребенка, а для сей гражданки.

— У ней скарлатина? Да вы шутите, гражданин?

— Ничего подобного.

— Вы знаете — в городе эпидемия.. Каждую минуту может умереть без помощи ребенок, а вы с глупостями... Как ваша фамилия? Хохолков? А? Колосков, хорошо... Вот что, гр. Колосков, вам придется отвечать за неправильный вызов.

— Гражданин санитар.

— Не могу.

Когда же мы спускались по лестнице, он немного смягчился.

— Вы, гр. Колосков, не упускайте гражданку из виду. У ней, вероятно, мания психоза скарлатины. Может быть, придется отправить в психиатрическую больницу.

В дополнение пришлось выслушать от председателя выговор через дверь.

XIV

Зима в этом году раскапризничалась: вначале бесснежная, потом спохватилась, стараясь наверстать упущенное, так пошла засыпать снегом, что дворники не успевали сгребать, — приходилось им в помощь нанимать поденных рабочих. Милиция то-и-дело штрафовала за неочищенный во-время тротуар. Не прошло месяца, как стоимость уборки значительно превысила сметные предположения.

Я смотрел за накладывавшими снег возчиками. Сии мошенники всегда злоупотребляли отсутствием надзора, накладывая колымаги лишь наполовину. На мое вежливое указание накинуть еще лопатки по две на каждый воз они ответили мне неприличной руганью. Советясь прохожих, я отошел от них к парадному. В этот момент из парадного выходил гр. Буткевич, я сделал вид, что чрезвычайно поглощен уборкой снега. Он окликнул.

— Это вас, Андрей Иванович, так возчики благодарят?..

Я развел руками.

— Совершенно правильно, не стоит на этих хамов внимания обращать... А я к вам, дорогой, не раз заходил, да все не застаю дома... У меня имеется для вас очень и очень приятная новость... Вы знаете, мадам Горохольская разрешилась от бремени... мальчиком... Очень хороший мальчик... Говорят, имеет очень большое сходство с отцом... Советую вам сходить навестить ее... Она находится в 7 городском приюте... Вы не знаете, где он находится? Я сейчас сообщу адрес... у меня записано... Ах, бог мой, куда же я его девал... Впрочем, некоторые жильцы нашей квартиры были у ней, знают... Я сегодня же извещу вас...

— Послушайте, гр. Буткевич, почему вы все время пристаёте ко мне с мадам Горохольской?.. Какое мне дело до нее и до ребенка?

Он погрозил пальцем.

— Не отказывайтесь... Знаем, чье мясо кошка съела.

Меня возмутило его лицемерие:

— Довольно вам юродствовать!

Гр. Буткевич сразу переменил тон:

— То-есть, как это юродствовать?.. Да как вы смеете, плебей несчастный, мне, подполковнику 247 Бутырского полка, так говорить?

— Извините, далеко не плебей, а чиновник, состоявший на государственной службе.

— Начхал я на ваши гражданские чины!

— А я так же на военные!

Он побагровел. На тротуаре, привлеченные шумом, останавливаются прохожие. Я опомнился, и, чтобы не быть посмешищем других, проскользнул в парадное. Гр. Буткевич остался очень доволен своей победой, — до меня донеслось его сообщение остановившимся гражданам:

— Скажите, какой негодяй, ни одной женщины в доме, не обесчестив, не оставит.

Кто-то посоветовал:

— Морду надо бить!

Остальных слов гр. Буткевича я не слышал, ибо поднялся уже на верхнюю площадку лестницы.

XV

С поселением Сони моя комната начинает приобретать некоторую домовитость. Немногочисленные вещи получили надлежащее им место и назначение. Она даже смастерила над электрической лампочкой нечто в роде абажура. Комната, наполненная розовым светом и звонким смехом Сони, получила хотя малый намек на семейный уют, неотступно пребывавший в моих мечтаниях.

По вечерам я всегда занимался подсчетом квитанций, выданных в получение квартплаты. Соня, склонившись стриженной головкой, готовилась к зачетам. Временами я останавливаю руку на счетах, заглядываю в сторону Сони. Вместо цифр мои мысли заполнялись воспоминаниями о Лизе. И чем дольше я смотрел на Соню, тем больше она принимала облик Лизы. Вместо коротко остриженной русой головы я видел черные, заплетенные в два тугих жгута косы Лизы. Если Соня поднимала голову от книги и встречалась со мной серыми глазами, то глаза ее темнели в черные глаза Лизы, в улыбке Сони я видел улыбку Лизы. Звонкий раздавшийся смех Сони приводил меня в себя.

— У вас, Андрей Иванович, сейчас был вид мокрой курицы. Вы что-то шептали... Уж не влюблены ли в кого?

— Да, Соня, был когда-то влюблен.. То было в прошлом...

— Раз в прошлом, так значит несчастная любовь... Не можете ли рассказать мне печальную повесть вашей любви... Я никак не могу понять, как это люди могут растрчивать время на подобные пустяки.

Я давно имел потребность пред кем-либо раскрыть мою наболевшую душу, охотно рассказал Соне про любовь к Лизе, и мои мечты о семейном счастье. Соня перебила меня:

— Хотите, Андрей Иванович, я нарисую вам картину вашего семейного счастья... Вот вы после разных ненужных условностей, обрядов, наконец, сочетались с предметом ваших стремлений законным браком. И, как сыр в масле, утопаете в семейном благополучии... А вот и картина: вы сидите в окружении вашего потомства, за столом, на другом конце, против самовара... Семью без самовара иначе изобразить нельзя... Итак, значит, сама производительница семьи сидит против самовара. Сквозь засаленный капот выпирают статьи дородной самки... Вы углублены в чтение, изредка отрываетесь, чтобы прикрикнуть на расшалившихся детишек, или поделиться с дражайшей половиной впечатлениями от прочитанной в газете статьи... Она озабочена тем, чтобы налить опорожненный вами стакан... Временами

вы самодовольным взглядом обводите комнату, как-будто впервые видите: буфет, скатерть, цветы на окне, клетку с какой-то птичкой...

— Да к этому я всю свою жизнь стремился, но несчастные обстоятельства...

— Погодите, я еще не кончила... Особенно же тупейшее благодушие нападает на вас в праздники... Возвратившись от обедни, проголодавшийся, вы жадно принохиваетесь к вкусно пахнущему пирогу на столе... Этот пирог был недельным мечтанием вашей супруги... Всю неделю ум ее занят был, как бы не досолить или не пересолить пирог... Из-за этого же пирога и началась семейная ссора... Только ссора несколько и встряхнет болото семейного отупения.

— Отдых в семье после трудов—призвание каждого гражданина.

— Эх вы, призвание... Да разве в этой пошлятине сущность жизни!.. Когда люди борются, стремятся создать общую красивую жизнь, вы сидите, забившись в свою скорлупку, и вам дела нет ни до борьбы, ни до проводимых ими идей... А они хотят разрушить китайскую стену, окружающую семью, выпустить на волю одурелых от кухонного чада, пеленок матерей и отцов, изнуренных непосильными требованиями мещанской семьи...

Я видел в словах Сони навеянные духом времени разрушительные мысли о семье, хотел ей указать на семью, как результат выполнения назначения женщины, требуемого богом и природой. Она устало зевнула.

— Когда много приходится заниматься, так устаешь... А у меня еще пять не сданных зачетов... Завтра по математике... Пора спать...

XVI

Сколько раз я ставил себе за правило: никогда не подписывать в ведомостях на квартирную плату итоги чернилами, впредь до окончания расчетов с жильцами. Зачастую во время получения квартплаты приходилось вносить изменения в исчисления суммы. При представлении на подпись председателю, за каждую перечеркнутую цифру следовало замечание и приказание снова переписать. Поэтому я старался держать итоги в карандаше. За последние два месяца в ведомостях никаких изменений не последовало, так что я рискнул и на текущий месяц вывести итоги чернилами.

В приемный день я только что развернул чистую, не измятую ведомость, как обновить таковую первым явился пресловутый гр. Буткевич. Я приготовился выписывать ему квитанцию, он остановил.

— Минутку, Андрей Иванович, обождите... Видите ли, моей бывшей жене снижена заработная плата, поэтому и следуемые мне алименты снижаются... Так что вы на этот месяц исчислите по новому расчету.

Он протянул мне справку о заработке жены и исполнительный лист на алименты. Мне было досадно за испорченную из-за него vedo-

мость, а не менее неприятно присутствие сего гражданина. Он же, развалясь на стуле, как-будто между нами недавней ссоры и не было, начинал разговор.

— Нда-а, знаете, Андрей Иванович, мне кажется, что мадам Горохольская после родов больше похорошела... Как вам кажется?

Я не отвечал. Он продолжал:

— Мне еще тогда казалось... помните, когда мы ей любовались в ванной... что вы к ней равнодушны... Да что же я о пустяках болтаю, о главном ни слова... Дело в следующем: мадам Горохольская просила вписать ее ребенка в жильцы нашего дома... Вот и справочка о рождении... Затем... Скажите, дорогой, сколько вы получаете жалованья?

Я взял у него справку на ребенка.

— Мое жалованье вас не касается. И к тому же я сейчас очень занят.

— Вот именно что касается... Как вы увидите из дальнейшего, даже очень касается... Дело в следующем: моей доверительницей, мадам Горохольской, поручено мне переговорить с вами, в какой сумме вы согласны добровольно платить алименты, дабы не доводить дело до суда?

— Алименты? Кому?

— На содержание рожденного ею от вас ребенка.

— То-есть как?

— А так... Любите кататься, любите и саночки возить.

Его наглость вывела меня из себя:

— Прошу вас, гражданин, немедленно освободить сие помещение от вашего присутствия.

При этом я судорожно схватился за стоявшую на столе тяжелую лампу. Гр. Буткевич, поняв серьезность моего намерения, с быстротой, несвойственный его возрасту, выскочил из двери и только лишь на значительном расстоянии оглянулся.

— Заплатите через суд.

Я приподнял лампу. Гр. Буткевич исчез.

XVII

Хлопоты с уборкой снега и личные неприятности отвлекли меня от текущей работы: я пропустил срок представления фининспектору сведений о доходах жильцов. По моей оплошности домоуправление получило предписание: представить в спешном порядке и к тому вдобавок наложен штраф. Целая ночь, вместо сна, ушла на искупление моей вины. Утром к моменту открытия канцелярии я отправился со списком.

В парадном мне попался гр. Палкин, несший гробик.

— Уже? — спросил я.

Он кивнул головой.

К довершению моих неудач у фининспектора был приемный день для уплаты патентного сбора торговцами, мне пришлось почти весь день простоять в очереди. Возвратившись домой, я услышал от Сони, что председатель присылал с распоряжением немедленно в комнату, где умер ребенок, произвести дезинфекцию. Я тотчас же отправился к гр. Палкину переговорить по этому поводу.

Еще не входя в комнату гр. Палкина, услышал плач. Женский плач, вой собаки всегда нагоняют тоску. На мой стук в дверь никто не ответил, вошел без приглашения. Ребенок уже был похоронен. Гр. Палкин сидит, насупившись, жена, припав к детской кровати, рыдает.

— Кроватька, милая кроватька... одеяльце... подушечка... А Дорочки нет... и никогда не будет... Что же это такое?.. Одна я... одна из всего дома потеряла ребенка... Почему я?

Она повернулась ко мне. На лице отобразилось глубокое страданье...

— Почему я? — повторила она.

Я счел своим долгом нравоучительно заметить:

— В этом виден наказующий перст руки господней.

Заломив над головой руки, она обратилась к мужу.

— Зачем ты разбил во мне веру?.. зачем? Отдай мне оплеванного мной Христа назад... отдай!

Гр. Палкин молча барабанил пальцами по столу. Она резкими движениями достала из того же ящика под кроватью икону, поставила на комод, опустила на колена.

— Господи... господи...

Встала с колен.

— О, нет... Не могу молиться... не верю... Нет бога... нет... Если б он был, он не мог бы, не посмел бы отнять у меня единственного ребенка...

Мне было тяжело слышать кощунственный вопль страждущей души,—сказав гр. Палкину приготовиться к дезинфекции, удалился.

XVIII

Междоусобица среди членов правления, вызванная освободившейся комнатой гр. Отрубного, уладилась. Протокольным постановлением от 29/XII-с. г., за № 54 гр. Отрубной считается выбывшим из членов жилтоварищества, вследствие истечения законного срока для возврата и неуплаты за жилплощадь в течение двух месяцев. Комната же пока предоставлена во временное пользование гр. Аркину, доводившемуся племянником председателю.

Вдруг совершенно неожиданно ко мне заявился гр. Отрубной и потребовал ключи от комнаты.

— Вы, гр. Отрубной, здесь не проживаете.

— Как так не проживаю?

— Вы отмечены выбывшим.

— Уж не вы ли подобную подлость сделали?

— Во-первых, молодой человек, вы не имеете права оскорблять должностных лиц. Во-вторых, вы должны уважать старшинство. Я вам в отцы гожусь...

— Что вы мне свое старшинство под нос суете?.. Вы мне комнату возвратите.

— Подайте заявление. На следующем заседании правление рассматривает и даст по нему то или иное заключение.

— Благодарю покорно. Выходит, до заседания правления я должен где-то болтаться... Да и вовсе я не намерен ждать решения правления...

— Кроме, ничего поделать не могу.

— В таком случае я не уйду из вашей комнаты.

Он кладет узелок, находившийся в его руках, на пол, садится на стул.

Дело принимает неприятный для меня оборот: без скандала из комнаты его не выпроводишь. Соня молча внимательно рассматривает его.

— Вам бы, гражданин, лучше всего обратиться непосредственно к председателю, может быть, он что-либо и предпримет.

Гр. Отрубной взял узелок.

— Да, пожалуй, так будет лучше. А на всякий случай и вас с собой захвачу.

Я принужден был вместе с ним пойти к председателю, намереваясь после звонка убраться. Парфен Сильвестрович сам вышел открыть дверь и заметил меня.

— В чем дело, гр. Колосков?

Гр. Отрубной повторил ту же просьбу, что и мне.

— Что значит вашу комнату? Этак, пожалуй, все мертвецы с кладбища жилплощадь потребуют.

Воспользовавшись их разговором, я незаметно ускользнул к себе.

Соня спросила:

— Кто это был?

Я рассказал, при каких обстоятельствах гр. Отрубной лишился площади.

— Так это и есть поэт Отрубной!?

Меня позвали к Парфену Сильвестровичу. Гр. Отрубного я уже не застал.

— Я распорядился отдать этому шарлатану комнату... Таскаться по судам, огласка... Так лучше уже пусть он почувствует человеколюбие правления... Только вопрос в том: куда мне деть Николая? Хотя у меня и есть кое-какие излишки в площади... Но ведь у меня семья... Вы, кажется, гр. Колосков, один живете? Надеюсь, ничего не будете иметь против, если временно у вас поселится мой племянник?

Я покраснел.

— Не могу, Парфен Сильвестрович.

Он удивленно поднял брови.

— То-есть как это не можете?

— У меня проживает женщина.

— Женщина! Кто такая? Жена? Родственница?

Я вкратце изложил историю поселения Сони.

Парфен Сильвестрович побагровел.

— Это же, гр. Колосков, разврат... форменный разврат... Досконально известно, что вы состоите в незаконном сожителстве с мадам Горохольской, мало того, еще держите у себя какую-то женщину. Что вы, паша турецкий, чтобы гарем разводить? Должностные лица должны быть образцом нравственности... Что же будут делать жильцы, если технический секретарь развратные примеры подает?.. Как с них спросить?.. В моем доме подобного я не потерплю... Слышите!.. Если в течение недели не будет представлено удостоверения о бракосочетании, то вас придется освободить от занимаемой должности.

Он ушел, хлопнув дверью.

Чаша моего терпения еще не была выпита до дна.

Возвратившись, я застал в комнате ожидающего милиционера.

— Вы гр. Колосков будете?

— Я.

— Позвольте вручить вам повестку из нарсуда.

— Мне повестку из нарсуда?

— Да... Распишитесь в принятии.

Пока я расписывался, Соня прочитала повестку. Милиционер ушел. Соня захлопала в ладоши.

— Bravo, bravo, Андрей Иванович, апостол мещанской семьи! Как и следует быть проповеднику: проповедует о крепкой семье, а сам на стороне пошаливает.

— Что такое?

— Алименты!

— Алименты?

— Притворяется, будто не знает.

— Тут какое-то недоразумение.

Соня погрозила пальчиком.

— Знаем вас, святошей.

В глазах Сони вспыхнул какой-то огонек, не то насмешливый, не то ревнивый, но скоро погас.

— Соня, верьте моей искренней совести, что все это неправда. Я просто жертва злонамеренных людей.

— Я же шучу... Вполне верю вам... Да и что же тут такого, если бы и так было...

XIX

Третью жильцов потребован созыв общего собрания. Правление, очень неохотно, только лишь в исполнение устава, назначило таковое. На собрании подвальной частью жильцов открыто пред-

явлено требование о выселении граждан, купивших комнаты у домоуправления при ремонте отопления, и передаче освободившихся комнат им. Они ссылались на то, что посторонние, не члены жилтоварищества, занимают лучшие комнаты, к ним же в подвал никогда не заглядывает солнце. Собрание могло принять нежелательный характер и в корне разрушить созидательную работу домоуправления. По счастью, рабочее население в нашем доме оказалось в меньшинстве, при голосовании их требование было отвергнуто большинством голосов интеллигенции. Среди рабочих начали раздаваться по адресу правления не совсем лестные возгласы. Гр. Бродский—инженер, проживающий в кв. № 8, попросил слова для внеочередного заявления. Слово ему было дано. Краткий его доклад значительно успокоил разбушевавшиеся было страсти. Он отметил справедливость их требований, что солнце, как источник жизни, необходимо каждому человеку, и указал, что при современном достижении науки и техники пользование солнцем допустимо даже если оно и не светит в упор в окна: при помощи небольших приспособлений можно солнечные лучи провести в любое помещение. Дальше изложил сущность своего проекта, который заключался в следующем: простирающуюся перед окнами капитальную стену соседнего владения окрасить в белый цвет, а против каждого окна подвальной квартиры повесить на стене по зеркалу, с соответствующим уклоном, допускающим отбрасывание лучей в подвал.

Доклад инженера Бродского был покрыт дружными рукоплесканиями. Тут же внесено предложение немедленно приступить к осуществлению проекта. Инженера Бродского просили разработать план более детально. В заключение правлению выражено доверие.

XX

От гр. Палкиных поступило совместное заявление, что, в виду развода по добровольному согласию, они просят предоставить им отдельные комнаты, ибо жить им, ставшим друг другу посторонними, в одной комнате неуместно.

На заседании правления Парфен Сильвестрович, возмущаясь развратными действиями гр. Палкиных, указал на меня, что я первый подал безнравственный пример, — он не сомневается, что подражание не замедлит последовать и от прочих жильцов.

На возражение гр. Днепровского, что, по существующим законам данного времени, всякому гражданину или гражданке Советской Республики разрешается разводиться неуказанное количество раз, Парфен Сильвестрович раздраженно ответил:

— Да, но ведь власть разведенным отдельных комнат не дает, а приходится нам же заботиться об удовлетворении их жилплощадью. Так что при каждом разводе можно ожидать не уменьшения, а, наоборот, нежелательного увеличения жильцов.

Столь основательные доводы председателя изменили непричастное отношение к разводу и других членов правления. Постановлено всевозможными, доступными правлению, средствами бороться с проявляющейся в доме распущенностью нравов. Мне же поручено, как зачинщику сего, силою ли моего красноречия, примерным ли вступлением в законный брак, воздействовать на гр. Палкиных, для продолжения своего законного сожительства. О результате доложить на следующем собрании правления.

XXI

В указанный в повестке день и час входил я в помещение нарсуда нашего района. Предстать на суде в качестве подсудимого мне приходилось впервые, поэтому вошел с некоторым душевным содроганием. Веря в значение суда, как защиту невиновных, я был твердо уверен в своем оправдании и ждал наказания недобросовестных людей, возымевших намерение опорочить мое честное имя. Непривычность моего положения весьма смущала меня. Мне казалось, что при моем появлении все присутствующие на суде люди будут тыкать в мою сторону пальцами, говоря: «Вот пришел развратный женолюбец». Поэтому я постарался скрыть себя от взоров людей, затаившись в малоосвещенном уголке. На скамейке, спиной ко мне, сидели две беседовавшие между собой женщины. Мне были явственно слышны их слова.

— Я с вами вполне согласна, милая, что мужчины за последнее время страшно обнаглели. Ни одной клятве мужчины в любви нельзя верить. Сначала соловьем заливается, потом, получив, что ему нужно, и прочь, а бедная женщина мучайся с ребенком на руках. Счастье наше в том, что суд всегда принимает сторону обиженной женщины... Вы с законного или фактического мужа алименты требуете?

— Я с фактического.

В голосе ответившей женщины я признал голос мадам Горохольской. У меня мелькнула мысль избавиться от публичного позора, хотя бы и с некоторой жертвой с моей стороны. Я обратился к мадам Горохольской.

— Гражданка Горохольская, разрешите вам сказать два слова наедине.

Она обернулась, немного поколебавшись, поднялась со скамейки.

— Можете.

Отойдя немного в сторону, чтобы беседовавшая с ней гражданка не могла слышать нашего разговора, я сказал.

— Мадам Горохольская, я не знаю, кто отец вашего ребенка, но если мир так устроен, что каждому рожденному должен быть отец... Я согласен усыновить вашего ребенка, сочетаясь с вами законным браком, для семейного сожительства.

Она брезгливо фыркнула.

— Фи! вы мой муж, воображаю.

И, не желая больше продолжать разговор, отошла к той же гражданке:

— С кем вы беседовали?

— С отцом ребенка.

Гражданка обернулась, окинула меня пронизывающим взглядом.

— И этот, такой щупленький, с козлиной бородкой, мог оказаться отцом вашего ребенка.

— О, вы не смотрите на него, что он теперь прикинулся таким тихоней, он может оказать неимоверную... сатанинскую страсть.

Гражданка еще раз пристально на меня взглянула, пожалала плечами.

— Никогда бы не поверила, что его может полюбить какая-либо женщина.

— И представьте себе, я полюбила!..

— И он оказался за вашу любовь таким негодяем?

Мадам Горохольская сделала скорбное лицо.

— Увы, теперь сама убедилась в том, но уже поздно... не воротишь...

Я прижал рукой мое бедное сердце, готовое ежеминутно разорваться от негодования.

Вышли судьи, граждане расселись по скамейкам. Мое дело было назначено к разбору первым.

Все свидетели единогласно показали о частых моих посещениях мадам Горохольской, и подтвердили, что таковые нередко имели продолжительное время, чего я не отрицал, лишь пояснив, что мои посещения носили чисто служебный характер. Тогда один из судей — женщина — с усмешкой заметила.

— Знаем ваши служебные дела.

И тут же спросила мадам Горохольскую: не было ли с моей стороны присуждения к сожительству? Та подтвердила. Женщина-судья попросила занести в протокол для привлечения меня и по другой статье.

Показание девы-кошатницы заставило меня покраснеть от головы до пят: будто бы она меня застала у мадам Горохольской, когда та была в таком виде... Только ее собственная невинность не позволяет подробно описать этого... И она сделалась краснее пиона. Я молча опустил голову.

Мое отцовство было установлено судом на основании свидетельских показаний. Далее суд приступил к определению следуемой с меня суммы алиментов. Но тут произошло нечто неожиданное... Спрошенный судом о размерах получаемого мной жалования и других моих доходах, я добросовестно ответил, что кроме 40 рублей, получаемых мною по должности технического секретаря, иных доходов не имею. В доказательство представил удостоверение домо-

управления. Услышав о 40 рублях, мадам Горохольская гневно обратилась к гр. Буткевичу, также находящемуся среди свидетелей.

— Как же вы сказали, что он не менее ста рублей зарабатывает?

Гр. Буткевич недоуменно почесал лысину.

Затем она перебила судью:

— Извините, граждане судьи, он не отец моего ребенка.

Судья строго заметил ей:

— Прошу суд не перебивать... Отцовство установлено.

— С 40 рублями он никоим образом не может быть отцом не только моего, но и вообще всякого ребенка.

— В таком случае кто же отец?

— На это сейчас трудно ответить... Я еще подумаю.

Дело закончилось полным меня оправданием, с предоставлением мне права привлечь гр. Горохольскую за оскорбление, а свидетелей за клевету.

Я махнул рукой.

XXII

Во исполнение постановления правления я отправился к гр. Палкиным.

Названных граждан я застал за взаимными пререканиями. Так как женщина по своей природе создание более хрупкое, нежели мужчина, я, естественно, стал на защиту обиженной половины, тем паче видя бесперестанно льющиеся из глаз гр. Палкиной слезы. Откашлявшись, я начал:

— Брак есть взаимное сожительство людей, освященное богом и скрепленное человеческими законами...

Гр. Палкин свирепо на меня поглядел:

— Позвольте, вы-то что за законник такой выискался?

Потеряв нить своей речи, я все же тоном, подобающим случаю, продолжал:

— Как представитель домоуправления, я обязан...

Гр. Палкин вторично оборвал меня, стукнув кулаком по столу.

— Да какое имеет право домоуправление вмешиваться в частную жизнь жильцов!

Его слова были для меня неожиданны, и я невольно попятился к двери. Гр. Палкина вступилась за меня. Слезы на ее глазах моментально обсохли. Меня удивляет способность женщины так быстро выпускать слезы и сразу же прекращать таковые. Гр. Палкина напустилась на мужа:

— Ты что на всех, как собака цепная, бросаешься! К тебе люди с добрым словом пришли, а ты лаешься... Присядьте, Андрей Иванович... Вот так он и предо мной все старается свой ум показать, словно все, кроме него, дураки набитые... Прежде мне голову все против бога забивал, а теперь... Я вам сознаюсь, Андрей Иванович, мне так

хочется другого ребенка иметь... Ну, просто без ребенка жизнь не в жизнь становится... А он, знай, свое твердит: чтобы иметь детей, нужно прежде сосчитать свои доходы: можешь ли ты прилично воспитать, а не разводить для асфальтовых котлов беспризорников...

Я счел своим долгом одобрить желание сей гражданки:

— Ваш поступок весьма похвален.

— А я разве когда бы бросила его, если бы он был как люди, а то он нелюдь.

— О чем же мы будем теперь говорить, когда между нами все кончено, и мы являемся, по отношению друг к другу, совершенно посторонними.

— А-а... о чем?.. Теперь я стала не нужна... свеженькой захотел... Плеснуть бы тебе в бесстыжие твои глаза... Да и чего ж я гляжу?.. Право, плесну, чтобы больше никого своей харей не смущал...

Видя безрассудность подобной угрозы гр. Палкиной, я попытался отговорить ее:

— Такие поступки, гражданка, осуждаются законом... Что же касается действий вашего мужа, я могу безнравственность таковых подтвердить лично от себя и как представитель домоуправления...

Гр. Палкин не дал мне до конца договорить.

— Убирайтесь вы ко всем чертям, покуда я вас вместе с вашей нравственностью не вышвырнул вон!

Глубоко оскорбленный, я вышел из комнаты.

XXIII

На заседании правления мною был сделан подробный доклад о причинах, вызывающих развод гр. Палкиных.

Председатель к моему удивлению одобрил поступок гр. Палкина, найдя в том благоразумие, ибо всякий рожденный человек—лишние хлопоты домоуправлению. В то же время напустился на меня, будто бы мной было недостаточно проявлено красноречия для убеждения столь умного человека, каким является гр. Палкин.

— Верьте совести, Парфен Сильвестрович, мной были высказаны настолько красивые слова, даже сам, прислушиваясь, внутренне слезы проливал.

— Нет, вы, гр. Колосков, не оправдываете оказываемого вам правлением доверия. Впрочем, как может на других влиять человек, сам ведущий безнравственную жизнь?

Вмешательство гр. Маркишева отвлекло от меня председателя.

— Полноте, Парфен Сильвестрович, с него взыскивать... Не только его косноязычие, пошли любого златоуста, и то разве может повлиять на рабочего или какого-либо там служащего при существующем строе?.. Поверьте мне, а кому ж, как не мне, лучше знать их брата... Бывало, прежде работу прогуляют, а на празднике, спра-

вляемой фабрикой, на молебен все до одного явятся... Почему? Потому, что чувствовали над собой непрестанно руку, направляющую их по пути нравственности... А теперь что? Распущенность, поголовный разврат...

— Вполне согласен с вами, Петр Герасимович, но ведь надо же принять во внимание и интересы домоуправления... Мой племянник второй месяц без комнаты.

— Да и моя свояченица не меньше вашего племянника ожидает. Разгоревшийся, было, между членами правления спор, был улажен разумным предложением гр. Днепровского.

— Господа, мне кажется, нам нечего из-за каких-то там граждан Палкиных и волноваться... Предложим им раз'единиться, не выходя за пределы своей комнаты, а именно разрешить им поставить фанерную перегородку, тем более, что комната имеет два окна... Меня интересует нечто другое: каким образом урегулировать приток новых жильцов в жилтоварищество, не только в частном, но и государственном масштабе... У меня на этот счет имеются кое-какие соображения... Если угодно будет собранию выслушать меня?..

Всеми членами охотно из'явлено согласие. Гр. Днепровский, отпив из стакана глоток воды, начал:

— Большим вопросом нашего времени является жилплощадь. Можно думать, что не жилплощадь для людей, а люди существуют для заполнения таковой. Жилплощадь управляет действиями и поступками людей, толкает их на разного рода преступления. Так что разрешение этого вопроса без расширения площади имеет огромное государственное значение... Я не буду останавливаться на частностях, а приступлю к изложению основных положений моего проекта. Во-первых, домоуправлениям должны быть даны обширнейшие полномочия, так сказать, местного самоуправления во взаимоотношениях жильцов. В ведение домоуправлений входит регистрация браков, рождений, смерти и т. д. В случае же возникновения меж жильцами более крупных конфликтов, предоставить и права судебных учреждений. Домоуправление имеет право налагать на виновную сторону различного рода взыскания: штрафы, аресты. Для последнего можно было бы приспособить какой-либо подвальный сарайчик, оборудовав его по примеру тюремной камеры. И, наконец, самое важное: воспретить жильцам вступать в браки с посторонними, проживающими вне этого дома. Таким образом, каждый гражданин от рождения до могилы является прикрепленным к какому-нибудь дому. И домоуправление может иметь возможность постоянно регулировать прирост населения в зависимости от наличия жилплощади. Например: гражданин или гражданка, состоящая в зарегистрированном домоуправлением браке, при желании иметь лишнего ребенка, подает о том в домоуправление соответствующее заявление. Правление, рассмотрев заявление и учтя имущественное положение данного гражданина, если найдет его возможным содержать ребенка, зачисляет в уста-

новленную очередь. Само собой разумеется, что в первую очередь зачисляются еще неимеющие детей, а затем постепенно от наличия таковых. В случае освобождения площади по смерти или иной какой-либо причине, очередной гражданин извещается и может смело приступить к производству, не опасаясь, что его будущий ребенок будет страдать от недостатка площади рахитом, или другой какой болезнью... Конечно, в столь интимном деле возможны и злоупотребления. Это можно устранить путем обязательного ежемесячного осмотра врачом всех женщин на предмет беременности. При обнаружении таковой виновная гражданка обязывается немедленно аборттировать, что также не избавляет ее от отбывания присужденного правлением наказания в карцере...

В заключение гр. Днепровский указал, что обращение домо-владений в небольшие самостоятельно управляемые общины может даже способствовать коммунистическому строительству, проводимому советской властью.

Проект был встречен взрывом изумления и одобрения членов правления. Парфен Сильвестрович пожал гр. Днепровскому руку, гр. Маркишев похлопал по плечу.

— Быть вам, Бернارد Венедиктович, при возобновлении государственного строя министром...

Было постановлено немедленно представить проект в соответствующие учреждения для проведения в жизнь так часто изменяющейся жилищной политики.

После обсуждения текущих дел Парфен Сильвестрович снова возвратился к проекту, предложив несколько задержаться с отсылкой такового. На что гр. Днепровский не преминул уколоть его:

— Парфен Сильвестрович опять испугался огласки.

Председатель невозмутимо ответил:

— Да, боюсь... Против сущности проекта ничего возразить не могу: мысли, достойные остроумного ума... Но представьте себе, что с введением проекта, сколько сократится различных учреждений?.. Согласен и с тем, что государство получит экономию, но большое количество людей, имеющих остаться безработными, призывают нас к человечности.

Предложено, не изменяя протокольного постановления, задержать под видом канцелярской волокиты.

Я подивился скромности нашего домоуправления, достойной великих людей.

XXIV

Зашел осмотреть поставленную гр. Палкиными перегородку. Постучал костяшками пальцев, фанера издала звонкий звук. Перегородка разделяла их исключительно с зрительной стороны, нисколько не предохраняя со слуховой; из другой половины доносился не только малейший звук, но слышно было даже дыханье.

Поздравил гр. Палкину с новосельем.

— Вот теперь окончательно разделились.

За перегородкой послышался женский смех, затем визг.

— Слышите, Андрей Иванович, что мой ёрник проделывает...

Благо от жены прикрылся.

— Совершенно правильно, гражданка, следовало бы несколько затруднять разводы... А то самая незначительная семейная ссора и развод. А затянись процесс развода, глядишь и опять бы сошлись...

Меня интересовало, что за бобра гр. Палкин убил. Под предлогом осмотра той же перегородки, зашел и к нему. Делая вид, что занят перегородкой, я наблюдал за его новой сожительницей. Маленькая, черненькая, больше похожая на девочку, нежели на возмужалую женщину, но довольно юркая. Гр. Палкин передал мне документ на нее.

— Товарищ Колосков, прошу вас прописать мою жену.

Тотчас же затряслась перегородка от стука с противоположной стороны.

— Что, подлец, при жене еще жену завел!?

Маленькая гражданка тоже подскочила к перегородке, забарабанила кулаками.

— Ты соломенная жена!

Из-за перегородки послышалось:

— А ты потаскушка!

Она повернула полное слез лицо к гр. Палкину.

— Вася... Вася... Ты позволяешь меня этой грубой бабе оскорблять!

Гр. Палкин обратился ко мне:

— Прошу вас, как представителя домоуправления, унять дерзкую женщину за перегородкой.

— Я тебе дерзкая женщина стала! Пускай выйдет твоя потаскуха на кухню, я ей рожу примусом спалю... Узнает еще она, как чужих мужей отбивать.

— Вася... Вася, я боюсь ее!

— Успокойся, Ветя, не посмеет.

— А то не посмею!

Переключка продолжалась, перегородка тряслась, готовая каждую минуту обрушиться и предоставить разъяренным сторонам разрешить спор военными приемами. Я не счел нужным вмешиваться в семейные дразги, ушел.

Вечером у меня сильно болела голова. Соня принесла из аптеки каких-то порошков. Я принял, боль немного успокоилась. Заснул. Разбудил громкий стук в дверь. Впросонье слышал, как Соня кого-то уговаривала не беспокоить меня. Крик продолжался. Я сказал Соне, чтобы пустила в комнату. Ворвалась гр. Палкина.

— Андрей Иванович!.. Что это такое?.. они целуются... Мне все слышно... А эта подлая тварь нарочно громче чмокает, чтобы меня подразнить.

Недовольный причиненным беспокойством, я ответил не совсем вежливо.

— Чтобы он там со своей женой ни делал, вы не имеете никакого права вмешиваться в их жизнь.

Гр. Палкина вскричала:

— С женой!.. А я-то кто же?

— Вы теперь постороннее для него лицо.

— Как так постороннее!?

— Вы же развелись.

— Плевать хотела я на развод!

— Так, гражданка, нельзя... Развод узаконен законодательством современной власти.

Она бессильно опустила на стул и, закрыв руками лицо, зарыдала. Повидимому только теперь поняла серьезность развода. Поплакав некоторое время, она снова с ожесточением вскочила.

— Я его проучу!.. Я знаю, что мне делать!..

Быстро исчезла из комнаты. Я опасался: по ее виду, она могла совершить и уголовное преступление.

Принял еще порошок, заснул.

XXV

Работы по изловлению солнечных лучей, для направления таковых в подвал, производимые подрядчиком Петровым, приближались к концу.

Мне приходилось неотступно стоять над душой рабочих. Поэтому я поручил Соне все текущие дела: прописку жильцов, выдачу различных удостоверений. В сомнительных случаях Соня прибегала ко мне на постройку за разъяснениями.

Устанавливалось последнее зеркало, приходившееся в углу забора. Солнце, несмотря на всевозможные ухищрения со стороны рабочих, постановки зеркала под разными углами, рассеянно бродило лучами по стене, иногда бросалось чуть ли не под крышу, но никак не хотело пригнуться к подвальному окну. Рабочие поносили великое светило самыми позорными словами. После долгих усилий, наконец, удалось половину лучей направить в подвал. Рабочие облегченно вздохнули, сели закурить.

Пришла Соня.

— Андрей Иванович, что мне делать с этим удостоверением?

Посмотрел: некий гр. Гиршман, прибывший из Харькова.

— К кому он прибыл?

— Гр. Палкина принесла, просила прописать на ее жилплощадь.

— Гр. Гиршмана?

— Да.

— Тут что-то не совсем благополучно... Знаете, Соня, позовите гр. Палкину притти, дать некоторые сведения, касающиеся прописки.

Соня ушла.

Рабочие еще отдыхали. Я в раздумьи вертел в руках удостоверение. Прибежала гр. Палкина в несколько неряшливом виде: на плечи накинута шаль, из-под платка выбились беспорядочные пряди волос.

— Андрей Иванович, вы меня позвали насчет этого... как его там?

— Гр. Гиршман.

— Да, Гиршмана.

Отошел с ней подальше от рабочих.

— Вы даже не знаете его фамилии?

— Разве упомнишь, только вчера вечером и встретила-то его.

— Кто он вам? Родственник?

— Просто хахаль.

— То-есть?

— Ну, да... Я взяла его, чтобы мужу досадить... Он там за пергородкой со своей кралюшкой целуется, а я буду облизываться. Как бы не так!.. Пусть он теперь меня послушает..

— Значит, он вам будет приходиться нечто в роде фактического супруга?

— Как хотите считайте.

— Все-таки, не мешало бы познакомиться с вашим будущим мужем... Надо же знать, кого мы принимаем в жильцы.

— Он сидит в комнате... я сейчас приведу его.

Гр. Палкина удалилась, вскоре вернулась с вышеупомянутым гражданином. Дитина, как говорится, ражий,—встретившись в темном переулке, пожалуй, другой стороной обойдешь. Расспросил,—оказалось, всего как с неделю прибыл в наш город, жилплощади не имеет, поэтому очень рад представившемуся случаю сменить бродячие ночевки на постоянные. Затем, с какой-то неприятной мне усмешкой подмигнув на гр. Палкину, добавил:

— Что же касается... то гражданка может быть уверена, встретит во мне самого нежного, любящего супруга..

Она рассердилась:

— Какой ты мне муж!?

— Катя!

— И никогда не называй меня так при посторонних!

Рабочие встали на работу. Я направился к ним. Означенные граждане пошли к себе. Гр. Гиршман хотел взять под руку, но гр. Палкина резко выдернула от него руку. Мне как-будто послышались заглушенные рыдания.

XXVI

Парфен Сильвестрович еще раз напомнил мне о недопустимости для должностного лица сожительства с посторонней женщиной в одной комнате.

Я и без того подыскивал подходящий случай, чтобы переговорить с Соней, предложить ей стать моей законной женой. Если

я не мог рассчитывать на любовь с ее стороны, то заметная дружба между нами подавала мне надежду на утвердительный ответ. У меня же к Соне теперь чувство было гораздо больше, чем дружеское. Вначале она лишь напоминала мне Лизу, потом облик Лизы начал стусевываться и его заслонила Соня.

Вечера Соня стала реже проводить со мною. Придя из техникума, наскоро проглотив чашку — другую чая, она обычно отправляется к гр. Отрубному. Наперекор моим отрицательным отзывам о поэте, она все же с ним познакомилась. Пошла к нему попросить нужную книжку. Назад вернулась с тошенькой книжечкой стихов, собственного его сочинения. Серые глаза Сони отливали зеленоватым блеском, я знал, что с ней так бывает, когда она чем-либо взволнована.

— А все-таки замечательный человек Отрубной!

— Не нахожу.

Она с увлечением прочитала из книжечки несколько стихов.

— Чувствуете, каким душевным надломом пронизаны его стихи?

— Просто никчемный человек... К тому же и бездельник.

Соня обиделась.

— Понятно... По-вашему, все назначение человека состоит исключительно для семьи... А по-моему, подобные вам люди ничто иное, как сорный бурьян!.. Кой-то когда расцветет яркий цветок оригинальной личности, и уже бурьян скорее спешит заглушить его...

Приписывая увлечение поэтом ее молодости, я все же не терял надежды, что Соня согласится на мое предложение. Чтобы подбодрить себя для такого щепетильного дела, как объяснение в любви, я дал себе честное слово, если сегодня не хватит духу сказать, то уже больше никогда о том не упоминать. Мысленно я старался подобрать красивые для объяснения фразы. Сказанные Соней последние столь обидные слова сразу разрушили начертанный мною план объяснения. Я лишь мог проговорить:

— Что ж, топчите бурьян.

И умолк, глубоко снедаемый ревностью к поэту. Соня, чувствуя, что меня оскорбила, заговорила первой:

— Не обижайтесь на меня, Андрей Иванович. Может быть, я сказала слишком резко, но я не хотела вас оскорбить... Я вас очень уважаю, даже, может быть, больше чем уважаю...

Мне показалось, что Соня сама подсказывает слова предложения. Преисполненный искреннего порыва, я протянул вперед руки, как бы умоляя ее:

— Соня, милая Соня... Дорогая Соня... если бы ты знала, как я тебя...

На этом я немного запнулся, но, быстро оправившись, тихо до-сказал:

— Люблю...

Она была удивлена.

— А что такое любовь?

— Любовь для семьи...

Она досадливо махнула рукой:

— Опять семья!.. Я же сказала, что никогда не надену на себя эти цепи.

Предо мной снова встало грозное лицо судьбы, направляющей мою жизнь помимо моих желаний. Я видел, что теряю Соню, с ней исчезала и последняя надежда к осуществлению моей мечты о семье. Удрученный обрушившимися на меня ударами судьбы, я не мог сдерживать клокотавшие во мне слезы, накопившиеся за долгие годы пережитых невзгод. Рыдания прерывались лишь криком истерзанной души.

— Соня... Соня... Соня...

Безостановочно повторял я ставшее мне дорогим это имя.

Соня подошла ко мне, на голове я почувствовал теплоту ее ладони.

— Андрей Иванович, что вы... Полно вам... успокойтесь... Вы же не мальчик... Стыдно... Взрослый человек... Выпейте воды...

Несколько проглоченных глотков дали мне возможность говорить.

— Почему меня судьба всю жизнь так упорно преследует?.. Как будто я выполняю какое-то задание несчастной любви...

XXVII

В нашем доме небывалое, со дня основания жилтоварищества, торжество.

В праздничный день все население дома было оповещено о предстоящем необычайном зрелище. После оповещения первой квартиры, остальные жильцы, узнав о сем, при взаимной передаче, не замедлили высыпать во двор. День был вполне приличествующий сему торжественному случаю. Ясное февральское, как-будто бы только что окрашенное в голубой колер, небо золотилось огромным пятном расплавленного солнца. Снег, не затоптанный ногами, вне дорожек и на крышах строений, искрился, точно по нему разбросаны драгоценные камни. Зеркала, развешанные по стене сообразно числу окон подвальной квартиры, завешаны полотном.

Парфен Сильвестрович, встав на возвышение, образовавшееся от сваленного в кучу снега, произнес краткую речь, отметив, какое имеют счастье граждане проживать в доме, управляемом неустанно заботящимся о их благополучии, правлением. Он надеется, что многие кривотолки о деятельности правления, распускаемые злонамеренными людьми, не могут поколебать в благодарных гражданах уважения к таковому. Затем дал знак стоявшим около каждого зеркала рабочим, те, по мановению его руки, сдернули завесы. Ослепленные столь яркими, отражающимися от зеркал, лучами, зрители отступили назад. У многих граждан неволью вырвались звуки восторга. Затем дружными общими рукоплесканиями выразили доверие правлению. Из окон подвальной квартиры улыбались восхищенные лица жильцов, любовавшихся солнцем, низведенным на землю.

Торжество закончилось небольшой вечеринкой, устроенной домоуправлением за счет сумм, проведенных по ремонту канализации. Для пожилых граждан организован холодный буфет, для развлечения молодежи—танцы. Среди молодежи, между интеллигенцией и рабочими, не замечалось раскола, какой происходил у пожилых. Парфен Сильвестрович, с полным достоинства видом, деловито проходил меж почтительно расступавшимися перед ним гражданами. На вечере распорядителем, гр. Днепровским, было сделано некоторое упущение, испортившее приятность настроения веселящихся граждан. Интеллигентной группой жильцов был приготовлен для поднесения за общепользные труды правлению благодарственный адрес, украшенный многочисленными подписями обоих сословий. Преждевременное открытие буфета сделало то, что многие граждане к моменту поднесения адреса находились в ударе.

Инженер Бродский начал вычитывать высокохвальные слова благодарных жильцов; на половине чтения гр. Дядиленко, член правления, позволил себе непристойную выходку: вдруг, безо всякого повода к тому, заорал:

— Не благодарить, гнать нужно буржуев из правления... Нам искусственное солнышко дали, а настоящее, небось, себе оставили!..

Сие неразумное заявление гр. Дядиленко было поддержано его собутыльниками громким возгласом:

— Правильно!

Это, судя по лицам, навело на раздумье и других, бывших до сего благоразумными, рабочих. Произошло некоторое замешательство. Порядок, однако, скоро водворился. Гр. Дядиленко, с подобающей его поступку честью, был удален. Вечер продолжался.

Парфен Сильвестрович, отведя меня в сторону от веселящихся граждан, озабоченно спросил:

— Что вам, гр. Колосков, известно о настроениях подвальных жильцов?

— Непрестанно слышимые благодарения правлению.

Парфен Сильвестрович меня передразнил.

— Благодарения... Так-то вы оправдываете оказываемое вам правлением доверие? Если вы не знаете, так я вам скажу: там ведется непрерывная агитация против правления. Образована рабочая фракция с целью свержения нас на предстоящих перевыборах. Имейте в виду, что с переменой правления вы наверняка лишитесь своей должности, а с тем и своего положения.

Я почувствовал вновь надвигающуюся над моей головой грозу.

XXVIII

После того достопамятного вечера наши дружеские отношения с Соней сделались натянутыми. Мы избегали разговоров друг с другом. В комнате воцарилась зловещая тишина. Каждого из нас удручало при-

существование другого. Соню, видимо, тоже тяготила такая жизнь. Как-то я заметил, что она собирает свое имущество. Завязала в узелок тетради, книги, белье. У меня кольнуло на сердце, мелькнула мысль остановить ее, но рассудок говорил за невозможность сего после неудачных моих объяснений в любви, воспоминание о которых вызывало во мне неприятные ощущения.

— Спасибо вам, Андрей Иванович, за ваше участие ко мне.

— Куда же вы?

— К поэту Отрубному.

— Что же так?

— А зачем нам быть один другому в тягость. Прощайте...

— Заходите,—сухо сказал я.

Она улыбнулась.

— Спасибо.

Внешне уходу Сони я как бы радовался, но на душе не прекращалась ноющая тоска.

XXIX

Между разведенными гражданами Палкиными не прекращалась обоюдная ревность. От их соседей сыпались жалобы на причиняемое им беспокойство беспрестанным стуком в перегородку. Стук происходил при всяком проявлении каким-либо из супругов нежности к своей сожительнице или сожителю. Правление намеревалось выселить их, как беспокойных жильцов, судебным порядком, только боязнь Парфена Сильвестровича огласки мешала приведению в исполнение. Беспокойство от сих граждан этим не кончилось, они не преминули выкинуть еще новую историю, заключающуюся в нижеследующем:

Гр. Палкина подала заявление о выселении с занимаемой ею жилплощади временно прописанного своего сожителя; такое же заявление поступило и от гр. Палкина о выселении сожительницы. Они свои заявления мотивировали тем, что, сознав свою ошибку, намерены исправить таковую вторичным вступлением в законный брак. Кроме того, гр. Палкина по своему добродушию, также и оказываемому мне доверию, сослалась еще на более основательную причину, а именно отказ сожителя иметь ребенка из-за боязни алиментов, ибо он считал брак с ней лишь временным, и еще потому, что им больше уделяется внимания сожительнице бывшего мужа, нежели ей. Настоящий же муж, раскаявшись, обещал загладить перед ней свою вину.

Выразив гр. Палкиной одобрение за ее похвальные качества, не в пример современным женщинам так упорно стремящейся к выполнению своего назначения, я обещал ей оказать всемерное содействие в выселении нежелательных жильцов. Правление также одобрило покаянность гр. Палкиных и своим постановлением, прот. № 67 от 25/II с. г., разрешило снять перегородку. Однако снятию перегородки воспротивились их бывшие сожители: гр. Гиршман, и гр. Цыбульская.

Они, в свою очередь, представили удостоверение из загса о состоявшейся меж ними регистрации законного брака, и заявили о своем намерении занять одну из половин комнаты. Дело приняло настолько сложный оборот, что означенным гражданам предложено обратиться к решению суда. Нарсуд, постановлением от 28/II с. г., утвердил за названными гражданами право на совместное занятие площади с гр. Палкиными. Таким образом, гр. Палкины лишились половины принадлежащей им площади, понеся тем вполне заслуженное наказание за свое легкомыслие.

XXX

Меня тяготит одиночество. Унылый вид комнаты давит мое настроение, временами начинают одолевать мысли, доселе не смущавшие мое воображение. На меня нападает раздумье о ненужности моего существования на земле. Так, часто внимательно рассматривая увеличивающееся количество седины в волосах, глубже прорезывающиеся морщины на лице, я сознавал, что грань производительной жизни чело- века мной пройдена, а навстречу идет холодная, одинокая старость. Грядущее страшило меня... Только усиленная работа по подготовке годового отчета отвлекала меня от непрестанно грызущей тоски.

Правление готовилось на предстоящем общем собрании жильцов выступить с отчетом о своей общепольной деятельности. Парфен Сильвестрович, хотя и обладал жизненным опытом, иногда заметно волновался. Среди жильцов, не только рабочих, но и со стороны интеллигенции, открыто раздавались голоса с требованием смены правления. С отставкой же из председателей Парфен Сильвестрович терял последнюю связь с дорогим ему, как бывшему домовладельцу, домом.

Отчет мною закончен. Правление вывесило в парадном объявление с указанием числа, когда подлежало состояться общему собранию жильцов.

XXXI

Через милицию доставлена повестка для вручения гр. Отрубному о наложении на него в административном порядке штрафа за симуляцию самоубийства.

Понес повестку для передачи по назначению. Я имею некоторую, может быть, кому покажется странной, привычку, прежде чем войти к кому-нибудь в комнату, прислушаться у дверей, дабы знать о настроении хозяев. Я человек незлобивого характера, поэтому оказаться свидетелем при семейной ссоре—боже упаси! И так, я прислушался у двери гр. Отрубного. Поэт скрипучим голосом читал стихи. Долетавшие звуки стихов вызывали во мне досадливое ощущение надоедливо гудевшей мухи. Я уже намеревался отложить посещение до другого раза, как внезапно раздавшийся другой звонкий голос заставил пере-

менить решение. Меня потянуло увидеть Соню. Постучал. Опять голос Сони:

— Войдите.

В комнате к вышеупомянутой обстановке присоединилась еще другая парусиновая койка, остальное все было прежнее. Рядом стоящие койки подчеркивали близость почивающих на них. Комната сплошь наполнялась звонким смехом Сони. Поэт, недовольный, что мой приход лишил его удовольствия лишней раз прочесть свое стихотворение, сделал недовольное лицо. Зато Соня встретила с нескрываемой радостью.

— Андрей Иванович!.. Давно бы пора зайти навестить нас. Да вы знакомы?

Поэт пробурчал:

— Очень хорошо.

— Тем и лучше... Вам, Андрей Иванович, вероятно, так скучно одному... Федя сейчас развеселит вас... Федя, прочти Андрею Ивановичу про осень.

— Извините, я по делу,—сухо сказал я.

Гр. Отрубной неловко взял у меня повестку. Соня проявила признаки беспокойства:

— Что такое?

Поэт нахмурился.

— Это кусочек, оставшийся от скорбной страницы моей жизни, перевернув которую я почувствовал, как дорога жизнь.

Он взял руку Сони, поглаживая, продолжал:

— И дочитался до счастливой...

Соня ответила ему нежным взглядом.

Мне стали ясны причины ухода Сони от меня.

Взгляд влюбленной женщины нельзя не заметить, как и первый луч солнечного восхода.

Может быть, она еще и теперь не сознавала своей любви к поэту, но в каждом ее движении сквозила беспредельная преданность к нему.

У меня заняло сердце: тяжело было видеть чужое счастье. На душе нудно поднимались упреки за собственный опрометчивый поступок с Соней. Осуждая Соню за вульгарность, я все же невольно чувствовал правоту и искренность в ее жизненном упрощении. Досада на себя сменилась злобой к поэту, напрашивались оскорбительные слова, так что мне стоило больших усилий удержать себя в пределах приличия. Молча кивнул на прощанье головой, даже не ответил на приглашение Сони:

— Заходите.

Ушел.

Моя комната показалась еще мрачнее. За стеной издавала воюющие звуки водопроводная труба в уборной. Я бросился на кровать, рвал зубами наволочку и плакал. Плакал о своей загубленной жизни.

XXXII

Общее собрание прошло весьма бурно. Рабочая фракция оказала сильное противодействие растерявшейся интеллигенции, проведя в состав нового правления исключительно своих кандидатов. Бывшее правление целиком сменено. Отчет прежнего правления собранием не был утвержден, предварительно передан на рассмотрение новой ревизионной комиссии. Парфен Сильвестрович и многие другие члены старого правления, обиженные оказанным недоверием к ним, покинули собрание раньше окончания такового. Собрание высказалось за более экономное расходование средств, указано на многие непроизводительные расходы прежнего правления, между прочим, заявили о ненужности технического секретаря, работу которого может с успехом выполнить и выборный секретарь. Постановлено меня сократить.

С мыслями, страшившими меня самого, вернулся я с собрания. Труба парового отопления, крючок, вбитый в стену, неудержимо притягивали меня к себе. Но всемогущему промыслу, не однажды избавлявшему меня от житейских треволнений, благоугодно было отклонить меня от гибели и на этот раз. Случайно на столе заметил я письмо с наклеенным талончиком справки из адресного стола. Распечатав такое, сразу воспрянул духом. Письмо было от Лизы. Она сообщала о смерти моего благодетеля, и о своем безвыходном положении, умоляя меня, во имя прошлой памяти, оказать ей посильную помощь. Почерк письма очень мало схож с тем, каким были написаны ею прежние нежные письма невесты. Дрожащей рукой я написал ответ, приглашая Лизу немедленно приехать ко мне. Всю ночь промечтал о Лизе, милой Лизе, так не похожей на встречавшихся мне женщин. Я думал, что с приездом Лизы жизнь моя потечет по мирному руслу. С Лизой меня не страшило и временное лишение заработка. Заснул лишь под утро, часто просыпаясь от кошмарных снов. Мне виделось чудовище с огромной пастью, громко чавкающее и пожирающее людей. Я понял, что чудовище сие—судьба.

XXXIII

Козни, подстроенные мне гр. Буткевичем с алиментами, обратились против него же.

Гр. Горохольская имела с ним ссору, а в ссоре женщина всегда бывает искренна. Она публично, в присутствии многих жильцов, объявила гр. Буткевича отцом своего ребенка и немедленно пред'явила к нему иск об уплате алиментов.

Гр. Буткевичу, при всей его пронырливости, увернуться от сего не удалось,—он вынужден был из получаемой от жены алиментной суммы уделить значительную часть на уплату собственных алиментов.

В доме только и разговоров, что про алименты гр. Буткевича. Он всемерно старается избегать встреч с жильцами, но всюду носит на себе вполне заслуженную Каинову печать насмешек.

XXXIV

Судьба, улыбнувшись мне раз, улыбулась и второй.

После долгого ожидания, я получил с биржи труда извещение о предоставлении мне службы по должности делопроизводителя в одном из учреждений. Оклад значительно превышал получаемое мною содержание технического секретаря. Я был несказанно обрадован благосклонностью судьбы. Все мои помыслы—на службе ли, вне ли службы—исключительно направлены к предстоящей встрече с Лизой. От Лизы продолжительное время не было извещения о прибытии. Опасаясь, не произошло ли с ней какого несчастья, отправил вторичное письмо. По приходе со службы, первое мое движение в комнате всегда было к столу, — не лежит ли на нем письмо от Лизы.

Возвратясь со службы, я однажды застал у себя в комнате лично неизвестную мне женщину. Она курила, задумчиво наблюдая за крутящимися колечками выпускаемого дыма. Заслышав мои шаги, она повернула остроносое, с впалыми щеками лицо. Глаза мне показались знакомыми.

— Андрей Иванович, вы не узнаете меня?

Я делал усилия припомнить, где я ее встречал.

— Простите, никак не могу припомнить...

— А помните первые дни революции... Улицы, полные народу и мы... мы счастливые...

— Лиза!—вскричал я больше от удивления, нежели от радости.

Виденная Лиза никак не совпадала с той Лизой, образ которой я так тщательно сохранил в сердце.

Лиза засмеялась.

— Наконец-то!..

Поздоровались не как близкие, а как обычно знакомые. Вскипятил чайник. За чаем Лиза рассказала о своих пережитых злоключениях: по несколько дней приходилось, в буквальном смысле, голодать, быть без крова.

— Ох, мало ли что было... Правда, не все было одно плохое, было кое-что и хорошее... Вот хотя бы приятно вспомнить маленькое увлечение... К несчастью, мой герой—офицер—убит на фронте.. О вас вспомнила совершенно случайно...

Лиза попросила разрешения пожить у меня до приискания комнаты, а, может быть... и службы.

Я охотно дал свое согласие.

— Но только с условием дать мне возможность пользоваться вашей комнатой и для приема своих знакомых.

Мне показалось несколько странным, откуда у Лизы так скоро взялись знакомые, но, подумав, что она могла разыскать знакомые семьи прежних чиновников, я предоставил Лизе неограниченное пользование моей комнатой.

Располагаясь на ночлег, Лиза, в отношении стыдливости, оказалась еще менее щепетильной, нежели Соня. Мои мечтания о прежней Лизе окончательно рухнули. Все же потом намеревался сделать ей вторичное предложение стать моей женой, но радости от этой мысли я не чувствовал, а лишь исполнял долг бывшего жениха к невесте.

Лиза очень скоро оправилась. Не поступя на службу, она оделась приличным образом. Я приписывал это оказанной помощи прежними друзьями ее отца. На мое предложение пойти зарегистрироваться браком, она под разными предлогами со дня на день откладывала. По вечерам Лиза часто уходила к своим знакомым. Меня коробило, когда она перед уходом сильно красила губы, брови. Возвращалась она поздно: ходила со знакомыми в театр. Иногда от нее по возвращении несло сильно алкоголем. Поведение Лизы мне казалось подозрительным, но, чтобы укорить ее в том, у меня для этого не было достаточных оснований.

Соседи встречали и провожали меня с улыбочками, суть которых мне была неизвестна.

По причине нездоровья мне пришлось раз уйти со службы раньше окончания занятий. И то, что я застал в своей комнате, не поддается суждению здравого смысла: за столом, уставленном бутылками и закусками, сидели два, неизвестных мне, толстых, бритых гражданина. Лиза... совершенно обнаженная, исполняла какой-то пьяный танец. Один гражданин хлопал в такт в ладоши, другой же, потягивая из стакана вино, маслянистыми пьяными глазами смотрел на Лизу. От отвращения к виденному у меня закружилась голова, я почти бессильно упал на стул. Заметив меня, Лиза прикрылась чем-то из белья. Тогда толстый, хлопавший в ладоши, уставился на меня рачьими глазами.

— Вы не приглашались... Прошу вас удалиться!... зарычал он, грохая кулаками по столу, — бутылки звенели.

При помощи соседей Лизиных гостей с трудом удалось выпроводить. Лиза оделась. Мы молча сидели. Она старалась на меня не смотреть. Она, повидимому, ожидала укоров, ругани, может быть, даже приготовилась к отвратительным ответам женщины, преступившей границы стыда. Мое же молчание, видимо, мучило ее. В конце концов она не выдержала.

— Что ж вы молчите!.. Говорите, ругайте, бейте меня... За свою жизнь я ко всему привыкла...

— Во имя прежней чистой Лизы я вам все прощаю... И согласен назвать вас своей...

Договорить я не успел: мимо моего уха пролетела пустая бутылка и со звоном разбилась о стену.

— А-а, подлец!.. ты хочешь свое превосходство показать... Хочешь терпением своим меня мучить... О-о, садист несчастный... Вот же тебе!..

Она плюет мне в лицо. Прекрасный милый образ прежней Лизы заслоняется пьяной, с искаженным от злобы лицом, женщиной.

— Проститутка! — вне себя кричу я.

Она истерически захохотала:

— Так и всегда бывает... То святой человек, а то и не лучше нас грешных... Да, я проститутка... А по чьей милости я такой стала, позвольте вас спросить? Как не из-за козлиной похотливости вас же, мужчин.

— Вон из моей комнаты!

— Подумаешь, в каком дворце обитает... Нужна мне твоя конура... В таком городе на женщину всегда охотники найдутся.

Напевая что-то гнусное, она вышла. Я вышвырнул вслед за ней забытую подвязку, зажал голову и думал:

«Где теперь женщина, которая бы была женщиной!?»

И вслух отвечал себе:

— Такой нет!

Перебирая думы, я вспомнил недавно высказанную доверчивой гр. Палкиной жалобу на своего мужа, что он не исполняет своего обещания, какими-то предохранителями лишает ее возможности иметь ребенка, а без ребенка — для чего тогда жить?

— Вот, где настоящая женщина! Вот, кем мир держится... — воскликнул я.

XXXV

Вечерние сумерки. Комната чуть освещена мерцанием лампадки. Канун большого праздника. На диване сидим я и гр. Палкина, т.-е. моя жена. Она вторично развелась с мужем, а теперь зарегистрирована со мной законным браком. Она берет мою руку, прикладывает к своему округлившемуся животу.

— Шевелится!..

За тонкой стенкой живота бьется наше счастье и надежда, новый гражданин, новый член нашего жилтоварищества. Я притягиваю к себе голову жены, целую ее и говорю:

— Береги себя, Катя!

После долгого скитанья по огромному морю, именуемому жизнью, мой утлый челн, наконец, пристал к тихой пристани.



Ч у д и л о

МАРК ТАРЛОВСКИЙ

Ну, братва, и бывает же вздор.
Чего со мной было — умора! —
Выхожу я вчера на дозор
В подходящем месте для вора;

А идет это в роде пижон:
Пальто на нем без бахромок.
Я его, конечно, ножом:
Слегка попал, а слегка промах...

Закричать он хотя не успел,
Но привстал и блевнул красным.
И сказал — белый, как мел:
«Ты меня это, друг, напрасно.

«Я не знал, что такой капут
Ожидает меня сегодня.
Голова моя весит пуд,
В этой ране — жар преисподней...

«Губы жгут и воздух сосут...
Подойдите ближе, убийца,
Поднесите к лицу сосуд,
Помогите виску напиться!»

Он еще раз блевнул нутром
И шепнул: — «У меня забота:
С самопишущим золотым пером
Возьми у меня листик блок-нота. —

«Запиши мой последний стих,
Сочиненный мной по дороге,
И пошли его, ради всех святых,
В «Новый Луч» или в «Красные Итоги»...»

Вижу я — от луны светло.
Дай, думаю, запишу частуху.
Прохрипел он мне тут свое барахло
(Без фамилии — не хватило духу).

Семья и брак в современной Германии

С. Я. ВОЛЬФСОН

Проблема брака, семьи и отношения полов приобрела в послевоенное время значительную остроту во всех капиталистических государствах. Война постоянно вносит изменения в область половых отношений. Это факт, хорошо известный всякому социологу и экономисту.

отношений. Это факт, хорошо известный всякому социологу и экономисту.

Война дезорганизует семью. Она прерывает семейные нити, толкает мужчину и женщину на мимолетные связи, создает кадры сопровождающих и обслуживающих армию проституток, рождает психологию «легкого» отношения к вопросам пола, развязывает сексуальные инстинкты. Она вырывает из рядов живущих значительный процент сильных и крепких мужчин, резко нарушая взаимоотношение между мужской и женской частью населения¹⁾, превращает большие кадры мужчин в калек и инвалидов, переставших жить половой жизнью, несет за собой стихийное распространение венерических болезней; как один из многочисленных результатов, сопутствующих войне, увеличивается армия профессиональных проституток и женщин, для которых проституция является подсобным промыслом.

Вот почему всякая война дезорганизует брак и разрушает семью.

С особой силой это обстоятельство проявилось в минувшую империалистическую войну.

Следы, оставленные в области семейных отношений империалистической войной, особенно значительны.

Изменения эти оказались слишком глубокими для того, чтобы после временной заминки наступила стабилизация, и капиталистические государства современности стоят перед лицом совершенно явственного кризиса семьи. О силе этого кризиса свидетельствуют многочисленные данные, относящиеся ко всем крупнейшим капиталистическим государствам— победителям, побежденным и нейтральным. Этот факт должен быть и будет, вне сомненья, предметом научного исследования, представляющего глубокий общественный интерес²⁾.

¹⁾ До последней войны в Европе приходилось на 1.000 мужчин 1.036 женщин, теперь на 1.000 мужчин приходится 1.111 женщин. Таким образом, в настоящее время в Европе имеется до 20 миллионов „лишних“ женщин.

²⁾ Частные данные по этому вопросу содержатся в работах: I. C. Brunner. *Illustrierte Sittengeschichte. Krieg und Geschlechtsleben*. Delius-Verlag. Frankfurt a/M; D-r W. Haberling. *Das Dirnenwesen in den Heeren und seine Becämpfung*. Leipz. 1914; Richard Dehmel. *Zwischen Volk und Menschheit*. Verl. Fischer. Berlin. 1919; Alphons Schoene. *Krieg und Sexualität*. Verl. „Der Syndikalist“. Berlin. 1925 и др.

На основании как личных наблюдений, так и литературных данных, я бы хотел показать, как проявился этот кризис семейно-брачных отношений в стране, которую буржуазия неизменно считала колыбелью семьи, ее непоколебимой опорой, хранительницей священных семейных устоев.

Втянув любовь, брак и семью в сферу капиталистических интересов и денежных сделок, окутав их атмосферой материальной выгоды, наживы и торгашества, капитализм с самого своего зарождения играл по отношению к семье дезорганизующую роль.

Как далеко зашел этот процесс; видно из того, что уже в середине XIX века Маркс и Энгельс сочли себя вправе самым определенным образом квалифицировать семью и брак капиталистического общества.

Основоположники научного социализма неоднократно клеймили «грязное существование» буржуазной семьи. Они разоблачали буржуазную брачную сделку, при которой две проституции составляют добродетель, «как в грамматике два отрицания составляют утверждение». «Коммунистический Манифест» содержит страницы, пропитанные беспощадной иронией по адресу священного понятия семьи, лицемерно охраняемого буржуазией: «...вы, коммунисты, хотите ввести общность жен, — кричит нам хором вся буржуазия. Буржуа смотрит на свою жену, как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства должны быть предоставлены в общее пользование и, естественно, приходит к тому заключению, что и женщины подвергнутся той же участи. Он и не подозревает, что речь идет об устранении того положения, в котором она является простым орудием производства. Впрочем, нет ничего смешнее высоко-нравственного ужаса нашего буржуа по поводу воображаемой официальной общности жен коммунистов. Коммунистам не нужно вводить общность жен, она почти всегда существовала... В действительности буржуазный брак является общностью жен. Коммунистов можно было бы упрекнуть разве в том, что они хотят поставить официальную, открытую общность жен на место лицемерно скрываемой. Но само собой разумеется, что с уничтожением современных условий производства исчезнет и создаваемая ими общность жен, т.-е. официальная и неофициальная проституция».

Та характеристика, которую Маркс и Энгельс дали семье капиталистического общества, основывалась в значительной степени на их наблюдениях над современной им Германией¹⁾. Таким образом, уж восемьдесят лет назад немецкая семья представляла собой далеко не идиллическую картину.

Если за прошедшее время картина и изменилась, то отнюдь не в сторону ослабления тех тенденций, о которых говорил Маркс, а в направлении их усиления. Каждый шаг капитализма по пути его развития все сильнее подчинял семью законам и требованиям строя эксплуатации и барыша. Разлагая всеми своими действиями и поступками семью, делая ее объектом капиталистической сделки, буржуа в то же время не уставал говорить о ней в тоне величайшего подобострастия, объявлял ее колыбелью нравственности, очагом культуры, альфой и омегой человеческого общежития и проч., и проч.

В своем безграничном лицемерии германская буржуазия и идущее у нее на поводу мещанство зашли чрезвычайно далеко. А сознательные и бессознательные выразители ее настроений—вольные и невольные идеологи германской буржуазии—вплоть до самой войны слагали гимны кристальной чистоте германской семьи, ее незапятнанному моральному облику, ее крепости и незыблемости.

Альберт Фриденталь, автор фундаментального труда «Das Weib Im Leben der Völker», писал в 1910 году о немецкой женщине, что

¹⁾ Характеристика взглядов Маркса и Энгельса на вопросы брака и семьи дана в статье тов. Д. Б. Рязанова в № 3 „Летописей Марксизма“, стр. 13—35.

«её величайшим достоинством является посвящение себя благу семьи... Все её мысли концентрируются на одном—сделать счастливым и довольным мужа, быть может, ещё в большей степени — воспитать в детях полезных людей... В отношении верности немецкая женщина стоит на первом месте среди всех других женщин. Она пожизненно предана мужу... Немецкая женщина завоевала себе мировое имя, как женщина домашнего очага (als Hausfrau)»¹⁾.

Такова была характеристика, которую — с теми или иными вариациями — давали немецкой семье поголовно все буржуазные исследователи в довоенной Германии. И ещё на третьем году войны Карл Шторк в своей книге «Die Deutsche Familie» слагал панегирики немецкой семье, которая резко отличается от семей всех других европейских народов. Немецкий уют (Шторк употребляет здесь слово *gemütlichkeit*, которое считает непереводаемым ни на какой другой язык), теснейшим образом сросшись с немецкой же интимностью, придал немецкой семейной жизни особый характер... «Любить могут и другие, но лишь у немцев любовь неизменно находит свой венец в браке. Половые отношения никогда не были для немцев игрой. Отношение к браку среди немцев гораздо строже, чем у какого бы то ни было другого народа»²⁾.

Если елейные словечки и медоточивые восхваления немецкой семьи ещё задолго до войны находились в вопиющем противоречии с капиталистической действительностью, усиленным темпом разлагавшей семью и расшатывавшей её пресловутые «основы», то в годы войны эти слова звучали явным издевательством над действительностью. И тот же автор, которого я цитировал, должен был с грустью заметить, что идеальная немецкая семья, так лестно им охарактеризованная, начинает уходить в прошлое и что в области семейных отношений начинается переоценка ценностей. Эта переоценка ценностей зашла уж в 1916 году так далеко, что Шторк вынужден был даже задаться вопросом о том, «сможет ли немецкая семья противостоять этому суровому времени?»

Этот вопрос, а его ставил не один Шторк, обозначал, собственно, вот что: удастся ли германской буржуазной семье сохранить и после войны ту оболочку патриархальности, которая скрывала от внешнего глаза давно происходящий в недрах этой семьи процесс внутреннего разложения?

В последние годы войны и в послевоенное время появляется в Германии ряд работ, ставящих и с большой тревогой обсуждающих этот вопрос.

Извечное благодушно-сентиментальное настроение немецкого буржуа, разговаривающего о семье, сменяется нервно-паническим. У него на глазах начинает рассеиваться вековая семейная идиллия, и он бьёт по этому поводу тревогу. Шторк всей своей книгой кричит о том, что немецкая семья — под угрозой и надо эту угрозу отвести. То же делает Майзель-Гесс книгой, которую она выпускает в 1921 году, — «Die Ehe als Erlebnis»³⁾. «Враг у ворот; этот враг — сексуальная революция», — бьёт в набат фашистский публицист Гертвиг Гартнер — автор книги «Erotik und Rasse»⁴⁾. Поль Кайзерлинг — реакционный властитель дум современной буржуазной Германии, глава так называемой «Дармштадской школы мудрости» — с величайшей тревогой говорит об «ужасающе-серьёзном кризисе», который переживает брак. Известный романист Вассерман заявляет, что браком называется все, кроме того, что теперь обозначают этим именем. В июльском номере журнала «Die Frau» за 1927 год — органа германского буржуазно-феминистского союза — одна из его деятельниц, Эрика Ленпфуль,

1) Albert Friedenthal. „Das Weib im Leben der Völker“. 3. Aufl. Berlin. 1922 S. 505-506.

2) Karl Storck. „Die deutsche Familie“. Halle a/Saale. Verl. Mühlmann. 1916. S. 15

3) Grete Meisel-Hess. „Die Ehe als Erlebnis“. Halle. Verl. Dieckmann. 1921. S. 238.

4) Hertwig Hartner. „Erotik und Rasse.“ München. Deutsch. Volksverlag. 1925. S. 252.

потерянно спрашивает: «Где мы находимся? Как мы дошли до этого? Что, собственно говоря, практически произошло?»

Тысячи людей с большей или меньшей горечью повторяют в современной Германии слова одного из героев последнего романа Якова Вассермана «*Laudin und die seinen*»¹⁾).

«Зловещий рок лежит на всем институте брака. Я убежден, что формы его не отвечают больше требованиям жизни, и формы эти нельзя оживить. Но что случится, если они будут полностью разрушены, если исчезнет даже та жалкая тень, которая от них еще остается, и какой вид примет то новое, которое должно перестроить нашу жизнь, — я не знаю». И безысходным отчаянием несет от слов мелкобуржуазного интеллигента Лаудина, — а Лаудиных тысячи в современной Германии, — «Пусть будет все, что угодно, но только не то, что теперь называется браком. Не беспокойтесь о падении нравов или общей распущенности. Что может быть хуже того, что теперь давит нам грудь и затемняет наш разум?»

Как мы видим, германская буржуазная мысль описала на протяжении каких-нибудь пятнадцати лет круг — от елейно-ханжеских восхвалений немецкого семейного благочестия до истерических воплей о «сексуальной революции» и жалкой беспомощности перед лицом начавшегося «распада». А то, что этот «распад» зашел, действительно, очень далеко, тому есть многочисленные доказательства. Недаром проблема семьи и брака стоит теперь в Германии не только в центре художественного творчества, но ей уделяют огромное внимание ученые самых различных специальностей — экономисты, биологи, философы, юристы, социологи, врачи и другие.

Мысль буржуазных исследователей семьи и брака в современной Германии вращается преимущественно в сфере двух вопросов:

1. Где причина «распада», — где враг?

2. Как помочь, как остановить «распад», как вернуть потерянный рай бюргерски-патриархального семейного счастья?

По вопросу о причине распада единомыслия среди исследующих вопрос далеко нет.

Одна из ходячих гипотез кивает в сторону Советского Союза. Если о нас ходит на Западе достаточное количество самых фантастических небылиц, если буржуазная и реформистская печать изощряются в распространении нелепых выдумок касательно Советской Республики, — то ни в одной, быть может, области эти небылицы не пользуются таким кредитом, как в области, касающейся отношения полов. Нет нелепицы, касающейся брачных и семейных отношений в СССР, которая, будучи пущена в оборот, не нашла бы себе ревностных распространителей среди буржуазных ханжей и мещан всякого ранга. Если от красной Москвы, одним словом, «все качества», то как же не приписать ее злокозненному влиянию и порчу семейного благочестия, которым всесветно кичился германский буржуа? И этот буржуа тычет пальцем в сторону Советского Союза для того, чтобы об'яснить, почему от его пресловутой мещанской нравственности остались рожки да ножки. К его услугам при этом размалеванная услужливыми газетчиками устрашающая картина Советского Союза, где разрушена семья, где в области половых отношений царствует почти первобытный хаос, где свирепствует сифилис, где бушует стихия абортотворения и проч., и проч.

Выпущенная в 1925 году с.-д. издательством Dietz книжка некоего Галина так живописует, например, нравы Советского Союза: «Семейная жизнь разрушается, мужья не узнают своих жен, жены — мужей, все вертится и пляшет на вулкане. Карты, вино, женщины и мгновенное наслаждение... Властвует необузданный порок...»

¹⁾ Вышел в русском переводе З. Вершининой под заголовком «Семья». ГИЗ. 1927.

В называвшейся уже мною книге Гертвига Гартнера воспроизводятся, как бесспорный материал, «зиновьевские письма» следующего, например, содержания:

„Der Soviet gibt hiermit dem Genossen Gregor Sarajeff die Vollmacht... für Gebrauch der in Murzilowka... garniesonierenden Artillerie-Division 60 Frauen und Mädchen der Klasse der Bourgeois und Spekulanten zu überführen“¹⁾.

А в весьма солидной «Истории проституции» Вольфганга Зорге приводится изложенный в 19 параграфах пресловутый «декрет» саратовского клуба анархистов «об отмене частной собственности на женщин» и объявлении последних «общественным достоянием»²⁾.

Даже в части специальной юридической литературы говорят о советском семейном праве, как регламентирующем чуть ли не промискуитет³⁾, и сокрушаются, что таким образом «народная душа в России устремляется по руслу, возвращающему ее в первобытное состояние»⁴⁾.

Правда, официальные органы германского правосудия не дошли до того, чтобы, подобно органам юстиции некоторых других буржуазных государств, напр., Венгрии, отказывать в признании советского брака, квалифицируя его, как «конкубинат», и провозглашая, что советский брак «не может рассматриваться, как брак с точки зрения наших законов и этических воззрений». Но все же и германские юристы часто рассуждают о советском семейном праве на манер председателя Высшего Патентного суда Венгрии Шустера, заявившего, что «подобный (заключаемый по советскому праву. — С. В.) брак лишен всякой правовой и этической основы, без чего нельзя мыслить брак»⁵⁾... Хорошая, правда, быть может, лишняя, иллюстрация к тому факту, что реакционные классы всегда признают правом только свое е право и нравственностью только свою нравственность!..

Бюргер же непоколебимо уверен и в декрете о национализации женщин, и в пробных браках, и во всем том, о чем острят сатирические журналы и куплетируют в реву. Нет ничего удивительного, таким образом, что в поисках виновников бедствия, расшатавшего «семейные устои» Германии, он прежде всего обращает свой взор в сторону красной советской страны и панически взывает: «Мы находимся перед серьезной опасностью, но победа большевистской любовной морали еще может быть предотвращена. Мы должны все отдать для того, чтобы снова обрести твердую почву под ногами»⁶⁾.

Но так не всегда — иногда этот взор обращается в сторону далекой, но всемогущей заатлантической республики.

Идеологическая диктатура Сев.-Амер. Соед. Штатов, проявляющаяся во всем быте современной Германии, не прошла, конечно, мимо семьи.

Вот почему семейный распад нередко ставится в зависимость от американского влияния. Семейные устои рухнули, потому что семья американизировалась. В чем же выразилась эта американизация семьи?

Американизация всей жизни привела к необходимости погони за заработком. Мужчина всецело поглощен «деланием денег». Время у него тоже

¹⁾ „Настоящим Совет уполномочивает тов. Григория Сараева доставить для нужд расквартированного в Мурзиловке артиллерийского дивизиона 60 женщин и девушек из класса буржуазии и спекулянтов“.

²⁾ Wolfgang Sorge. „Geschichte der Prostitution“. Verl. D r Pothof. Berlin. 1920. S. 447.

³⁾ „Беспорядочные“ половые отношения. *Ред.*

⁴⁾ См. статью д-ра Hachenburg'a в „Juristische Rundschau“ der D. I. Z. 1926. Heft. 1. Опровержение „предрассудков“, укоренившихся в германской юридической литературе касательно нашего семейного права, представляется чрезвычайно важным. В этом отношении можно с удовлетворением отметить статью проф. М. Гредингера „Zur Reform des Familienrechts in der UdSSR, помещенную в журнале „Ostrecht“. 1927. Heft. 1.

⁵⁾ „Zeitschrift für Ostrecht“. 1927. № 4. Цитирую по ст. Е Кельмана. „Советское семейное право и венгерский суд“. (Еженед. Сов. Юстиции. 1927 г. № 38).

⁶⁾ Erike Lehnpuhl. „Das Zölibat der Frau“. „Die Frau“. Organ des Bundes deutscher Frauenvereine. 1927. Heft 10.

превращено в деньги. Все это приводит к отрыву мужчин от семьи, которой он уделяет ничтожное количество времени. Вслед за американской женщиной и женщина немецкая все более эмансипируется от экономической зависимости от мужа: она — работница, студентка, шофер, газетчик и т. д. Общественная жизнь, парламентаризм, партии все более захватывают и мужчин, и женщин: свободное время и мужчины, и женщины расходуют вне семьи, — его поглощают кафе, спорт, театры, кино, клуб. Искусство, очагом которого была немецкая семья, ушло из нее. Живопись перекечевала на выставки. Музыка стала концертной. Термин Familienliteratur стал бранным словом. Семья перестала даже быть организацией питания — жизнь ресторанировалась. «При таком образе жизни, — замечает Шторк, — семья уж не является, как до сих пор, центром жизни, а, собственно, превращается в место встречи членов семьи — для житья и еды (nicht der Mittelpunkt... nur noch ein Treffpunkt)»¹⁾.

Другие авторы склонны объяснить те же явления и весь процесс распада семьи влиянием еврейства. Еврейство принесло, мол, всему человечеству, и особенно немецкому человечеству, сексуальную революцию, самую страшную из всех, несущую тяжчайшие бедствия. Еврейство, с его необузданными половыми инстинктами, с его безграничной сексуальностью заразило все европейское человечество. Оно добилося распада семьи через марксистский материализм, через литературу, через кино, через моды, через газеты. Оно родило Шницлера, Вассермана, Нордау, Фрейда, Альфреда Адлера, освятивших, кто в литературе, кто в науке, кто в философии, половую разнузданность. Это оно заставило европейскую женщину одеть юбку, не достигающую колен, и щеголять Bubikopf (мальчишески - подстриженной головой).

Наконец, интересна попытка объяснить современное состояние семьи влиянием пролетариата. Такую попытку делает, например, Поль Эрнст, — один из соратников графа Кайзерлинга, известный драматург и автор книги «Крушение марксизма».

Эрнст в своей попытке исходит из весьма своеобразной предпосылки, гласящей, что в современном обществе идеологическая гегемония принадлежит пролетариату, разрушительным тенденциям которого буржуазия не может противопоставить ничего положительного. Характерным отличием пролетариата является отсутствие какой бы то ни было высшей жизненной цели, непонимание мирового единства мира и чувство безответственности. Благодаря такому мировоззрению пролетариат враждебен не только определенной, исторической форме брака, но он — принципиальный враг брака, как такового. Эту его идеологию заимствовала у пролетариата и буржуазия. Таким образом, сошлись крайности: «...нет никакой разницы между американской миллиардершей, которая празднует свой двадцать пятый развод, и фабричной работницей, которая идет с работы домой, украшает себя дешевыми блестяшками, спешит в танцевальную залу и ночью возвращается домой с мужчиной, за которого, быть может, она впоследствии выйдет замуж, а быть может, которого больше никогда не увидит. Нет никакой разницы между женщиной-врачом, которая оставляет своих детей прислуге для того, чтобы посетить больных, и которая при этом верит, что она способствует освобождению своего пола, и работницей, которая посылает своих детей на улицу, чтобы самой отправиться на фабрику, и которая при этом верит, что она делает первый шаг к государству будущего, где о детях будет заботиться общество»²⁾...

Эрнст жалуется, что Германия в этом отношении пошла уже так далеко, что наибольшее число внебрачных рождений рассматривается, как показатель высшей нравственности в той или иной области Германии.

¹⁾ Karl Storck. „die Deutsche Familie“. S. 23.

²⁾ Paul Ernst. „Ehe und Proletariesierung“. Ст. в сборнике „Ehe-Buch“. S. 145.

Я привел ряд оценок современного кризиса немецкой семьи, идущих с буржуазной стороны. Все эти оценки — при всем их различии — сходятся в одном: они ищут виновника обрушившихся на семью бедствий, измышляют способы борьбы с этим мнимым виновником и рассматривают весь кризис, как преходящее явление. Между тем, то состояние, которое переживает теперь немецкая семья, является естественным и неизбежным результатом длительного исторического процесса, начавшегося с внедрением в Германию капитализма и достигшего исключительной остроты в послевоенные годы. Вот почему несостоятельны и наивны попытки идеологов буржуазии вывести семью из того критического состояния, в котором она теперь находится, и вернуть ее в лоно уюта, спокойствия и ханжеской добродетели. Попытки эти идут в самых различных направлениях, начиная с выработки совершенной физиологической техники брачных отношений, устанавливаемой, например, в нашумевшей книге Ван-де-Вельде «Die vollkommene Ehe»¹⁾, кончая объявлением брака вневременной и внепространственной априорной категорией, сведением его к мистическому таинству. В последнем направлении заслуживает интереса начинание Кайзерлинга, объединившего вокруг выпущенного им издания «Ehe-Buch» ряд известных художников, философов, социологов, врачей, начиная Рабиндранатом Тагором и Эрнстом Кречмером, кончая Томасом Манном и Альфредом Адлером, — с конечной целью обосновать трансцендентное, внеэмпирическое понимание брака, противопоставив его конкретному, социологическому содержанию философски-абстрактный идеал. Но жизнь идет своим чередом и отбрасывает маниловские мечтания в условиях капитализма «построить новый брак, новизна которого состоит в том, чтобы осуществить подлинную, изначальную идею брака, чтобы восстановить ее ценность», — как зовет поэтесса Майзель-Гесс.

На фоне распада семьи и бесплодных попыток остановить этот распад помощью пастарских наставлений, идеологических заклинаний и реформистского врачевания развивается и противоположная тенденция — «подтолкнуть падающего», и разложившимся семейно-брачным формам капиталистического общества противопоставить принцип эмансипированной от государственного давления, чуждой внешней регламентации, лишенной условностей, свободной любви.

Так, доктор Феликс Зернау в выпущенной издательством «Синдикалист» брошюре «Фиаско моногамии» зовет строить отношения полов исключительно в подчинении голосу природы, игнорируя таким путем общественное мнение, помня, что, «если сияет солнце, если цветет роза, если мужчина и женщина соединяются в любви... все это — обычные явления природы, не имеющие ничего общего с моралью»²⁾. Примерно так же решает вопрос и Пауль Альбрехт, провозглашающий: «Никакое право собственности не должно впредь связывать любовь или ее объект... Рука об руку с освобождением человечества от ярма экономической частной собственности будет само собой до самого конца осуществляться и освобождение любви. Однако, в ветхом здании лжи, связывающей любовь, есть камни, которые следует вырвать уже сегодня...»³⁾.

Иногда анархические попытки «вырвать камни» отливаются в формы огарочничества и ведут к образованию своеобразных сексуальных сект, как, например, организованная в 1921 году неким Мук-Ламберти в составе двадцати пяти молодых людей обоого пола, лига свободной любви, обошедшая со своей проповедью почти всю Тюрингию и попавшая в... тюрьму.

¹⁾ D-r Th. H. Van de Velde. „Die vollkommene Ehe“. Verl. Konnegen. Berlin. 1927.

²⁾ D-r Felix Sernau. „Fiasko der Monogamie“. Verl. „Syndikalist“. Berlin. 1925. S. 24.

³⁾ Paul Albrecht. „Freiheit der Liebe“. Verl. „Der Freie Arbeiter“. Berlin. 1926. S. 23.

Несмотря на всю глубину, которой достиг уже семейный распад, буржуазия бешено сопротивляется всякой попытке сделать выводы из этого распада и жестоко мстит каждому, такую попытку предпринимающему. В этом отношении весьма показательна судьба левого писателя Гуго Бетауэра, выступившего в качестве энергичного пропагандиста радикальной брачной реформы. В 1924 году Бетауэр основал в Вене журнал «Er und Sie». Бетауэр провозглашал, что формы и принципы современного брака окостенели. Он клеймил общественное мнение, которое стоит на страже брака — института, почти неизменного со времени христианства. «Разрыв брака — преступление; внебрачное дитя — клейменное; девушка, которая отдается мужчине вне брака, — погибшая; если она продает себя из-за тягчайшей нужды — проститутка, которая стоит вне закона...» Бетауэр объявил войну общественному мнению, которое санкционирует брак-продажу, но считает преступлением любовь вне брака, которое награждает презрением и насмешками, как «старую деву», женщину, не вступившую в брак, но которое клеймит ее, если она познает любовь вне брака. Бетауэр утверждал, что капитализм погнал уже частично женщин из спальни, кухни, детской на фабрику, в контору, школу, но она еще остается закрепощенной... Бетауэровский журнал нашел широкое распространение. Он быстро достиг 40.000 тиража. Но вокруг Бетауэра вскоре поднялась буря. Присяжные блюстители нравственности капиталистического общества обрушились против «чудовищной проповеди разврата», которую сеет Бетауэр. Профессора венского университета выступили против «magister sexualis», а полиция посадила его на скамью подсудимых. Но когда суд оправдал Бетауэра, газеты еще усилили кампанию травли, и она принесла результаты: 10 марта 1925 г. Бетауэра убил какой-то 20-летний парнишка — зубной техник, выступивший в защиту общественной морали...

Я остановился на эпизоде с Бетауэром для того, чтобы показать, как ревниво относится капиталистическое общество ко всяким посягательствам на его прогнившие семейные устои.

А что эти устои, действительно, до основания прогнили, об этом свидетельствует и непосредственное соприкосновение с бытом современной немецкой семьи, и отражение этого быта в художественной литературе, и острота, с которой этот вопрос ставится теперь в научной литературе.

И надо быть жалким данником оппортунистической тенденции, чтобы рисовать картину мнимого благополучия, как это делает, например, в июльском номере австр. с.-д. журнала «Der Kampf» за 1927 г. Елена Бауэр¹⁾.

Если спросить себя, что произошло, собственно, с немецкой семьей, то было бы жестокой ошибкой рассматривать ее современное положение, как результат какого-то громового удара, раздавшегося с ясного неба. Ни о каком *diaboli ex machina*, своим внезапным появлением разрушившим вековую идиллию немецкого семейного благочестия, говорить, конечно не приходится. Можно лишь установить, что в свете войны стал особенно явственным тот процесс, который давным-давно происходил в недрах буржуазной семьи и который буржуазия пыталась скрыть под семью покрывалами ханжества и лицемерия.

«Семья распадается все более и более; чем выше общественная организация, тем больше семейных функций превращается в общественные. Этот процесс «дезинтеграции семьи» сможет остановиться лишь тогда, когда семья передаст обществу все социальные функции и превратится («heraus differenziert») в чисто генеомическое образование». Так хара-

¹⁾ Helene Bauer. „Soziale Schichtung und Ehe“. „Der Kampf.“ 1927 № 7. Некоторые возражения на выступление Бауэр содержатся в статье Reschy Fischer „Ehe als soziales Problem“ — в № 8 того же журнала.

ктеризовал этот процесс еще в 1911 году наиболее выдающийся из исследователей семьи немецкий социолог Мюллер-Лиер.

Война и послевоенная экономическая ситуация Германии не только сделала процессы, происходившие в недрах семьи, явными, но она их также заострила и углубила. Семья начала «дезинтегрироваться» с огромной быстротой. Трудовая дифференциация охватила самые широкие слои женского населения Германии. Экономическая, политическая и семейная эмансипация женщины расшатала изжившую себя пожизненную принудительную моногамию.

В результате — современный кризис семьи, о котором уже воробьи кричат со всех журнальных и газетных крыш. Этот процесс развивался самым различным образом. Например, можно утверждать, что наиболее устойчивой в период семейного кризиса оказалась семья зажиточного крестьянина, — середняцкая семья; наиболее далеко пошел процесс разложения в среде *Mittelstand'a* — среднего городского сословия, точнее, в среде мелкой буржуазии и интеллигенции, и, наконец, что в пролетарской среде намечаются пока еще недостаточно выкристаллизовавшиеся новые принципы брачных отношений — слабые зародыши семейной организации будущего общества.

Отличительной чертой буржуазного брака было то, что он представлял собою в подавляющем большинстве случаев не свободный союз двух людей на основе взаимного тяготения, а союз, основанный на экономическом расчете. Так было, начиная с явных форм купли, через промежуточную стадию брака с приданым, кончая замаскированной формой сделки, при которой муж — добытчик материальных ценностей, а жена — их потребитель.

Еще задолго до войны Макс Нордау утверждал, что из десяти современных браков девять заключаются по материальному расчету, а известный исследователь сексуальной проблемы Иван Блох определял процент заключаемых в Германии по расчету браков в 75. Уже накануне войны дело брачного посредничества в Германии начало переходить от кустарных форм к организации специальных капиталистически организованных бюро. Некоторые из этих бюро в своем капиталистическом размахе дошли до издания специальных бюллетеней со сведениями о лицах, желающих вступить в брак, и содержавших в себе классификацию кандидатов, их личные характеристики и проч. сведения.

Вопрос о форме брачного посредничества служил даже накануне войны, а также и по окончании ее, предметом оживленной дискуссии в немецких журналах. В 1913 г. в «*Neue Generation*» был помещен по этому поводу ряд статей Елены Штеккер, И. Рутгера, проф. Левенфельда и других. В 1916 г. этот вопрос был снова поднят Тевальтом в «*Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie*», в 1918 году к нему вернулся проф. Роберт Штиглер в «*Wiener Medizinische Wochenschrift*» и в 1919 г. проф. Kuhn в «*Zeitschrift für Sexualwissenschaft*».

Следует отметить, что все спорящие обсуждали лишь более целесообразную форму брачного посредничества. Принципиальных сомнений в посредничестве не было.

По мере все большего подчинения брака капиталистическим формам купли-продажи, при его заключении начинают играть видную роль газетные объявления. В книге профессора Матайя «*Heiratsvermittlung und Heiratsanzeigen*» указывается, что уже до войны газетные объявления играли весьма важную роль в деле заключения брака. После войны эта роль достигла значительно больших размеров.

За период до войны Иоахим Вернер насчитал в течение недели в 12 немецких газетах 1.302 брачных объявления. В августе 1927 г. я насчи-

тал в 12 же немецких газетах за одну неделю 2.734 объявления, т.-е. цифра больше чем удвоилась.

Что же представляют и о чем говорят эти объявления?

Передо мной типичный воскресный номер газеты «Lokal-Anzeiger», ничем не отличающийся от других воскресных номеров этой газеты. В нем помещено 314 брачных объявлений. В небольшой части этих объявлений под теми или иными масками (массаж, физкультура) предлагают свои услуги полупрофессиональные проститутки. Подавляющее же большинство объявлений носит вполне «деловой» характер и исходит от кандидатов на вступление в брак.

Каковы же требования, предъявляемые этими брачными объявлениями?

В 85% объявлений основной предпосылкой являются условия материально-экономического характера. Формулируется точно количество требуемых в качестве приданого марок, каков должен быть заработок будущего супруга, каким он должен владеть имуществом и т. д. Экономические требования настолько доминируют в большинстве брачных объявлений, что вы совершенно забываете, что речь идет о будущем союзе двух живых людей, вам представляется, что здесь осуществляется сделка между двумя предприятиями, одно из которых желает «вжениться» («einheiraten») в другое. «Молодая миллионерша желает вжениться в мировую лесозэкспортную фирму». «Энергичный, способный и образованный коммерсант желает вжениться в галантерейное дело»...

Гораздо меньшее место, нежели экономические признаки, занимают требования, так сказать, биологического характера. В 25% объявлений рассматриваемого номера к будущим брачным партнерам предъявляются требования определенного роста, комплекции, цвета волос, фигуры, темперамента и т. д.

Формулировки совершенно точны и недвусмысленны. От будущего супруга требуется рост не менее 170 сантиметров. К будущей супруге предъявляется требование «стройных, красивых ног». Какой-то купец ищет супругу, которая в состоянии совершать загородные прогулки, и т. д., и т. д. Наконец, в 15% содержатся и духовные, так сказать, дезидераты. Требуется любовь к природе, любовь к музыке, склонность к спорту, интерес к живописи, привязанность к животным, знание поэзии и прочее.

Эпоха, в которую немецкие мещане твердили о браке, как о блестящем созвездии «Geist, Körper und Geschäft» («духа, тела и дела»), давно исчезла.

Как можно убедиться на примере типичного номера немецкой газеты с его брачными объявлениями, «Geist» давно отлетел, «Körper» посторонился, и брак превратился в обыкновенный «Geschäft» — одну из этих бесчисленных сделок, из которых соткана вся жизнь капиталистического общества.

За брачными объявлениями скрывается целый мир людских взаимоотношений. Недавно д-р Лео Перри сделал интересную попытку приподнять завесу над этим мирком брачной сделки. Перри поместил в газетах ряд любовно-брачных объявлений, и 200 полученных им ответов опубликовал в виде отдельной книжки¹⁾. Книжка Перри является человеческим документом большой ценности для характеристики нравов современного буржуазного общества. Она — яркий и живой показатель того, чем становятся отношения полов при капитализме, во что превращает буржуазия брак. Извращенная эротика и погоня за рублем — основные регуляторы «рынка любви». И с характерным для мелкобуржуазного интеллигента ужасом восклицает Перри в предисловии к опубликованной им книжке: «Потрясающе... что

¹⁾ Auf diesem nicht mehr ungewöhnlichem Wege. Der Liebesmarkt des Zeitungsinserates. Eine Sammlung von Korrespondenz-Anzeigen... mitgeteilt von D-r Leo Perry. Verl. für Kulturforschung, Wien—Leipzig. 1927.

так внутренне выглядят люди, которых мы встречаем на улице, которые являются нашими соседями в театре, совместно с которыми мы сидим за столом, к которым мы должны серьезно и с уважением относиться в обществе...»

Брак по расчету, характер которого очень точно определяется характерным немецким термином *Kaufehe* («брак-купля»), конечно, самая зыбкая почва, на которой только может строиться здание семьи. Современная Германия хорошо знает, как быстро это здание превращается в худший вид каторжной тюрьмы, в арену, на которой разыгрываются видимые или чаще невидимые трагические конфликты, нередко приводящие к гибели или преступлению. И тем не менее, она во имя священного престижа нравственности пытается скрепить это здание обручем государственного принуждения. Современное германское право ставит принцип расторжения брака в весьма узкие границы. Право развода до сих пор регулируется архаическими принципами тридцать лет тому назад изданного BGB (Гражданское уложение), для которого основой развода является в и н а одного из супругов. И в сотнях случаев, когда одна из сторон предъявляет другой судебный иск о расторжении брака, страж права и справедливости в лице судьи в разводе отказывает, провозглашая, что «госпожа X впредь должна по отношению к господину Y полностью выполнять установленные законом супружеские обязанности», как мне пришлось прочесть в одном из многочисленных газетных отчетов о бракоразводных процессах¹⁾.

Германия, конечно, в этом отношении ушла вперед по сравнению с Австрией и Италией, где до сих пор еще господствует средневековое отрицание развода, но и германское семейное право хранит в себе достаточно средневековых пережитков. Тем не менее поток жизни прорывает все юридические плотины, которые ставят на его пути реакционные хранители устоев. Число разводов в Германии медленно, но неизменно росло и в довоенные годы, но со времени войны кривая разводов начала делать резкие скачки вверх. В 1913 году на каждые 100 тысяч жителей приходилось в Германии 26,1 разводов, в 1923 году — 55, в 1924 — 57,3 и в 1925 году 55,3, т.-е. стабилизовавшаяся почти в последние годы цифра более чем в два раза превосходит довоенную²⁾. Еще более существенным показателем, нежели разводы, является так называемое *Freundschaft* — добрачный или, точнее, околобрачный институт, получивший широчайшее распространение в современной Германии. *Freundschaft* заключается в союзе двух молодых людей, раздельно живущих и систематически встречающихся между собой. Такие союзы тянутся обыкновенно довольно продолжительное время — от нескольких месяцев до нескольких лет, при чем иногда они переходят в формальный брак, большей же частью заканчиваются разрывом, обусловленным вступлением одного из партнеров в экономически выгодный брак. Во время *Freundschaft*, как я уже говорил, стороны имеют обыкновенно отдельные квартиры и сохраняют экономическую независимость друг от друга. *Freundschaft* было хорошо известно и довоенной Германии, но в настоящее

¹⁾ Недавно Берлинский окружной суд (*Zivilkammer 17 des Landgerichtes [Berlin I]*) в постановлении по одному бракоразводному процессу признал, что «если отказ супруги, вследствие личного отвращения от обязанности разделения ложа с мужем („*Beischlafspflicht*“) и может быть признан извинительным, то в то же время... этим обстоятельством не затрагивается ее вина — невыполнения супружеских обязанностей“... (Приговор этот опубликован в журнале „*Neue Sexual-Ethik*“. 1927. № 7).

²⁾ Вот основные данные о разводах после войны. На каждые 100.000 чел. приходилось разводов:

в Англии 1913 г.—	3,4,	в 1923 г.—	7,1,	и в 1924 г.—	5,9
в Швеции „	— 12,8	„	— 25,5	„	— 27,1
в Германии „	— 26,1	„	— 57,3	„ „	1925 г. — 55,3
во Франции „	— 43,1	„	— 60,2	„ „	1924 г. — 55,6
С.- А. Соед. Шт.	—111,2	„	—147,9	„	—157,1

время оно приобрело исключительный размах, в значительной степени обусловленный необходимостью для мелкой буржуазии посылать подростков на заработки. Семнадцатилетняя девушка, зарабатывающая восемьдесят марок в должности стенографистки или приказчицы, чувствует себя экономически независимой от семьи. Вместе с тем слабеет и ее зависимость от родительской опеки. У нее быстро возникает связь с юношей, находящимся в таком же положении.

К сожалению, нет статистических данных, характеризующих *Freundschaft*. Да таковые вряд ли и возможны. Но многочисленные, хорошо знающие быт Германии, лица, с которыми мне приходилось беседовать на эту тему, утверждают, что *Freundschaft* охватывает не меньше трех четвертей немецкой городской молодежи в возрасте от 17 до 25 лет.

Таким образом, на ряду с узаконенным браком, в современной Германии существует весьма широко распространенный околобрачный институт, который немецкий буржуа сам характеризует, как *wilde Ehe* («дикий брак»).

О распространении внебрачных связей в послевоенной Германии достаточно внушительно свидетельствует и цифра в 2½ миллиона внебрачных детей, насчитывавшихся в Германии по данным 1918 г.

Эта цифра тем красноречивее, что при оценке ее необходимо принять во внимание, с одной стороны, широкое распространение в Германии предупредительных мероприятий и абортот, а с другой, — усиленную смертность внебрачных детей. Ни в одной области, быть может, не проявляется лицемерие германского буржуа с такой разительной очевидностью, как в его отношении к внебрачному ребенку. Германское семейное право возбраняет признание отца родственником «незаконнорожденного» ребенка и назначение матери его «опекушей». Следующая таблица дает некоторую иллюстрацию, в какое положение попадают благодаря этому «незаконнорожденные» и как высок процент погибающих среди этой категории — одной из многочисленных жертв капиталистической «законности».

Детская смертность в Германии на 100 родившихся
(в местностях с населением свыше 15.000):

	з а к о н н ы х.		в н е б р а ч н ы х.
1913 г.	14,2	23,7
1916 г.	12,6	21,3
1917 г.	13,7	25,1
1918 г.	14,1	23,9
1919 г.	13,0	25,0
1920 г.	11,9	23,0

У меня в распоряжении нет, к сожалению, данных, относящихся к последующим годам, но и приведенные цифры достаточно определенно устанавливают влияние семейного права Германии на участь миллионов детей, объявляемых этим правом «незаконнорожденными», но умирающими по законам возрастающей прогрессии. Веймарская конституция, правда, провозгласила, что законодательство республики должно создать для физического, духовного и общественного развития внебрачных детей те же условия, что и для детей, рожденных в браке (ст. 121), но это заявление оказалось ни к чему никого не обязывающей декларацией. Она не оставила никаких следов в области германского семейного права, а судебная практика республиканской Германии в отношении внебрачных детей ровно ничем не отличается от дореволюционной практики.

Германская буржуазия делает со своей стороны все, чтобы, парализовав «либеральную» тенденцию конституции, сохранить в неприкосновенности бесправное положение «внебрачных». В этом отношении характерным документом является петиция, с которой обратился в рейхстаг «Германский

женский союз для борьбы с публичной безнравственностью». В этом замечательном документе немецкая буржуазная женщина требовала от парламента во имя «святости брака и чистоты семейной жизни», во имя борьбы с «бесстыдством свободной любви» отказаться от реализации упомянутой ст. 121 конституции, деклариовавшей правовое уравнивание брачных и внебрачных детей...

О браке и семье в современной Германии, как и везде, нельзя, конечно, составить себе достаточного представления, если не касаться вопроса о проституции.

Если брак по расчету уж давно охарактеризован, как скрытая форма длительной проституции, то проституция, — начиная ее завуалированными видами и кончая носящими характер скрытого промысла, — служит неизменным спутником брака в капиталистическом обществе.

В частности в довоенной Германии ежегодные расходы по проституции достигали, по подсчету Лёша, 500 миллионов марок. Этой цифре проф. Флекснер противопоставил бюджет прусского правительства на всю его воспитательную систему: на нужды университетов, школ 1-й и 2-й ступени, сеть технических и ремесленных институтов истрачено было в 1909 году немного меньше 200 миллионов марок¹⁾.

Вопрос о проституции в Германии наших дней должен быть предметом отдельного изложения. Я ограничусь лишь указанием на чрезвычайно сильный рост проституции в послевоенной Германии и на огромный процент проституток, которых начал давать Mittelstand, до войны самодовольно уверенный, что поставлять обществу продавщиц своего тела — участь низших сословий...

Особого упоминания заслуживает здесь Берлин, где человеческое тело продается на улице точно так же, как спички или газеты, — только с несравненно большей навязчивостью.

Уже до войны цифра профессионально промышляющих собою проституток Берлина определялась в 20.000²⁾, так что «из каждых двадцати пяти взрослых берлинок одна продавалась множеству мужчин»³⁾.

Послевоенные годы дали значительное и абсолютное, и относительное увеличение числа проституток в германской столице. Вильгельм Шеффер говорит, напр., уж о цифре в 50.000 берлинских проституток⁴⁾.

Но для того, чтобы понять, каков действительный «размах» проституции в современной Германии, надо учесть еще, что 1) число женщин, проститутирующих нелегально в качестве подсобного промысла, в десять или даже двадцать раз превосходит число профессиональных Kontrolmädchen и 2) надо исходить не только из числа проституток, а иметь в виду и число обслуживаемых ими мужчин. Самые скромные подсчеты дают, таким образом, миллионные цифры...

Десятки тысяч женщин в любой части Берлина и других крупных городов, в любой час дня и ночи настойчиво предлагают прохожим свое тело. При этом предложение значительно превосходит спрос, и подавляющее большинство проституток ведет полуголодный образ жизни.

Было бы жалким самообманом рассматривать современное состояние немецкой семьи, как результат временного кризиса. Лишь реакционные утописты типа Кайзерлинга могут думать, что пройдет несколько времени,

1) Проф. А. Флекснер. „Проституция в Европе“. Пер. Белостоцкого. изд. НКЗ. М. 1926 г. Стр. 19.

2) Robert Michels. „Altes und neues zum Problem der Moralstatistik“. „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“. 1927. 57 Band. S. 715.

3) Robert Hessen. „Die Prostitution in Deutschland“. München 1910. S. 27.

4) Wilh. Schöffner. „Das Recht auf den eigenen Körper“. Verl. „Syndikalist“. Berlin 26. S. 17.

река потечет вспять и немецкая семья снова выступит перед миром в белых ризах.

То, что теперь переживает немецкая семья, результат длительного исторического процесса. Это — не временный кризис, — а переход, вызванный — в основном — массовым вступлением немецкой женщины на путь экономической самостоятельности. До войны немецкое бюргерство смотрело на женщину-работницу со смешанным чувством сожаления и презрения. Теперь из 2.175.000 женского населения Берлина — 799 тысяч, т.-е. 36,8%, работают в различных областях промышленности, торговли и управления. Если учесть число нетрудоспособных по возрасту и физическому состоянию, это значит, что больше половины женщин Берлина занято профессиональным трудом.

В отдельных отраслях берлинской промышленности женщина выступает даже как образующая большинство соответствующего пролетариата. Так, например, в химической индустрии женщины составляют 52,4% всех рабочих, в текстильной — 64%, в изготовляющей одежду — 74%.

Тот сдвиг в экономическом положении женщины, который произвела война, является важнейшим фактором распада современной немецкой семьи.

Этот распад, конечно, закончится не возвращением назад: он поведет, в конечном счете, к новым формам брачно-семейных отношений, реализация которых лежит за пределами классового общества.

Тезисы о задачах марксистской критики

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

I

Наша литература переживает один из решающих моментов своего развития. В стране строится новая жизнь. Литература все более приучается отражать эту жизнь в ее еще не определившихся, изменчивых чертах и, повидимому, сумеет перейти к задаче еще более высокого порядка, именно к известному политическому и в особенности морально-бытовому воздействию на самый процесс строительства.

Хотя наша страна в гораздо меньшей мере представляет собою контраст отдельных классов, чем какая бы то ни было другая, тем не менее состав ее отнюдь нельзя считать однородным. Не говоря уже о неизбежности некоторого различия тенденций крестьянской и пролетарской литературы, в стране остаются элементы со старыми навыками: либо вовсе не примирившиеся с диктатурой пролетариата, либо никак не могущие приспособиться хотя бы даже к самым основным тенденциям социалистического строительства пролетариата.

Между старым и новым продолжается борьба. Влияние Европы, влияние прошлого, влияние остатков старых правящих классов, влияние новой буржуазии, в известном количестве развернувшейся на почве новой экономической политики, дают себя чувствовать. Они не только сказываются в доминирующих настроениях отдельных групп и лиц, но и во всякого рода примесях. Надо помнить, что кроме непосредственных, так сказать, сознательно враждебных течений буржуазного порядка, имеется еще стихия, пожалуй, более опасная, и во всяком случае менее, очевидно, побежденная, — стихия мещанских бытовых явлений. Эта мелкобуржуазная стихия в'елась достаточно глубоко в бытовые отношения самого пролетариата и даже часто в природу самих коммунистов. Вот почему классовая борьба в форме борьбы за построение нового быта, носящего на себе отпечаток социалистических устремлений пролетариата, не только не ослабляется, но, продолжаясь с прежней силой, принимает постепенно все более тонкие и глубокие формы. Эти обстоятельства и делают оружие искусства, — литературы в особенности, — чрезвычайно важным в настоящее время. Они же, однако, вызывают рядом с появлением пролетарской или близкой к ней литературы и литературные отражения враждебных нам стихий, при чем под ними я разумею не только сознательно, определенно враждебные, но и враждебные бессознательно, например, своею пассивностью, своим пессимизмом, индивидуализмом, предрассудками, извращениями и т. д.

II

При условии той значительной роли, которую в этой обстановке должна сыграть литература, на чрезвычайно высокое место в смысле ответственности становится и марксистская критика. Она несомненно призвана теперь рядом с литературой быть интенсивным, энергичным участником процесса становления нового человека и нового быта.

III

Марксистская критика отличается от всякой другой прежде всего тем, что она не может не иметь в первую голову социологического характера, и при том, само собою разумеется, в духе научной социологии Маркса и Ленина.

Иногда принято делать различие между задачами критика и историка литературы, при чем различие проводится не столько по линии исследования прошлого и настоящего, сколько по линии — для историка литературы — объективного исследования корней данного произведения, его места в общественной ткани, его влияния на общественную жизнь, а для критика — оценки данного произведения с точки зрения его формальных или общественных достоинств и недостатков.

Такое деление теряет почти всю свою силу для критика-марксиста. Хотя критика в собственном смысле слова входит непременно элементом в законченное критическое произведение марксиста, тем не менее еще более необходимым основным элементом является социологический анализ.

IV

В каком же духе проводится критиком-марксистом этот социологический анализ? Марксизм рассматривает общественную жизнь, как органическое целое, где отдельные части зависят друг от друга, при чем решающую роль играют наиболее материальные, наиболее закономерные экономические отношения, в первую очередь формы труда. При широком обследовании какой-нибудь эпохи, например, критик-марксист должен стараться дать целостную картину всего общественного развития. В тех случаях, когда дело идет о каком-нибудь отдельном писателе или произведении, нет непременно надобности в обследовании коренных экономических условий, ибо здесь начинает называть принципом Плеханова. Он гласит, что художественные произведения лишь в чрезвычайно ничтожной мере непосредственно зависят от формы производства в данном обществе. Они находятся в зависимости от них через посредство других звеньев, именно классовой структуры общества и вырастающей на почве классовых интересов классовой психологии. Литературное произведение всегда отражает сознательно или бессознательно психологию того класса, выразителем которого является данный писатель, или, что бывает часто, некоторую смесь, в которой сказываются воздействия на писателя различных классов, что и должно быть подвергнуто внимательному анализу.

V

Связь с психологией тех или других классов или больших групп широко общественного характера определяется в каждом произведении искусства, главным образом, через содержание. Литература — искусство слова, искусство, наиболее близкое к мысли, отличается большим значением в нем содержания по сравнению с формой, чем другие искусства. В литературе особенно

очевидно, что именно художественное содержание, т.-е. поток мыслей и чувств, облеченных в образы или связанных с образами, является определяющим моментом всего произведения. Содержание само устремляется к определенной форме. Можно сказать, что всякому данному содержанию соответствует как бы одна только оптимальная форма. Писатель может в большей или меньшей мере найти такие условия выражения волнующих его мыслей, явлений и чувств, которые показывают их с наибольшей яркостью и производят наиболее сильное впечатление на те читательские круги, на которые произведение рассчитано.

Критик-марксист прежде всего берет, таким образом, за объект своего исследования содержание произведения, ту социальную сущность, которая в нем отлилась. Он определяет его связь с теми или другими социальными группами, воздействие, которое может заключенная в произведении сила внушения иметь на общественную жизнь, а затем переходит к форме, прежде всего с точки зрения выяснения соответствия этой формы основным ее целям, т.-е. служить максимальной выразительности, максимальному заражению читателя именно данным содержанием.

VI

Нельзя, однако, отрицать и обособленной задачи исследования литературных форм, к которой марксист не должен быть глухим. В самом деле, форма данного произведения определяется не только его содержанием, но и некоторыми другими моментами. Классовые психологические навыки мышления, разговоры, то, что можно назвать стилем жизни данного класса (или классовых групп, имевших влияние на произведение), общий уровень материальной культуры данного общества, воздействие соседей, инерция прошлого или жажда обновления, могущая сказываться на всех сторонах жизни, — все это может воздействовать на форму, являясь дополнительным моментом, определяющим ее. Форма связана часто не с произведением, а с целой эпохой и с целой школой. Она может даже оказаться силой, вредящей содержанию, вступающей в противоречия с ним. Она может иногда оторваться от содержания и получить своеобразный, призрачный характер. Это бывает тогда, когда литературные произведения выражают тенденции классов, лишенных содержания, боящихся живой жизни, стремящихся заслонить ее перед собою пустой игрой форм, велеречивых и напыщенных или, наоборот, фривольных и забавных. Все эти моменты не могут не входить в анализ марксиста. Как видит читатель, эти формальные моменты, выпадающие из непосредственной формулы — в каждом шедевре форма целиком определяется содержанием, и каждое художественное произведение устремляется к этому шедевру, — отнюдь не являются сами по себе оторванными от общественной жизни. Они в свою очередь должны находить общественное истолкование.

VII

До сих пор мы вращались, главным образом, в области марксистской критики, как литературоведения. Здесь марксист-критик выступает в качестве ученого социолога, который специфически применяет методы марксистского анализа к особой области — литературе. Основатель марксистской критики, Плеханов, очень подчеркивал, что это и есть подлинная роль марксиста. Он утверждал, что марксист отличается, например, от «просветителя» тем, что «просветитель» ставит литературе известные цели, известные требования, судит о ней с точки зрения известных идеалов, между тем как марксист выясняет закономерные причины появления того или другого произведения.

Поскольку Плеханову приходилось противопоставлять объективный и научный марксистский метод критики старому субъективизму или эстетскому капризничанию и гурманству, постольку, конечно, он был не только прав, но и произвел огромную работу по установке истинных путей марксистской критики в будущем.

Однако никоим образом нельзя считать, что пролетариату свойственно только констатировать внешние факты, разбираться в них. Марксизм не есть только социологическая доктрина. Марксизм есть также активная программа строительства. Это строительство немыслимо без объективной ориентации в фактах. Если марксист не имеет чутья к объективной установке связи между явлениями, его окружающими,—он погиб, как марксист. Но от подлинного, законченного марксиста мы требуем еще и определенного воздействия на эту среду. Критик-марксист — не литературный астроном, поясняющий неизбежные законы движения литературных светил от крупных до самых мельчайших. Он еще и боец, он еще и строитель. В этом смысле момент оценки должен быть поставлен в современной марксистской критике чрезвычайно высоко.

VIII

Каковы же должны быть критерии, которые необходимо положить в основу оценки литературного произведения? Прежде всего подойдем к этому с точки зрения содержания. Здесь дело в общем ясно. Основной критерий здесь тот же, что и в намечающейся пролетарской этике: все, что содействует развитию и победе пролетарского дела, есть благо, все, что вредит, есть зло.

Критик-марксист должен постараться найти основную социальную тенденцию данного произведения, то, куда она произвольно или непроизвольно метит или бьет. Соответственно этой основной социальной, энергетической доминанте и должен критик-марксист произвести общую оценку.

Однако даже и в области оценки общественного содержания данного произведения дело обстоит далеко не просто. От марксиста требуется большая сноровка и большое чутье. Дело сводится здесь не только к определенной марксистской подготовке, но и к определенному дарованию, без которого нет критики. Слишком много различных сторон приходится взвесить, если дело идет о действительно крупном художественном произведении. Слишком трудно оперировать здесь какими бы то ни было термометрами и аптекарскими весами. Здесь нужно то, что называется общественной чуткостью, иначе ошибки неизбежны. Так, например, критик-марксист не может считать существенными лишь те произведения, которые ставят совершенно актуальные проблемы. Не отрицая особой важности постановки проблем злободневных, абсолютно невозможно отрицать и огромного значения постановки проблем, кажущихся на первый взгляд слишком общими или отдаленными, но на самом деле при более внимательном рассмотрении влияющими на общественную жизнь.

Тут мы имеем то же явление, что и по отношению к науке. Глубоким заблуждением является требование от науки отделиться целиком практическим задачам. Азбукой стало, что самые абстрактные научные проблемы при своем решении иногда оказываются наиболее плодотворными.

Между тем, как раз в тех случаях, когда писатель, поэт ставят перед собою общие задачи, по существу стремясь (если это пролетарский писатель) к пролетарской переоценке основных установок культуры, критик легко может потеряться. Во-первых, в этих случаях мы часто не имеем еще верных критериев, во-вторых, тут могут быть ценными и гипотезы, при этом гипотезы величайшей смелости, ибо дело идет не об окончательных решениях

вопросов, а об их постановке и работе над ними. В известной степени, однако, все это относится и к чисто актуальным литературным произведениям. Плох художник, который своими произведениями иллюстрирует уже выработанные положения нашей программы. Художник ценен именно тем, что он поднимает новину, что он со своей интуицией проникает в область, в которую обычно трудно проникнуть статистике и логике. Судить о том, правдив ли художник, судить о том, правильно ли сочетал он правду с основными стремлениями коммунизма, — дело отнюдь не легкое, и, быть может, и здесь настоящее суждение будет вырабатываться только в столкновении мнений отдельных критиков и читателей. Все это не делает работу критика менее важной и необходимой.

Чрезвычайно серьезным вопросом в деле оценки социального содержания литературных произведений является вторичное суждение о ценности для нас произведения, которое по первоначальному анализу относится к чуждому нам, иногда враждебному нам циклу явлений. В самом деле, знать настроения своих врагов очень важно, важно пользоваться свидетельствами, которые идут не из наших кругов. Они зачастую могут навести нас на глубокие выводы и во всяком случае очень сильно обогатить сокровищницу нашего знания жизненных явлений. Критик-марксист ни в каком случае не может, объявив, что такое-то произведение или такой-то писатель представляют собою, напр., чисто мещанское явление, вследствие этого махнуть на данное произведение рукой. Часто из него тем не менее следует извлечь значительную пользу. Поэтому вторичная оценка с точки зрения уже не происхождения и тенденций данных произведений, а возможности их использования в нашем строительстве является прямой задачей критика-марксиста.

Оговорюсь. Естественно, что чуждые, а тем более враждебные явления в области литературы даже в том случае, когда они содержат в себе некоторую долю пользы в вышеуказанном смысле, могут быть чрезвычайно вредоносны и ядовиты и являются опасными проявлениями контрреволюционной пропаганды. Само собою разумеется, что тут на сцену выступает уже не марксистская критика, а марксистская цензура.

IX

Пожалуй, еще сложнее дело, поскольку критик-марксист переходит от оценки содержания к оценке формы.

Задача эта чрезвычайно важная, и Плеханов подчеркивал ее важность. Каков же общий критерий оценки этого порядка? Форма должна максимально соответствовать своему содержанию, придавая ему предельную выразительность и обеспечивая за ним возможность наиболее сильного влияния на круг читателей, на который произведение рассчитано.

Здесь прежде всего надо упомянуть о важнейшем формальном критерии, который разделял и Плеханов, а именно о том, что литература есть искусство образов и что всякое вторжение в нее голой мысли, голой пропаганды есть всегда промах для данного произведения. Само собою разумеется, что этот плехановский критерий не является абсолютным. Имеются превосходные произведения, например, Щедрина, Успенского и Фурманова, которые явным образом грешат против этого критерия, но это означает лишь, что возможны гибридные литературные явления беллетристически - публицистического порядка. В общем и целом от них нужно все же предостеречь. Конечно, публицистика, приобретающая блестящий образный характер, является прекрасной формой пропаганды и литературы в широком смысле слова, но, наоборот, беллетристическая художественная литература, переполняющаяся чисто публицистическими элементами, в общем расхолаживает читателя, как бы ни были блестящи суждения. В этом смысле все же критик может с полным правом

говорить о недостаточной художественной проработке содержания автором, если это содержание не льется в художественном произведении в виде блестящего расплавленного металла образов, а торчит в этом токе большими холодными кусками.

Вторым частным критерием, вытекающим из вышеуказанного общего, является оригинальность формы произведения. В чем должна заключаться эта оригинальность? А именно в том, что формальное тело данного произведения сливается в неразрывное целое с замыслом его, с содержанием. Подлинное художественное произведение по своему содержанию должно быть, конечно, новым. Если нового содержания у автора нет, то произведение малоценно. Это само собою очевидно. Художник должен выражать то, что до него не выражено. Повторение же выраженного (что с трудом понимают, например, некоторые живописцы) не есть искусство, а только ремесло, иногда очень тонкое. С этой точки зрения новое содержание от произведения к произведению требует и новой формы.

Какие же явления можем мы противопоставить этой подлинной оригинальности формы? С одной стороны, мешающий действительному воплощению нового замысла трафарет. Данный писатель может быть в плену у ранее употреблявшихся форм, и хотя содержание у него новое, но оно вливается в старые меха. Такого рода недостаток не может не быть отмеченным. Во-вторых, форма может быть попросту слабой, т.-е. при новом интересном замысле художник может не обладать еще формальными ресурсами в смысле языка, т.-е. богатства слова, конструкции фраз, а также в смысле архитектуры целого рассказа, главы, романа, пьесы и т. д., в смысле ритма и других форм стихотворной речи. Все это должно быть указано критиком-марксистом. Подлинный критик-марксист, так сказать, интегральный тип такого критика обязан быть учителем, в особенности молодого или начинающего писателя.

Наконец, третьим крупнейшим грехом против вышеуказанного частного правила об оригинальности формы является оригинальничание формой. В этих случаях за внешними выдумками и орнаментами стараются скрыть пустоту содержания. Бывает даже так, что оглушенный формалистами, этими типичными выразителями буржуазного декадентства, писатель, имея весьма честное, весьма весомое содержание, старается взвинтить и позолотить его разными трюками, чем и губит свое дело.

Осторожно надо подходить и к третьему критерию формального характера — к о б щ е д о с т у п н о с т и произведения. Толстой очень сильно ратовал за нее. Мы, заинтересованные в высшей мере в создании литературы, которая адресовалась бы к массам, апеллировала бы к ним, как к главным творцам жизни, также чрезвычайно заинтересованы в такой общедоступности. Всякие формы замкнутости, герметизма, всякие формы, рассчитанные на небольшие круги специфических эстетов, всякие художественные условности и рафинированность должны быть преследуемы марксистской критикой. Марксистская критика не только может, она должна указывать на те или другие внутренние достоинства подобных произведений в прошлом и настоящем, но вместе с тем она должна клеймить самое умонастроение художника, стремящегося такими формальными моментами оторваться от живого дела.

Но, как уже сказано, к критерию общедоступности надо относиться с большой осторожностью. Как в нашей прессе, в нашей пропагандистской литературе мы идем от очень сложных, пред'являющих большие требования читателю книг, журналов и газет, до самой элементарной популяризации, так точно не можем мы нивелировать нашу литературу по уровню еще весьма невысоких в культурном отношении больших масс крестьян или даже рабочих. Это было бы величайшей ошибкой.

Слава тому писателю, который может сложное и ценное общественное содержание выразить с такой художественно мощной простотой, что оно

волнует миллионы и десятки миллионов. Слава и такому писателю, который умеет волновать эти миллионные массы, хотя бы и сравнительно простым, сравнительно элементарным содержанием. И такого писателя марксистский критик должен ставить на большую высоту. Здесь нужны особое внимание и особая разумная помощь критика-марксиста. Но, конечно, нельзя отрицать значения и таких произведений, которые не удалось сделать достаточно понятными для каждого грамотного, которые относятся к верхнему слою пролетариата, вполне сознательным партийцам, к читателю, уже обладающему изрядным культурным уровнем; перед всей этой частью населения, которая играет огромнейшую роль в деле социалистического строительства, жизнь ставит много жгучих проблем, и нельзя, конечно, оставлять эти проблемы без художественного ответа только потому, что они еще не стали перед большими массами или что их нельзя еще в общедоступной форме художественно обрабатывать. Надо отметить, однако, что у нас замечается скорее обратный грех; т.-е. наши писатели концентрируют свое внимание на более легкой задаче — писать для культурного круга читателей, между тем, как, повторяем, литературная работа на благо рабочих и крестьянских масс, когда она удачна и талантлива, должна быть нами поставлена на большую высоту в смысле ее оценки.

Х

Как уже сказано, критик-марксист является в значительной мере учителем. Все критиковать, если от этой критики не получается какой-то плюс, какое-то движение вперед. Какой же плюс должен получиться от критики? Во-первых, критик-марксист должен быть учителем по отношению к писателю. Тут возможны негодующие крики о том, что никто не дал критику право считать себя стоящим выше писателя и т. п. Такие возражения при правильной постановке вопроса должны полностью отпасть. Во-первых, из того положения, что критик-марксист должен быть учителем писателя, нужно сделать вывод, что он должен быть чрезвычайно стойким марксистом, человеком исключительного вкуса и человеком больших знаний. Скажут, что таких критиков мы не имеем или имеем их мало. В первом случае будут неправы, во втором будут ближе к истине. Но отсюда можно сделать ведь тоже только один вывод: надо учиться. В доброй воле и таланте в нашей великой стране нехватки не будет, но учиться надо много и твердо. Во-вторых, критик, разумеется, не только учит писателя и вовсе не считает себя высшим существом по отношению к писателю, но он многому у писателя учится. Самый лучший критик тот, который способен с энтузиазмом, с восхищением относиться к писателю и который во всяком случае заранее братски к нему дружелюбен. Марксист-критик должен и может быть учителем писателей в двух отношениях: во-первых, он должен указывать молодым писателям и вообще писателям, способным на большое количество формальных ошибок, на эти их недостатки.

Было распространено мнение, что мы не нуждаемся больше в Белинских, так как писатели наши не нуждаются больше в советах. Быть может, это и было верно до революции, но это просто смешно после революции, когда у нас появляются сотни и тысячи новых писателей из народных низов. Здесь твердая руководящая критика, здесь Белинские всех размеров, вплоть до просто очень добросовестного и знающего литературное ремесло работника, безусловно нужны.

С другой стороны, критик-марксист должен быть учителем писателя в отношении общественности. Не только писатель непролетарский бывает часто младенцем в отношении общественности, совершает грубейшие ошибки в силу примитивных представлений о законах общественной жизни, в силу

непонимания основных моментов нашей нынешней эпохи и т. д., но то же на всяком шагу случается и с писателем марксистом, писателем пролетарским. Это говорится не в обиду писателю, а отчасти даже почти в похвалу ему. Писатель — существо чуткое, поддающееся непосредственным воздействиям действительности. Писатель в большинстве случаев не имеет ни особенных дарований, ни особого интереса для абстрактно-научного мышления, поэтому, конечно, писатель иногда с нетерпением отвергает предложения помощи со стороны критика-публициста. Но это часто объясняется педантической формой, в которой такая помощь предлагается. На самом же деле именно из сотрудничества крупных писателей и литературных критиков с крупными талантами всегда вырастала и впредь будет вырастать истинно великая литература.

XI

Стремясь стать полезным учителем писателя, критик-марксист должен быть также учителем читателя. Да, необходимо читателя учить читать. Критик, как комментатор, критик, как человек, предостерегающий от яда, порою вкусного, критик, разгрызающий твердую скорлупу, чтобы показать великолепное зерно, критик, раскрывающий остающиеся в тени клады, критик, ставящий точку на «и», делающий обобщения на основе художественного материала, — это для нашего времени, времени появления огромного количества ценнейшего, но еще неопытного читателя, — необходимый путеводитель. Таким является он по отношению к прошлому нашей и мировой литературы, таким же должен он являться по отношению к современной литературе. Еще раз подчеркиваем поэтому, какие исключительные требования ставит наше время по отношению к критику-марксисту. Мы не хотим никого запугивать нашими тезисами. Можно начать со скромной работы, можно начать и с ошибок, но надо помнить, что придется подниматься по очень высокой и крутой лестнице для того, чтобы дойти до первой площадки, дающей начинающему критику-марксисту право признать себя хотя бы подмастерьем. Нельзя, однако, не рассчитывать на гигантскую поднимающуюся волну широкой нашей культуры, на фонтаном начинающую бить отовсюду талантливую литературу, нельзя не верить, что нынешнее не совсем удовлетворительное положение с марксистской критикой в скором времени не изменится к лучшему.

XII

Дополнительно коснусь еще двух вопросов. Во-первых, часто возникают обвинения против критиков-марксистов за то, что они занимаются чуть ли не доносом. В самом деле, в наше время довольно опасным является сказать о каком-нибудь писателе, что его тенденции бессознательно, а то и «полусознательно» являются контрреволюционными. Да и в тех случаях, когда писатель оценивается, как чуждый элемент, как мещанский элемент или как попутчик, стоящий весьма далеко на правом фланге, и в тех случаях, когда тот или другой писатель нашего лагеря подвергается упреку в том или ином уклоне, дело кажется не совсем чистым. Нам говорят: разве дело критика разбираться в политической преступности, в политической подозрительности, в политической недоброкачественности или недостаточности тех или других писателей? Мы должны со всей энергией отместить подобного рода протесты. Негодяем является тот критик, который сводит таким путем личные счеты или сознательно недобросовестно возводит подобные обвинения на то или другое лицо. Такое негодяйство рано или поздно всегда разоблачается. Неряшливым и легкомысленным является критик, который необдуманно, не

взвесив, иной раз бросает такого рода обвинение. Но нерадивым и политически пассивным надо признать человека, который искажает самую сущность марксистской критики, боясь громким голосом произнести результат своего добросовестного социального анализа.

Дело совсем не в том, чтобы критик-марксист кричал: «Консулы, будьте бдительны». Тут не призыв к государственным органам, тут установка объективной ценности для нашего строительства того или другого произведения. Дело самого писателя сделать выводы, исправить свою линию. Вообще мы находимся в сфере идейной борьбы. Отказаться от характера именно б о р ь б ы в деле нынешней литературы и ее оценки ни один последовательный и честный коммунист не может.

XIII

И, наконец, последнее. Допустима ли форма ожесточенной, острой полемики?

Вообще говоря, острая полемика вещь полезная, полезная в том смысле, что она увлекает читателя. Статьи полемического характера, в особенности при взаимной ошибке, при прочих равных условиях, больше влияют и глубже усваиваются публикой. К тому же боевой темперамент марксиста-критика, как революционера, невольно влечет его к резкому выражению своих мыслей, однако, при этом надо отметить, что большим грехом критика является заслонять полемическими красотами слабость своих аргументов. И вообще, когда аргументов не очень-то много, а разных язвительных стишков, сравнений, насмешливых восклицаний, лукавых вопросов видимо-невидимо, то впечатление получается, пожалуй, веселое, но и в высшей степени несерьезное. Критика должна быть применима к самой критике, ибо марксистская критика есть одновременно и научная и своеобразно художественная работа. В деле критика гнев — дурной советчик и редко бывает выражением правильности точки зрения. Но допустимо, что иногда бьющие сарказмы и негодующие тирады вырываются из самого сердца критика. Всегда более или менее тонкое ухо другого критика или читателя и в первую голову писателя различит, где имеет место естественное движение негодования, а где прорывается попросту злоба. В нашем строительстве злобы должно быть как можно меньше. Не надо смешивать ее с классовой ненавистью. Классовая ненависть разит решительно, но она, как облака над землей, возвышается над личной злобой. В общем и целом критик-марксист, отнюдь не впадая в добродушие и попустительство, что было бы величайшим грехом с его стороны, должен быть априори доброжелательным. Его великой радостью должно быть найти положительное и показать его читателю во всей ценности. Другую для него целью должна быть его помощь, направить, предостеречь и только в редких случаях может явиться надобность постараться убить негодное разящей стрелой смеха или презрения или раздавливающей критикой, могущей действительно просто уничтожить какую-нибудь раздувшуюся мнимую величину.

Несколько замечаний о стиле Д. Бедного

А. ЕФРЕМИН

Литератор: «Помилуйте, что же тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто даже сально...».

Н. В. Гоголь. «Театральный раз'езд».

Иной мещанин от литературы, желая уязвить Демьяна Бедного, умалить, выскажется так: «Какая же это поэзия? Это, извините, газетный материал...».

Его поэзия, действительно, родилась на газетном листе, и в силу этого эпитет газетный ей не только не чужд, но органически свойственен. Газета в наши дни приобрела столь исключительный вес, что пренебрежение к газете и к ее составным частям — в том числе к газетной поэзии — изобличает малую культурность, провинциализм, обскурантизм.

Все поэты, пишущие в газетах, объединены одной сходной чертой, отличающей их от Д. Бедного: они пишут от случая к случаю и в особые дни. Демьян, как истый фельетонист, откликается положительно на все события: политика, общественность, экономика, театр, суд, литература, журналистика, быт,—все грани и линии дня отливают в зеркале его газетных строк. Здесь он — неиссякаемый мастер, инициатор, виртуоз.

Фельетон — это газетный материал. Он должен поспевать не только за ходом событий, но и за версткой гранок: демьянов фельетон пишется в первую половину тех самых суток, когда он и набирается.

Фельетон теряет половину своей ценности, если он приходит с запозданием. А фельетон Д. Бедного всегда поступает во-время. Срочность, нервный темп газетного impromptu предполагает высшее напряжение творческих сил. Бешеный темп газетной техники хранит в себе некоторые внутренние пороки. Это те язвы, что сообщают газетному материалу сухость, пресность, штампованность. Исследователи современного газетного языка отмечают множество из'янов. Наиболее важные дефектные явления в газетной речи сводятся к следующим: «Утеря глагольности и замена ее именами, чрезвычайное размножение формально-служебных слов, неправильности в управлении, согласовании, неправильности в расстановке слов (инверсия), чрезмерное изобилие периодов, пассивность оборотов и шаблонность, штампованность языка»¹⁾.

¹⁾ М. Гус, Ю. Загорянский, Н. Каганович. «Язык газеты». Изд-во «Работник Просвещения». М. 1926. Стр. 7.

После тщательной примерки к газетному фельетону Д. Бедного всех выдвигаемых обвинений мы должны установить, что ни одно из них не применимо сюда. Разумеется, газетный язык имеет свои особенности, и не может не иметь их, ибо строится на молниеносном материале телеграфных сообщений. Особенности газетного стиля надо, однако, отличать от дефектов этого стиля. Едва прикоснувшись к нему, А. Пешковский, А. Смирнов-Кутаческий, Я. Шафир, Г. Винокур и др. нашли полный короб грехов, свойственных языку наших газет.

Одним из дефектов газетного языка исследователи считают период, громоздкая архитектура которого заслоняет главный мотив, ударный центр фрагмента.

Муза Д. Бедного почти не знает периода. На фоне периодической сухости газетной страницы (этим грешат не только статьи, но и телеграммы, и хроника) ясность Демьяновой речи освежает, как студеной ручей.

Далее исследователи отмечают в газетном языке замену глагольных форм именными, со всеми проистекающими отсюда последствиями: ослаблением темпа и выразительности, нагромождением существительных, постностью, неграмотностью. Переход глагола в существительное парализует категории времени, вида, лица, залога, растворяет сочность речи и её нюансировку. Исследователи ополчаются против изобилия именных форм и видят источником всех бед изгнание активных форм глагола, ведущее за собой разрушение синтаксиса, утрату определений, наречий и пр. Но именно в языке Д. Бедного синтаксис не только не разрушен, но, наоборот, блюдетя с отменной рачительностью и редкой гибкостью, пунктуация его тщательна; глаголы пользуются его признанием в полной мере и служат очищению речи от тавтологических накоплений, от паразитических наростов выхолощенных незначительных слов, от столкновения одинаковых падежей и прочих языковых болезней и бед современной газетной речи. Словарь его свеж, чуток, постоянно обогащается; штампованности, трафарету здесь места нет. Демьян перековал обыденность в кристаллы фельетонных строк и дал образцы газетной поэзии. Почти ежедневно мы находим в газете злободневный демьянов фельетон. Сегодня об одном, завтра — о другом... Международные события и казнокрадство, политическая афера и бытовая язва,—все запечатлеваются газетная строка Демьяна. Быт наш, обыкновенность наших дней — не совсем обыкновенны. Писал же Демьяну Бедному некий Мельсон, что поэзия Демьяна пахнет наганом! Но могут ли строки наших дней пахнуть тепличными орхидеями, когда сами дни и ночи начинены порохом, когда действия и мысли спаяны в одну цепь пролетарской воли к победе. Все стихи Д. Бедного объединены одной конечной целью и изначальной идеей. Поэмы его, песни, частушки — это бойцы одной армии, то победоносно-ликующей, то страстотерпно-жертвенной, но всегда единой!

Кто же герой демьяновой поэзии?

Все эти Ипаты, Климы, Провы, Митьки,—кто их запомнит!—это все маски одних и тех же действующих лиц: рабочий и крестьянин, поп, буржуй... Они меняют лишь имена, возраст, одежду; но по социологическим признакам они неизменны. Революция оперирует массами: отдельные лица теряют свое значение; они растворяются в движении коллективов, массовых групп.

Герой творений Д. Бедного — борющийся, строящий пролетариат. Он знает свое место, его цели ясны, а средоточие воли к действию — основной рычаг. Эта напряженность характеризует нашу революцию, она же характеризует демьянов стиль: один исходный центр и та же цель стремлений.

Цельность демьянова собирательного героя достигается множественным наложением портретов одной социальной группы: так складывается облик этой группы. Облик, а не портрет, облик класса, а не толпы.

Портрет — статичен; облик — динамичен. Статичный портрет расплывается и вновь возникает, чтобы быть забытым, как забывается летучий портрет кинофильма: 16 снимков в секунду! Эти портреты в своем движении имеют нечто — и в этом вся суть — схожее, но во многом они противоположны; портретность современников и участников революционной эпохи в том, что портрет слишком быстро и часто изменяется. Нет отдельных людей, которые обратили бы на себя длительное внимание, или их слишком много. Сегодня героиней стала неизвестная «Баба-Одарка»¹⁾, она вызывает восхищение. Ее поразил в самом сердце гнусный поступок сына, но завтра она может препятствовать тому самому делу, во имя которого она сегодня так ослепительно велика. Там, смотришь, ситуация выдвигает на авансцену Митьку-бегунца²⁾, недурного, но колеблющегося парнягу, переходящего от красных к белым и обратно. И добрый порыв Одарки, и подлость Митьки преходящи; не они злодеи, и не они воплощение революционной добродетели: классы представлены здесь не персонажами, а хорами. И Демьян был бы не Демьян, если бы он не дал такого множества столь типичных и изменчивых масок.

Приведенный пример, взятый из крестьянского обихода, распространяется и на прочие общественные категории. Возникают и исчезают знакомые профили, а из толпы, группы, множества — создается их четкий облик. Вот его персонажи. Не отдельные лица делают революцию, а массы, это и есть герой произведений Д. Бедного. Из пронсящихся, мелькающих его Касьянов, Емель, Климов, Иванов, Вавил слагается облик мужичка-среднячка; Кузьма, Семен, Еремей, Фалилей, налагаясь и типизируясь в его стихах, наслаивают облик красноармейца. Тетка Авдотья, кума Акулина, сватья Федосья, — десятки и сотни этих имен и кличек напластывают облик поселянки.

Мы не привычны к подобному поэтическому собирательному персонажу, кое-кому он набивает оскомину, кое-кого раздражает. Собирательный облик Демьяна Бедного кажется полным дефектом, — он холоден, расплывчат, неуловим.

Конечно, чувства, внушаемые этим демьяновским коллективным обликом, необычны. Нет возможности полюбить или возненавидеть того или иного из его действующих лиц. Но революционная справедливость и законность зиждутся не на субъективных симпатиях. Такие серенькие люди: мужички, солдаты, красноармейцы — нынче герои, а, гляди, через час — ничто. Так оно и есть, такова логика революции. Не перевести, вед, все миллионы и миллионы в героев, немисливо да и не надо. Нужно совсем другое: от времени до времени — в нужные моменты — вызвать их из болота равнодушия, создать просветление и высокое настроение. Это и делает Демьян-поэт. Коллективистичность его поэзии в том, что его слушает, читает и понимает множество; желания, вкусы масс — его стихия; их психика, настроение преходящи, но и в своей мгновенности составляют грань, иногда величайшего значения. И стоит только индивидууму почувствовать себя хоть в самой незначительной мере членом этого воспетого коллектива, как его сознание в п р я м л я е т с я по линии обще-классового желания, коллективной воли и действия, сублимируется в социальное чувство.

Если бы поэт механизировал коллектив попыткой сообщить ему какие-то общие безликие черты, сложилась бы мертвая схема. У Д. Бедного коллектив — не окостеневший чин, а множество лиц, с которыми знакомишься изо дня в день, и которые слагаются в массы. И вот в организации коллективного персонажа, накапливающего свои черты из сотен мелькающих имен,

1) «Баба-Одарка», стих.

2) «О Митьке-бегунце и его конце».

масок, профилей, Д. Бедный—организатор больших панорам, выставок, экранов. В этой новизне имеется пункт, составляющий силу Д. Бедного: это—неубывающая мощь его плодородного дарования. Чтобы дать читателю материал, синтезирующий из множества индивидуальных портретов общий тип, универсальный облик рабочего, кулака, нэпмана, надо писать неутомимо и ежедневно. И здесь Демьян положительно не знает соперника: им уже написано около 100.000 стихов!

Поэзия Демьяна насыщена действием. Грохот металла, звон оружия, лозунги, команда, свалка — требуют для художественного перевоплощения особых приемов. И Демьян Бедный нащупал эти приемы. Эстетика Демьяна ¹⁾ осушила затхлость старых догматов: для небывалых рядов поэтических мыслей понадобились ряды новых форм. Ведь не могла же уложиться газетная поэзия в ложе лирики. И Демьян наметил свой собственный творческий план. Без треска и деклараций он поднял молчаливый бунт против отдельных стилистических моментов, утверждая одновременно свой жанр.

Интересно отметить вот что: в произведениях Демьяна Бедного поражает значительная, даже непроходимая предметная бедность. Нет вещей!—фигурируют лица, меняются признаки, проносятся действующие персонажи, но зияюще отсутствуют предметы обихода: мебель, посуда, картины, мелочи туалета и удобств, платье и пр. Впрочем, оговоримся тотчас же: вещь находит свое место в творениях Д. Бедного, но лишь в том случае, когда она, эта вещь, становится сама центром общественного внимания, когда она рассматривается, как действующая проблема. Но это редкая ситуация, исключение.

Перелистайте его стихи, читайте внимательно, и вы ощутите недостаток комнатной обстановки, нищету обихода, кричащую пустоту, голый фон.

Какое вещественное нагромождение имеем мы, например, в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»! Буржуазия и аристократия сосредоточили у себя все богатства, не попавшие в музеи или в магазины роскоши. А что имелось при царизме у русского крестьянина или рабочего, и в каком окружении можно их представить?! Подчеркнутая оголенность фона жанровых полотен, жесткая обнаженность интерьера действуют на воображение сильнее, чем убогий перечень, нищенская опись избытого скарба. Д. Бедный умело пользуется этим приемом, но прием этот необычен и режет глаз. Художественная традиция дает себя чувствовать: мы воспитаны на литературных приемах прошлого, и каждый прыжок за порог этого прошлого кажется безвкусицей и кощунством.

Есть и еще одна особенность, необычайная для поэта и поэзии: у Демьяна Бедного отсутствует пейзаж.

Наивностью прозвучало бы высказывание, будто рабочий или крестьянин не чувствует красот природы! Вздор! Сельский житель, разумеется, воспринимает пейзаж иначе, нежели горожанин, но и тот, и другой радуются ему по-своему. Однако, эстетическая взволнованность предполагает предшествующий ей покой. Во время борьбы на жизнь и смерть—не до пейзажей! Но,—возразят несогласные,—ведь Д. Бедный не знал пейзажа и в дореволюционном своем творчестве,—верно! Пейзаж и там почти отсутствует, а где представлен, то так тощ, худосочен, непригляден, как сама дореволюционная мужицкая действительность.

Слишком напряженное горе, слишком суровая бедность, слишком густая злоба реяли над крапивою и бурьянами, чтобы не замечать их из-за душистых лепестков лирического пейзажа.

¹⁾ Любопытно в этом отношении стихотворение Д. Бедного «Олимпа нет!. Богов нет!..».

Впрочем, есть и у Демьяна Бедного теплый пейзаж, мирный, жизнерадостный, сочный,—в стихотворении «Брату моему». Крестьяне здесь благодатны, как на картинах Венецианова; деревня покоится в зеленом бархате полей; нежный пух ракии дарит лаской, и пьяное весельем солнце пляшет в лучезарном хороводе неомраченного весеннего счастья...

Давно уж день. Но тишь в деревне у реки:
Спят после розговен пасхальных мужики,
Утомлены мольбой всеюнощной.
В зеленом бархате далекие поля,
Лучами вешними согретая, земля
Вся дышит силою живительной и мощной.
На почках гибких верб белеет нежный пух.
Трепещет ласково убогая ракиетка...

Что такое? Это в 1909 году такая-то благодать, после виселиц и экзекуций! Разгадка следует непосредственно тут же, в финале; поэт кается в нарочитом самообмане:

Пусть краски светлые моей картины—ложь!
Я утолить хочу мой скорбный дух обманом,
В красивом вымысле хочу обрести бальзам
Невысыхающим слезам,
Незакрывающимся ранам.

О, это другое дело. Так вот где кроется тайна оболыстительных ландшафтов! И не имеем ли мы в этом демьяновом «обнажении приема» раскрытия не только его, Демьянова, секрета?

Особенность народного творчества состоит в том, что прием пейзажа сочетается там обычно с жалостливостью. Сопоставление процессов душевной жизни с явлениями внешней природы в народном устном творчестве чаще обнаруживает фиксацию моментов грусти, печали. Почему-то в русских народных песнях элементы природы вызывают образы жалостливости, нежности, но не величия. И Д. Бедный как бы опасается разнежить, размягчить суворость духа: он избегает пейзажных деталей.

Сам по себе факт опущения мотива «природы» и исключения навеваемого ею настроения представляет поэтический уклон, хотя и известный в истории литературы, однако, редкий. Но пейзаж, рождающий страстное настроение восторга, величия совершенно чужд нашему народному творчеству. Равно отсутствует в нем и спокойно-реалистическая передача природных очертаний тонов, колеров, да и вообще полного пейзажа в старом устном творчестве не найти. Скорее всего это — стилизованные фрагменты пейзажа, введенные с определенной символическою тенденцией.

В футуристической поэзии нет сельского пейзажа, но он заменен урбанистическим. У наших футуристов городской пейзаж—обязательный композиционный прием. Строфила, башни, паровозы, домкраты, тоннели—пейзаж поэтов-урбанистов... Мы не найдем его в демьяновых строфах¹⁾. Этот грузный пейзаж из камня и стали тяжелит и чрезмерно цепенит, окутывает холодом. Даже лучшие мастера индустриального восприятия не совсем справились с этим новым циклопическим приемом; последний, пожалуй, способен вызвать рассудочное восхищение, но не волнует восторгом, не окрыляет.

Демьян вывел на страницы столичных газет действующих лиц: Вавил, Касьянов, Климов... На самом видном месте большой литературы он расставил их и — факт небывалый — расположил в обществе модных дипломатов, банкиров, президентов, артистов... Юмористические и презрительные словообра-

¹⁾ См., напр., в «Питомнике» его пейзаж: «Столица. Грязный Двор. Сарай...».

зования переместились на ту половину, где они никогда не жили: на сторону генералов, фабрикантов, королей; уважение и симпатии—к рабочим и крестьянам. Такая именная перестановка, сама по себе, — мелочь, но, взятая в общей композиции газеты, она подчеркивает стиль. Общий тон—временами несколько брутальный—откровенности, снижения, разоблачения, введенный большевиками в политическую речь, в публицистику, нашел свое необходимое отражение и в поэзии. Лакированный шик дипломатического этикета, эта декоративная маска, внушающая пиетет мещанству, должна быть сорвана, и в пандах передовицам «Правды» и «Известий» Демьян пишет грубоватый памфлетный фельетон «М-е-ж-д-у-н-а-р-о-д-н-а-я «панель»¹⁾, где блистательные представители великих и малых держав показаны своднями, альфонсами, потаскушками.

Имеется одна особенность в демьяновой речи, порицаемая многими. Он иногда прибегает к фразировке не совсем пристойной, к ситуациям рискованным и намекам зазорным...

Проблема непристойности недостаточно освещена, даже вовсе никак не освещена. Между тем, в послереволюционной нашей литературе утвердился жанр легких разговоров, грубоватых откровенностей, неприкрытой брани... С первого взгляда может казаться смешной и недостойной тема... «матерной брани»... Но факт имеется, уклоняться от его обсуждения (или осуждения) было бы ложным лицемерием.

В № 189/(3123) «Известий» от 20 августа, 1927 г. напечатана трогательная Демьянова инвектива «Индийский гость». Здесь цитируются тексты из «Хождения тверского купца Афанасия Никитина в Индию». В одном из отрывков представлен торжественный выход султана и, как в инвентарной описи, значатся рядом люди и слоны, доспехи, кони, обезьяны, куртизанки... Эти последние, рабыни гарема, названы по-русски тем термином, что служит в устах народа высшей в отношении женщин бранью.

Известно, что в крестьянском обиходе матерною бранью пересыпана вся речь — деловая, бытовая, ласковая, бранливая. Речь старого офицерства, студенчества, гимназистов, семинаристов всегда была испохаблена самыми непристойными выражениями. Чего больше: «В XVIII веке приговорка по матер и приобрела гражданство даже в тогдашней литературе, и переводчик мольеровой комедии «Дорогие Несмеяные» (*Les precieuses ridicules*) слово «parbleu»²⁾ не задумался перевести по-русски «растарую твою мать».

Эти следы некультурности, рабства, озобления, хулиганства должны быть изжиты как можно скорее. Против этого бесцельного словоблудия надо бороться, и Д. Бедный здесь ни в чем и никогда еще не погрешил. Есть у Д. Бедного памфлет, короткий, но горячий. Скомпанирован он на фактическом материале. Коротко дело сводится к тому, что представитель Продасиликата предложил тульским кооперативам «при продаже вагона чайных стаканов обязательно принять 4.000 фужеров для шампанского»... Демьян отозвался на этот «принудительный ассортимент» стихотворением «Гудит—гудит!», заканчивается оно так:

Довольны «Продасиликатом»?

Хрусталь! В кредит!

А деревенский воздух матом

Гудит — гудит!!!

Это что: норма поведения, рекомендуемая Демьяном? Или, быть может, оправдание? Нет, это просто описание сущего. Демьян констатирует и напюминает: будьте на-чеку!

¹⁾ См. «Известия», от 28 января 1927 г.

²⁾ Parbleu — чорт возьми! ей-богу! и т. д.

Демьян Бедный жизнерадостен, деятелен и отважен. Отвага — свойство для поэта, очевидно, ненужное?.. Когда-то Белинским отвага ценилась, но малоотважные критики, теоретики и историки литературы не могут оценить в другом того свойства, которого им самим нехватает. Демьянова смелость входит составною частью в его стиль, определяя в известной мере изобразительные приемы и характеризует его произведения.

Влияет ли это свойство на внешний процесс оформления? Бесспорно. Акцентировать фразу, тонировать синтаксис — дело темперамента. Изучая эстетический и психологический облик Д. Бедного, его эпитет, метрику, евфонию, — всякий раз неизбежно наталкиваешься на его акцентировку, ударность, — все то, что окрашивает страстью газетную стихотворную речь.

Мы не поймем многого в звучании его стихов, если исходным истоком не примем большевистский темперамент и железную логику коммунизма. Совокупность изобразительных приемов и их синтез, звучание его строф, сила басенной или речитативной строки, его диалог и экспромты не могут быть взвешены, если отгородиться от мироощущения поэта.

Демьянов фельетон созвучен эпохе, отчетлив и пластичен, как выполненное решение. Мудрая политика пролетариата должна быть усвоена крестьянством. Поэт пролетарской революции захвачен общей настроенностью, совокупным ритмом, общей устремленностью. Он — поэт масс, оратор, агитатор, пропагандист. Его пьеска строится так, чтобы прозвучать в самых глухих углах, чтобы зажечь и взволновать коммунистической идеей.

Учение коммунистов и образы крестьянской словесности... две социально разнозначные стихии. Перекрестное их опыление дает особый эстетический жанр, многими и посейчас непонятый и неоцененный. В крестьянскую оправу, в символы старинной песенности облечь самую революционную идеологию — это ведь мастерское сочетание XVI века с XX!

Демьян — не народник. Незачем идеализировать крестьянскую среду, обиход и самих крестьян. Демьян понимает и учитывает их наивную хитрость, грубость, мелочность, их быт, отношения, этот своеобразный, устоявшийся свой стиль жизни. Почему в стихах Д. Бедного так много имен?

Еремей, Фаддей, Наум,
Взяться всем пора за ум.

(«Про землю, про волю...»)

Да возьмите крестьянское письмо, адресованное к сыну, к родным, к кумовьям. Сколько там, в этом листке, имен! Ведь это — отражение и осколок мира. Община — это именной коллектив, в отличие от коллектива пролетарского, безыменного, где все — товарищи. Совсем не то в деревне: здесь свои — это значит семья, свояки, земляки. Круг замкнут, и чужой рассматривается, как чужой. Именная сфера демьянова стиха — важный элемент в драматизации событий и вместе свойский для деревенского потребителя.

В крестьянском быту с его грубою работой нет места сюсюканью. Борьба с природой, суровый жизненный уклад, совместная работа с животными и постоянная к ним близость наложили свой отпечаток на речевой строй; лексика, интонация, цезура, падежность отражают точную повседневность и создают стиль. Демьян уловил этот фамильярно-грубоватый тон, этот изысканный жанр, со всей его отсталостью.

В последние годы исключительным вниманием у Демьяна пользуется рашенник, речитативный стих, наиболее приближающийся к говору, обыден-

ной речи. До революции Демьян пользовался басенной формой: ее аллегория, сопоставления представляли благодарный материал. В годы гражданской войны он создал классическую агитку; под героическую ее мелодию пролетариат беззаветно шел в бой. С нэпом пришла новая струя: Демьян отдает предпочтение райку. Нэп — это уступка крестьянству, борьба за мужика. Влияние на деревню становится основой политики. Смычка города с деревней — важнейший рычаг. Вот тут-то Демьян показал свое мастерство, и, оставаясь по существу не только прежним пролетарским поэтом, но заострив еще тоньше стрелы коммунистической пропаганды, он проложил свежие просеки в деревню, — он вновь её открыл ключом райка.

Свою литературную деятельность Демьян начал, как и все, отправляясь от старых канонов. Однако складывающиеся мелодии составляют кричащий протест против ветхих одежд метра, и Демьян мечется...

Сомнение точит жала острые,
 Души не радует ничто.
 Впиваясь взором в строки пестрые,
 Я говорю: не то, не то...

(«Бывает час...»).

Так писал поэт в 1909 г., ища новый инструмент для «призывно-гневногo клича», который должен быть услышан сквозь фабричный гуд и на степных просторах. Он стал писать вольным ямбом басен. Агитатор, массовик и драматург, он нашел свой путь, возродивши в умеренном было после Крылова жанр. Поиски формы, однако, его не оставляли, и в период нэпа он дает образец райка. Главная органическая особенность райка, и в этом его значительная прелесть, — свобода в числе слогов. У Демьяна количество слогов колеблется от одного до восемнадцати; в среднем же стихотворная строка имеет 5—9 слогов. Эта свобода стоподвижения приглашает как бы перейти к речитативному сказу, к песенному говору. Стихотворная строка раешника дает свободу разговоров, реплик, цвишенуфов; персонажи оживились, воскресли, взыграли! Ах, до чего же они хороши на звучной сцене райка. Демьян с победоносной улыбкой ввел раек в большую литературу. Уже Пушкин интересовался раешным жанром. Он написал «Балду», но это в его творчестве — эпизод, шалость, упражнение. Цензор, однако, не пропустил эту шалость. Д. Бедный стал практиковать раёк лишь после 1917 г. Пожалуй, и ему не дали бы до революции печатать раешника.

Демьянов раёк — это продолжение и дальнейшее развитие пушкинского райка. Здесь налицо закономерная упорядоченность гармонии. Касается она не только конечных созвучий, но всей художественности синтаксической, смысловой, мелодической и пр. Интеллигенция и меццанто подчас не чувят всей силы демьянова раешного речитатива. Возвращенные на книжной стихо-литературе, они ёжатся от этого склада, испытывая то же, что А. В. Кольцов по поводу «Балды», писавший «... и уху больно, и читать тяжело»... Между тем, секрет сводится к тому, что Демьянов художественный раёк, как и «Балда», теряет свою звучальную прелесть при чтении про себя и обнаруживает всю свою силу, когда читаешь его вслух. Раёк построен на акустическом эффекте, но не на зрительном. Громкое чтение — ключ к раешному стихосложению. Речитатив райка приближается к речи народной эстрады: площадной, избяной, закоулочной; раешник сценичен в голосовой передаче. Раёк — не интимная поэзия. Площадной балагур с медной глоткой скандует его на все четыре ветра; тут-то разнообразие ударных сочетаний, их отважные группировки, ритмические вариации и счастливые синтаксические приемы слагают ту интонационную силу, что так ценит Демьян Бедный, — поэт-драматург, поэт-агитатор.

Художественный раёк Д. Бедного представляет собой не силлабический, а чисто тонический стих ¹⁾ народного склада. От прибауток раёшника он отличается организованностью, образностью, высоким эмоциональным тоном. Но вся выразительность народной речи, её сила, драматизм, воздушность, — все, что составляет очарование и притягательность ярмарочного балагура, масляничного деда, собралось в демьяновом раёшном говорке, приближающем его к неравномерному ритму обычного разговора. В этом смысле скороговорка райка куда мощнее барабанного стиля футуристов. В самом деле, Маяковский для разговорности своего стиха ведь прибегает постоянно к инверсии, чего совсем не найдешь у Демьяна Бедного. Малейшая попытка освободиться от инверсии толкает Маяковского неизбежно к «долбникам». Свобода стиха, которой добивались все недовольные застоялым стихосложением, привела Д. Бедного сперва к басне, затем к райку. Знакомый и привычный широчайшим массам, эластичный, гибкий в репликах и диалоге, демьянов раёк не разрушает вместе с тем строфы, рифмуясь как в парных, так и в перекрестных стихосочетаниях. Язык Маяковского ритмически организован (вернее сказать, стилизован), но это не народная речь: так никто не говорит, этот метр не бытует. Раёшник демьяновых стиховых пьес соответствует общему духу народной поэзии и вместе отвечает заданию: воплощает прерывистый, разговорно-прозаический ритм беседы со всеми ее интонационными особенностями и акцентowymi свойствами, рождающими движение. Многосложное наше слово (средний размер русского слова равен 2,7 слога) не терпит никакого в райке ущерба, а широчайшая слоговая амплитуда стиха (от одного до 18!) дает место свободному жесту рассказчика и такие декламационные возможности, как нигде.

Демьян вводит в раёк и чечетку, и псевдоцерковные вирши, кудрявую леснь, степенную пословицу; цитата из архивного документа уживается по соседству с балалаечной скороговоркой; фрагменты из священного писания — с плясовопротоптывающими частушками, а тексты телеграмм — с стиховыми лозунгами. И не чувствуешь диссонанса.

С такой отвагой вводит в свой стих прозу, — суровую, плоскую, грубую, в виде цитат — никогда никто этого не делал: но ведь раёк — это тоже говор, говорок, гуторок, разговор; рядом с ним не режет ухо цитата из немерной речи. Прозаические цитаты оправданы всей композицией райка: тут и прибаутка, и пословица... отчего же не ввести газетного текста? Вырезки из газет, из старых книг, из научных трудов, документы и пр., инкрустируют его стихи. С точки зрения классического канона это нарушение недопустимое. Вводить в строй поэтического языка прозаизмы в таком изобилии, да еще газетного происхождения — это просто варварство!!!

Большой прием демьяновых вводных выдержек почему-то никем не отмечен. Между тем, он заслуживает внимания. Цитата из газеты в газетном стиховом фельетоне вводится Демьяном не как случайная деталь, а в качестве органического члена произведения. Демьян вводит выдержки в начале, в середине (множественно!), в конце. Его начальная — в заголовке фельетона — цитата не играет роли обыкновенного эпиграфа. Нет, это — целое предисловие, после коего тема строится уже не на пустом месте, а на базе фактического материала.

В программном фельетоне «Олимпиа нет!.. Богов нет!..» Д. Бедный излагает свой взгляд на поэзию и на призвание поэта.

... «Поэзия чистая»... До нашей поры
На сей счет остались еще предрассудки.

¹⁾ См. В. Жирмунский. «Введение в метрику. Теория стиха». Academia. Ленинград. 1925. Главы II и V.

Не тверд еще наш литературный канон.
Виршеплетов у нас — легион.

Виршеплетство — оно заразительно,
Прилипает скорей, чем какой-либо тиф.
Сколько всех виршеплетов — не счесть приблизительно.
И никто им не скажет, — а было-б пользительно! —
Что «поэзия чистая» — миф,
Что, к примеру, Советская муза —
Просто член профсоюза,
Да еще — рядовой.
— «Не угодно ли с тряпкой пройтись половой?»
— «И с метлой?»
— «Отчего ж? И с метлою!»

Не спеши под венец к аналою
Или в ЗАГС. Платье проще надень.
Каждый день быть невестой негоже...

Вот вам и «видение поэта»! Какой решимости надо исполниться, чтобы вдохновение, эту мистерию творчества, низвести с голубого Олимпа на положение члена профсоюза. Демьян Бедный смело пересоздает газетный стиховой фельетон, стиль поэтического райка, жанр героической агитки, склад противоцерковной сатиры; намечает рисунок собирательного героя; чеканит по-новому речевые обороты; вычеркивает пейзаж; вносит в лирику густую струю публицистического драматизма. Все это вызывает со стороны слабоголовых реакцию: грубо! Между тем, после революции народный говор отвердел; мужские ударные акценты заняли место дактилических и гипердактилических окончаний, выражавших суровую жалостливость в лучшем случае, а в худшем — бабье причитанье развинченного эстетизма. Некрасов, утверждавший «долгословие», был верен музе «гнева и печали» и... больше всего печали. Но как раз тогда складывалось начало конца: фабричный рабочий уже ковал обойму того патрона, что призван был взорвать старый режим. От ямбов Пушкина, — через желейные трехдольные размеры Некрасова, — к площадному, чисто тоническому метру Д. Бедного!

Демьян Бедный — любитель русской речи и азартный ловец слов, колких словообразований, древних народных раритетов, слов-поскрёбшей, присказок и пр., и т. п. Самые убогие термины являются у него желанными членами речи; он не боится прозаизмов. Прекрасно владея техникой версификации, он не прочь иногда порезвиться каламбурами, утрированными сопоставлениями, гротесковыми сдвигами и смещениями.

Рифма его дает сочный, звучный, впечатляющий колорит; она разнообразна, доступна распознаванию и в массе своей приближается к классической рифме, избегая ассонансов и полурифм и перенося главную тяжесть на заударный отрезок. Здесь Демьян — старовер и привержен старой школе. Чем объяснить такой консерватизм? Во всяком случае исключается предположение о технической слабости. Демьян Бедный шутя, экспромтом, играет рифмами, как костями, и дает, например, такой образец экспромта, построенного на срединной и концевой рифме.

В паутине || черных линий
Подглядели || мы подмен.
На картине || Муссолини,
А на деле || Чемберлен.

(Надпись к подвижной карикатуре).

Импровизируя; он использует свой языковой закал, ежедневную черную работу. Эти навыки составляют благодарную почву, когда надо молниеносно творить, когда поэт уходит от интимности, спешит на толпокипящую площадь, чтобы взмыть к высотам трудового, борющегося коллектива. Тогда ему некогда разводить субтильные краски в слезливой водиче.

Являясь выразителем передовых стремлений своего времени, Д. Бедный идет своим оригинальным путем, создавая стиль поэзии, пахнущей наганом, отражая общую устремленность эпохи.

Место Д. Бедного твердое; уже давно Л. Н. Войтоловский назвал его барабанщиком революции. Трубач, горнист ликующих зорь, он не устает бить тревогу, выкликать боевой призыв:

Пророча врагам не одну еще баню,
Сигнальщик о нашей победной поре,
Я барабаню,
Я барабаню
О «Мировом Октябре»!

Это — его стиль. Демьян всегда шел в ногу с событиями. В вихре бурных переживаний он находил свое место передового герольда, барабанщика, сигнала. Эти шумные демьяновы мужики, галдящие, беспокойные, растерянные, весь хаос его персонажей, положений, — ведь это сама эпоха, грубоватая и вдохновенная, беспокойная и сладостная, хаотичная и организованная. Говорят, что в потоке революции много мусору и пены, грязи и злобы, стяжания и эгоизма... Что ж, надо сознаться, это все имеется. Но оценку событиям надо давать диалектически, и тогда станет ясным, что в водовороте исторических потрясений — не без гребенной пены, и размытой накипи. Ищите здесь чего угодно, только не затхлости застоя. Так же вот и с поэзией Д. Бедного: здесь можно найти наспех сделанные, слабые, спешные пьесы... но не отыщешь застоялого букета плесени, столь свойственного некоторым, изысканным писателям.

В его творчестве не могут не отпечататься следы бурноногих коней революции; импровизация — неотъемлемый элемент революционного творчества, и не все и не всегда здесь удачно.

Много у него спешного, слабого. Но революция имеет свою логику: это — не академия, не салон, куда попадают лишь избранные. Революция и ее поэзия рассчитывают на миллионы, десятки миллионов и на меняющиеся настроения. Быстрота, ловитва, находчивость играют не последнюю роль. То, что нравится одной группе, не нравится другой. Плохие стихи имеются. Не станем замалчивать. Но, спросим, сколько? Сотни? Тысячи! Пусть, но... это все же ничто в сравнении с 100.000!

Поэзия Демьяна останется драгоценным наследием нашей эпохи. Многогранная, как сама революция, она располагает сторонами разной ценности. В лоне революции перемешаны перлы с мусором: от прозаизма анкет до экстатических взрывов борьбы и творчества. Так и в поэзии Д. Бедного: алмазы оброненных символов и звуков перевиты иногда цветными бумажками, — грубая, наспех сделанная мишура! Он кажется грубоватым, — не потому ли, что наше поколение воспитано и развращено символистами, утончало сь безыдейностью, потусторонностью!

О, сколько среди них — этих последних — врагов!

Они зашипели, как василиски: грубо, непозитивно,

Вместо напевного стиха —
Жвачка! Резина!
Обо всем и про все! Мусор! Хлам! Чепуха!
Да и форма, ха-ха!
Сорная просто корзина!

(«Олимпа нет!.. Богов нет!..»).

Так резюмирует сам Демьян, объект этих нападок, отношение к нему эстетов. Да, он роется в мусоре. Он свел свою музу к юдоли самой жизни. К своей пьесе «Одинокие» Г. Гауптман поставил эпиграф: «Отдаю эту драму

тем, которые ее пережили». Демьянова поэзия отдана тем, кто пережил прошлое, как муку, а революцию, как освобождение.

Когда говорят, что демьянову поэзию нельзя причислить к вечной, универсальной, абсолютной... нам кажется, что вместо того, чтобы заниматься прогнозом в такой деликатной теме, как «вечность», и вступать на стезю схоластики,—не лучше ли поставить вопрос на ноги и сформулировать его так: достойно ли творчество Д. Бедного своего исторического периода? А великий период пролетарской революции, ее подготовки, авангардных боев, войн, социалистического строительства — этот период, очевидно, будет исчислять свои хронологические сроки не одним десятилетием. Да и значение его совсем не в его временной длительности. Так вот, если Д. Бедный внял зову эпохи и ответил ему, — он выполнил миссию поэта, ибо «истинное искусство всякого данного исторического периода выражает стремления именно этого периода, а не какого-либо другого»¹).



¹) Г. В. Плеханов. «История Западной Литер.» (1800—1910). Ред. Батюшкова, т. II. Стр. 324. Изд. т-ва «Мир», 1913.

Советская земля

ДНЕПРОПЕТРОВСК

С. Буданцев

1. Ветер

Ветер вздувал пыль.

В чужой город везаешь со смешанным чувством любопытства, легкой неприязни, недоверия. Полтора суток пути, ранний приход поезда, грязноватый и скудный вокзальный буфет, тряска на извозчике под ледяным, пропизывающим ветром (весна,—а деревья по-осеннему безлиственны и унылы, небо налито свинцовой угрюмостью),—все это отнюдь не располагает к новым местам.

Проспект Карла Маркса (бывший Екатерининский) из конца в конец пересекает город. Он широк, в четыре московских улицы, весь засажен акациями и тополями, прекрасной его итальянской мостовой в пору позавидовать столице. Глухо погромыхивая, скользят первые трамваи между двойным рядом еще голых деревьев, цветочные гроздья которых сплетаются в мае в прятный и душистый пахучий тоннель. Все города имеют свое сочетание цветов, Днепропетровск — серое с красным.

В седьмом часу утра город еще лениво спит, слепо глядя на улицу плотно закрытыми ставнями домов. Ни одного прохожего, ни одного экипажа. Извозчик наш, взбираясь в изнурительную гору, беспрепятственно колесит с одной стороны проспекта на другую, не решаясь в этом безлюдье твердо выбрать надлежащий путь. Управляемая неуверенным шевеленьем вожжей, лошаденка недомело мотает головой и то срывается почти в галоп, то еле тащится против вздувшего тучи пыли ветра.

Город еще незнаком и чужд. Еще не замечен нелепый каприз, заставивший комхоз назвать гостиницу и ресторан с музыкой именем восставшего раба Спартака, не имевшего крова и пищи. А там, обжившись, впоследствии узнаешь, что тир для стрельбы из винтовок сооружен посреди площади и против больницы, пули иногда летят над самым зданием, и выстрелы всегда пугают больных. А ведь в двух шагах — загородные пустыри, там бы, среди естественных барьеров, и устроить тир. Оказывается, что в городе махновцами разрушена тюрьма, и на её месте разбит превосходный парк.

Все это еще неизвестно. Улица, мертвая улица города, кажется застроенной нежилыми сооружениями. Так воображение противится знакомству с новыми местами.

Сплошной ряд вывесок мелькает по обеим сторонам проспекта: бесчисленные Цербкоопы, Червони Виробники, кравцы, швецы, частники, торгующие гастрономией, сластями и фруктами, книжные магазины украинского Гиза, Гиза РСФСР, кооперативных организаций.

Один иностранец отметил в Москве невероятное обилие пивных и книжных магазинов.

— Народ беден для ресторанов и рвется к культуре, — правильно заключил наблюдательный гость.

В Днепропетровске пивных немного...

Еще поражает обилие вкрапленных между естными и мануфактурными витринами парикмахерских. «Голярня», «Голярня», «Голярня», — несутся мимо вывески на красном и кубовом фоне. Кажется, весь город только и занят с утра до вечера стрижкой, бритьем, завивкой и прочими видами ухода за волосами.

Наконец, проспект кончился. Экипаж свертывает на огромную, пустынную площадь с недавно, повидимому, рассаженными чахлыми прутиками каких-то, неразличимых в это время года, древесных пород, с пыльной, немощеной дорогой, спускающейся мимо внушительных зданий Горного и Медицинского институтов, мимо собора короткими, неширокими улочками к приднепровским пустырям. Это — нагорная, наиболее старинная, интеллигентская часть города.

Внизу, между невысокими стенками домов, глянул Днепр. Он кажется так близко, что явно видны его весенние полноводность и мощь. Он надвигается на глаза. Лед, как говорили еще в поезде, прошел на днях. На необогретой солнцем речной поверхности от него остался серебристо-стальной отлив, матовый холодок не пронизанных лучами плотных водных слоев.

Да, город рос когда-то широко и богато! Здесь любят похвастаться невыполненными замыслами.

— Видите вон ту ограду вокруг собора? — спросят вас. — Ну, так это еще Екатерина Вторая наметила очертания стен будущего собора.

Попробуйте представить себе церковь, площадью десятины в полторы!

Широченный проспект, огромные — словно для парадов — площади, оголенные пустыри, места бывших (вырубленных в бестопливные годы) и будущих парков, — нет, этот город не похож на русские города средней полосы, строенные с пошехонской медлительностью и небрежностью.

Замысленный феодальным тщеславием «екатерининских орлов», он воплотился в конце девятнадцатого столетия в столицу донецкого и криворожского — угольного и железнорудного — капитала. Город на большой реке, город на смыке богатейших районов — рос мощно и быстро. По ночам с нагорной стороны, за перспективой фонарей проспекта видны многоверстные россыпи огней, — это заводы и железнодорожные пути. Война, гражданская война — Екатеринослав раз двадцать переходил из рук в руки, — как шок, как внезапный паралич, пересекли строительную горячку. Вот музей, уже четырнадцать лет как подведенный под крышу и не оконченный; вот через всю быстрину Днепра торчат массивные быки не перекрытого фермами моста Мерефа-Херсонской железной дороги, и дальше, над Мандрыковкой, по оврагам целая цепь искусственных сооружений — насыпей, труб — той же ж. д.; теперь здесь прогуливаются по праздникам обыватели.

*
*
*

Днепропетровск, по внешнему виду толпы в центре, — типично обывательский город. Когда-то вместе с рабочими окраинами в нем насчитывалось до четверти миллиона жителей, теперь их цифра едва достигает ста тридцати пяти тысяч. Город не криклив и не шумен, движение маленькое: рдкки извозчики, не часты трамваи, автобусы ходят не по городу, а лишь на дальние расстояния, — от Днепропетровска до Кичкаса (около 70 верст), — автомобилями до смешного мало, лучшие — собственность учреждений. Частные и наемные машины стары, расхлябаны, не берут ни одного подъема и останавливаются на полдороге.

Мещане, интеллигентные совработники, мелкие ремесленники, — вот приблизительный состав населения городского центра. Рабочие окраины: Мандрыковка, Чечелевка, Кайдаки живут особой, отличной от прочего города, жизнью, — редко можно увидеть прогуливающегося по проспекту рабочего. Их поселки лежат

у Днепра, там, где шел, наступая на город, Махно, и за вокзалом, откуда по вечерам полыхает, обнимая полнеба, огромное зарево Брянского завода.

А город, весь и без остатка, состоит из обывателей. Одни из них честно и по рутине трудятся в школах, больницах, на прочих ответственных и неотвеченных советских службах. Другие поторговывают, тачают салоги, шьют немудрые пиджаки и брюки. Третьи, наконец, занимаются просто хозяйством и еще какими-то никому неведомыми, делами, дающими им возможность мирно и полегоньку проживать «своим углом», — в больших, перешедших от отцов по наследству, уютных домах и в крошечных белых домиках с зелеными ставнями и низкими окнами в фикусах и амариллисах.

Горный институт породил и собрал вокруг себя массу инженеров и инженеров, — дельных и бездельных, рвущихся в кипучую работу на заводах и в шахтах и, наоборот, отлынивающих от нее, оторвавшихся — по лени ли, благодаря ли безработице — и от масс, и от настоящего дела.

Вокруг Медицинского института гнездятся многочисленные врачи всех специальностей, профессора, ассистенты, ординаторы, просто студенты. Одни только учатся лечить и врачевать чужие недуги, другие несут эту невеселую обязанность, как привычное тягло, третьи, наконец, в лабораториях и кабинетах двигают вперед науку и ради нее часто в состоянии забыть тех самых живых людей, которым она служит.

Мелкие интриги, зависть, подкалыванье под чужой успех и благосостояние, старание испортить карьеру и жизнь товарищу по работе, ожесточенные национальные счеты (здесь совместно работают русские, украинцы, евреи, — национальная вражда всегда была обострена на Украине, не изжита она и до наших дней) распускаются пышным цветом в стенах этих храмов науки. Сплетни и каверзы, мизерные радости и ничтожные огорчения — вот серый фон, на котором — как и всюду в провинции — зачинается и плавно течет до заранее предначертанного склона унылое существование среднего интеллигента.

Но все же, это он, интеллигент, читает книги. Ради него, его тощим кошельком, существуют многочисленные книжные магазины. Это он — частный покупатель, роющийся на прилавках и индивидуалистически затрепывающий свои книжки, загадочный читатель, поглощающий тиражи.

Он сидит дома, изредка ходит в гости, до сих пор считает кино второсортным искусством, в театр собирается, как в дальнюю поездку, — вот и остается книга. И трудом, и забавой оборачивается она. И мечтой.

Молодая честолюбивая женщина, врач-офтальмолог, страстно и неотступно мечтает открыть «возбудителя трахомы, роется в специальных изданиях и статьях, и наивно свысока третирует работы в этой области американских ученых, обладателей богатейших научных институтов.

— Открою непременно!.. Я знаю, он мне во сне приснился, этот проклятый микроб.

Она смеется.

А над всем этим — степной ветер, злобный сухой, метет пыль.

2. Злоба дня

В квартире моих хозяев большое волнение. Злоба дня в городе — принудительная высылка врачей на периферию. Хорошая знакомая моей хозяйки, Галя Гесслер, молодой терапевт, прибежала вся в слезах: ее посылают в Сумы главным врачом, — это же ужас, что она там будет делать, у нее нет никакого опыта! Нет ничего хуже, как иметь дело с украинским крестьянином: он так хитер и недоверчив.

— Представьте, — рассказывает она, мешая русский и украинский (она сдала экзамен по «першей категории») языки. — На-днях ко мне приходит на прием в больницу старик. Я с ним долго и старательно провозилась, прописала

лекарство и говорю: «Идуть, дедуся, а через два дня обовязково приходьте показаться. Побачу, що с вами робить дальше. Слышите?». Так что бы вы думали? Старик собрал свои пожитки, вздохнул лицемерно и каже: «Ни. Пиду до частного». Вот и относись к ним добросовестно! И пойдет, непременно пойдет к частному, последние гроши заплатит за какую-нибудь бесполезную дрянь, которую тот ему пропишет. Да я-то за что время теряла? У меня их сегодня на приеме пятьдесят прошло, да в рентгеновском двадцать...

Ей сочувствует приятельница, тоже врач:

— Условия нашей работы ужасны. Вы себе представить не можете, до чего в больницах сокращено потребление перевязочного материала и медикаментов. Такие дорогостоящие лекарства, как иодистый калий, морфий, сальварсан, запрещено выписывать вовсе. Нет нужных аппаратов, нет инструментария. Экономия доводится до абсурда: из-за недостатка бинтов и салфеток вся зловонная материя, вытекающая из раны или язвы больного, пропитывает простыню, выливается на тюфяк. Гибнут вещи во много раз более ценные, чем марлевые салфетки и лигнин. Сокращать потребление материала — директива центра. Меня из себя выводит это слепое, рабское подчинение директивам центра, часто обнаруживающего полное неведение относительно того, что совершается на местах. Недавно с одним моим коллегой, хирургом, произошел такой случай: в шесть часов утра в хирургическую клинику, — заметьте себе, в хирургическую клинику, — приводят тяжело избитого больного с открытым переломом бедра. Требуется немедленно наложить шину. Нет ни одной шины во всей клинике. Что делать? Хорошо, врач не растерялся: собрал подвернувшиеся под руку куски картона, скрепил их с помощью бинта и наложил на больную ногу этот самодельный, неудовлетворяющий самым примитивным требованиям хирургии, лубок. Да это ли одно!.. Наши рентгенологи поставлены почти в преступные условия: нет защитительных перчаток, нет фартуков. Они принуждены работать всего каких-нибудь четыре часа в день, да и то с огромной опасностью для здоровья. Тогда как работа, например, немецкого рентгенолога протекает в условиях максимальной безопасности. Там включение тока происходит автоматически, простым прикрытием двери по выходе врача из рентгеновской камеры. Дверь снова открывается, впуская врача, — тем самым работа тоже прекращается. Немецкий рентгенолог может работать с полной нагрузкой, т.е. ровно вдвое больше нашего, — восемь часов в сутки.

— Но ведь таковы условия в городе, — нервно перебивает ее Галя Гесслер. — Представьте же себе, во сколько раз все это более убого в деревне? Если здесь нередко приходится лгать больному, подавая несуществующую надежду на выздоровление, то там просто ничего не останется, как отсылать его домой догнивать и умирать без всякой помощи. У нас нет средств лечить и содержать на больничном довольствии людей с упорными хроническими заболеваниями. В столице со всем этим как-то справляются. Провинция же бедна, у нас нет денег, нет людей...

— Вот видите, вы сами говорите, что нет людей. А, между тем, в Сумы ехать все-таки отказываетесь?

— А что я там сделаю, голыми-то руками, да еще и без опыта? Нет, я решила твердо — не поеду и не поеду. Пусть доводят дело до суда.

Большинство врачей, получивших предписание отправиться на работу в уезды, — коренные местные жители. У них в Днепропетровске семьи, насыщенные домашние уюты, годами нажитые навыки и привычки. Отработав положенное количество часов, хотя бы и утомительных, и долгих, сделав по отношению к пациенту все, что в его доморожденных силах, такой врач идет домой с тем же чувством облегчения, что и всякий рядовой канцелярист или совслужащий: отзвонил, и с колокольни долгой. Вечер его занят прогулкой на берег Днепра, немудрыми домашними увеселениями с забредшими на огонек знакомыми: игрой в пословицы, в слова, в пинг-понг, московской передачей по радио

оперы или концерта, перед самым сном—страничкой-другой специальной статьи в медицинском журнале.

Работа же в деревне—рядовой, далеко не героически настроенный врач прекрасно это понимает—потребуется всех его часов, всех душевных сил всей инициативы, альтруизма и любви к человеку. На это способны далеко не все.

Как бы то ни было, отсылаемые на периферию врачи волнуются, ездят хлопотать в Харьков, в центр, цепляются за насиженные места чуть не зубами, в полном отчаянии, почти каждый решается доводить дело до суда. Тесный врачебный мир кипит, как муравейник.

3. П а с х а

Пасха в Днепропетровске выдалась в этом году на-диво холодная,— не распустилось ни одной почки на деревьях, ни одна травинка не пробилась на поверхность земли.

В провинции не вывелся, лет десять забытый Москвой, обычай ходить друг к другу с праздничными визитами. С утра звенит звонок, являются подтянутые прифранченные мужчины, церемонно целуют хозяйке ручку, выпивают рюмку вина и, нетерпеливо поерзав на стуле, мчатся дальше. Хозяин дома в свою очередь где-то весь день проделывает этот, никому ненужный и всем до смерти надоевший, церемониал.

Визиты продолжаются два дня. Два дня длится отпуск, о котором усталый от работы человек мечтал задолго до его наступления. И вот, праздник окончен, на утро нужно рано вставать и впрягаться в привычную лямку нередко изнурительного труда. А муж и жена измучены и обозлены бессмысленно проведенными днями, желудки расстроены от обильной, жирной, не во время поглощаемой пищи, настроение скверное, ночь проведена без сна.

Немногим лучше веселились в эти дни и рабочие.

Мирно начатый гостинями и гуляньем, праздник у многих празднователей оканчивался диким пьянством, поножовщиной: немало попало в больницы и амбулатории покалеченных, искромсанных, израненных. Одна женщина принесла в больницу трехмесячного ребенка, изувеченного родным отцом. На бедном маленьком тельце не было ни одного живого места: сплошные кровоподтеки и ссадины. Ребенок, разумеется, умер.

Только небольшая часть сознательной рабочей молодежи проводила праздничные дни в здоровом отдыхе и спорте. Несмотря на холод и ветер, действовала футбольная площадка, по Днепру, споря с течением, скользили лодки. С берега было видно, как весело и сильно откидываются сидящие на веслах юноши,— проверка их молодой выносливости,—преодолевая сопротивление упругой мощи ветра и гонимой весенним половодьем реки.

Оба берега Днепра в настоящее время голы и лишены растительности. Мелкая серая пыль беспрепятственно вьется над головой: кругом ни куста, ни одной, хотя бы редкой, древесной заросли, чтобы ее задержать. Обильные сады и леса, украшавшие в былые годы днепровское побережье и острова, вырублены и сожжены во времена Махно, в бедственные, голодные, бесплодные годы. Знаменитый когда-то сад, расстилавшийся перед фасадом Потемкинского дворца—этого прекрасного, благородных и скромных линий, обиталища екатерининского временщика,—теперь даже трудно назвать садом. Старый сад погиб, новый—всего только низкорослое насаждение по типу итальянских и французских парков, всю прелесть которого покажет более или менее отдаленное будущее. Но террасы, на которые разбит этот новый сад, открывают совершенно изумительный вид на Днепр и на Мерефа-Херсонскую дорогу, по которой должны были проложить, но не успели, однокольный железный путь. Теперь здесь чинно прогуливаются праздничные рабочие

парочки, желая покрасоваться друг перед другом перед тем, как отправиться в веселую, но небезопасную в такую погоду лодочную прогулку по Днепру. В Потемкинский сад рабочая молодежь почти не заходит, разве пересечет его, не задерживаясь на чинно расставленных скамейках. Ей больше нравятся прибрежные камни.

Вся эта молодежь с утра трезва, отдается развлечениям и здоровому спорту, гуляет, не хулиганит, никого не задирает. Но вечер праздника и у нее никак не устроен: в городе нет хорошо, разумно и увлекательно организованных для нее увеселений. Скука волей-неволей гонит ее примкнуть к более разгульным и менее сознательным товарищам, к их самостийным пирушкам и пьянкам.

Плохо молодежь веселится в больших центральных городах, еще хуже обстоит дело в провинции. Слишком мало и неразумно идут ей в этом отношении навстречу. Предлагаемые ей культурные удовольствия такого низкого качества, что не только не привлекают ее, а, наоборот, отпугивают. А между тем, как жадно молодость бросается всегда на все, что может потребовать от нее сообразительности, инициативы, самодеятельности, выявления самых светлых, богатых, жизнерадостных сторон характера, личности, личного творчества. Беда не в ней, беда в плохих, а чаще — в никаких руководителях.

Ко мне здесь приходит начинающий поэт восхищаться Пастернаком и мечтать о Москве. Он заведует клубом на окраине. Лозунг культурной революции для него не отвлеченный газетный заголовок, а живой призыв, идеология его повседневной работы.

Он жалуется, что культурная работа трудна из-за отсутствия людей и вкуса у тех, кто эту работу направляет.

— Меня обвиняют в футуристическом уклоне, говорят, что Маяковский, Пастернак, Асеев непонятны. А иногда к нам приезжают молодые люди и поют такие куплеты, что уши вянут. Это верх пошлости, безвкусицы, безграмотности. А знаете ли вы, что поет рабочая окраина? «Горячи бублики» слышали? А «Гоп со смыком»? Это песня, в которой до трехсот строф, и большинство из них такие:

Вы меня послушайте, друзья,
Гоп со смыком — это буду я,
Ремеслом избрал я кражу
И из допра не вылажу,
Исправдом скучает без меня.

Вы найдете в ней упоминание и о Мейерхольде, и о нашумевшем уголовном деле. А еще есть песня «Из одесского кичмана», «Соловки»...

Юноша мой — человек со стихотворной культурой, секрет успеха этих вульгарных, но ритмически интересных, злободневных и живых песен ему понятен.

— Ни Маяковский, ни Тихонов не напишут песни. Ее даст эстражник, который сочиняет стихи «для голоса». Но у нас вообще мало сочинено «для голоса», для маленькой, упрощенной клубной сцены. И потому наши антирелигиозные паскальные вечера были неудачны, зрители скучали от всех этих живых газет, грубо агитационных, наспех сколоченных.

Он с горечью повествует, как экономят свет, не позволяют даже в такие ударные дни декорировать помещения.

— А церкви превосходно освещены. В них прекрасная живопись, пышность, мистика свечей, превосходный традиционный текст, поданный с опытом, с настоящим искусством. А пение!..

Недаром рассказывают, — наскучив в клубе, рабочие, и особенно работницы, шли к заутрене.

4. Немного о молодежи

Кстати о молодежи, не только о рабочей, но о молодежи вообще.

Мне пришлось познакомиться с довольно известным здесь врачом, типичным старым интеллигентом-евреем. Ему за пятьдесят, он учился в свое время в классической гимназии, изучал латынь и греческий, преклоняется перед гуманитарными науками, считает, что никакие технические знания не могут быть по-настоящему полноценны без знания литературы, без общей культуры, без грамотности в широком смысле слова. У него есть сын, девятнадцатилетний юноша.

— Мой Юрий, — говорит, разводя руками, мой собеседник, — это новое поколение. Я смотрю на него, изучаю, не вмешиваясь и не направляя, потому что это совершенно бесполезно. Какие бы ни были взгляды у меня, его отца, — а я человек старых традиций, старого воспитания, на многое уже не могу смотреть иными глазами, чем смотрел всю жизнь, — Юрий примет настоящее, примет революцию со всеми ее выводами и последствиями, всю безоговорочно. Для него старого нет. Он вырос в новом, новое — это его и его сверстников время, их эпоха. Он ненавидит старое, которого не знает, он за коллективизм и против индивидуализма. Если я говорю ему, что ради торжества социализма приходится втиснуть каждого отдельного человека в самые жесткие и узкие тиски, он с пеной у рта станет защищать эти тиски. Но... замечательная вещь! Как сильно все-таки сидит в них старый человек. Вино новое, но мехи, по крайней мере, это вот поколение, мехи старые. Попробуйте самого Юрия для торжества коллективизма втиснуть в требуемые им для других рамки, — он возопиет, он возмутится, будет бороться и отгрызаться, как от насилия. Новый по идеям и мировоззрению человек, усвоивший их, как непреложную истину, он еще не переродился, полного перевоплощения не произошло. Перерождение не наступает так внезапно, в какой-нибудь десяток лет; для того, чтобы переродиться массам, нужно еще пройти через много изменений и эволюций, может быть, лишь внуки наши, или даже правнуки будут обладать полной адекватностью между личными стремлениями и интересами и общественными идеалами, продиктованными нашей эпохой. А покуда, — если беспристрастно, с самообладанием исследователя приглядываться к молодой душе, — человек все еще в сокровенных своих побуждениях и стремлениях обособлен и враждебен своему ближнему. И, тем не менее, когда Юрий с товарищами влянутся, что за то, чтобы совершили все чаяния и требования революции, готовы сжечь собственную руку, — они вполне искренни. Я знаю, что они способны это сделать.

Старик наблюдает юношество напряженно и живо. Его факты строго проверены, он — врач. На выводах он не настаивает. И опять очень верно говорит он об общем интеллектуальном уклоне молодежи:

— Они знают очень много. Правда, желая сжечь собственную руку, никто из них не скажет, кто был Муций Сцевола, они часто не умеют отличить Пушкина от Жуковского, не вполне владеют даже простой, элементарной грамотностью. Но их познания в области технических наук, экономики, быта — огромны. Изучая в свое время географию, мы умели назвать и показать на карте любой город, любую горную систему, любой водный бассейн в данной стране. Юрий с товарищами, может быть, не скажут вам, в каком месте стоит Попокатепетль, но зато точно, с обилием цифр и самых специальных данных, укажут, где, в какой части нашего Союза лучше всего сеять овес, какова будущность нашей угольной или нефтяной промышленности, где и на каком заводе изготавливаются лучшие сельскохозяйственные машины. Молодежи свойственны крайности и увлечения. С присущей ей горячностью, она самоуверенно отрицает пользу для себя гуманитарных наук, которым в наше время приписывалось такое большое значение. Она практична признает лишь науки, имеющие, так сказать, прикладное, в широком смысле слова, значение. Но если понадобится

с какой легкостью одолевает она всякие латыни и прочие премудрости, над которыми мы корпели годами, шагает через них, как через ничтожнейшие препятствия!

Только в прочном, устоявшемся быту тихой провинции можно так подробно наблюдать людей, как делает этот старый хирург. Его скептицизм выше и доброкачественнее непродуманной веры многих.

Его Юрий стремится в Горный институт и путает Жуковского с Пушкиным. Но ведь мой молодой завклуб, тот знает наизусть «Евгения Онегина», и «Облако в штанах», и «Поверх барьеров». Старые профессорши брюзжат на молодежь совершенно в том же тоне, как брюзжат они на недостаток мануфактуры и короткую стрижку женщин, шопотом повествуют о каких-то абортах у двенадцатилетних девочек и еще какие-то сногшибательные выдумки. Но молодежь растет, невзирая на сплетни. Здесь, в провинциальной тишине, особенно заметен этот прекрасный и победительный рост.

— Да,—задумчиво произносит мой собеседник.—Человек, конечно, остался человеком. Но разница все-таки есть, и разница огромная. Вспомните наше время, когда мы кончали школу,—о чем мы мечтали? Мечтали получить приличное место, зарабатывать, сделать карьеру, словом—«выбиться в люди». А о чем мечтают эти мальчишки? Вы думаете об окладах, о житейском уюте? Нет, их честолюбие огромно. Каждый из этих юнцов, только вступающий на тернистый путь науки, уже самоуверенно и радостно помышляет: «Окончу школу, изучу ту или иную отрасль знания и... переверну мир! Перестрою его, сделаю прекрасным, сделаю неузнаваемым!». За одни эти мечты можно простить нашей молодежи все ее заблуждения, любить ее и восхищаться ею. Эти — далеко пойдут! Далеко пойдут.

(Окончание следует)

Дома и за границей

ДЕРЕВНЯ СТАРОЖИЛИХА ОБРАЗУЕТСЯ

(Старое и новое на селе)

А. Дивильковский

1. Задворки старины

Наши открытые враги и притворные друзья (из «левых») со злорадством твердят о вековой прочности «исконных устоев» деревни. Их злорадство понятно: надеются, что на дикости и темноте мужика советская власть — долго ли, коротко ли — потерпит крушение.

Все же было бы опаснейшим самообольщением считать, что эти враги и эти «друзья», при всей их злобе, целиком лгут. Огромную живучесть косных мелкобуржуазных привычек и даже рабско-крепостных традиций в нашей деревне нельзя отрицать. Надо тщательным образом наличие этих остатков прошлого учитывать именно для того, чтобы их — пусть медленно, но верно — преодолеть, питая при том свою уверенность сознанием, что в самой же деревне, под вековой корой ее запущенности и опущенности, рвутся навстречу нам живые силы, с нашей помощью строящие новую, социалистическую деревню.

Все же трудна эта корчевка пней — остатков прошлого. Полезно несколько освежить представление об этих трудностях по фактам, к примеру, из жизни самой медвежьей стороны — Сибири.

В Рубцовском округе, в связи с хлебозаготовками, судился по 107 статье кулак Теплов, у которого оказалось около 15 тыс. пудов хлеба. В округе три года назад был большой неурожай, обогативший кулаков. Теплов, как сообщает секретарь крайкома тов.

Сырцов («Правда» от 29 февраля), и сейчас не до весны лишь придерживал хлеб, а вообще, с целью закабалить, быть может, целый район. Приговор по делу Теплова, с конфискацией хлеба — прямое культурное дело, освобождающее от кабальной угрозы все окружающие хозяйства крестьянской массы: и середняков и бедняков. Между тем, поглядите, как старинные «устои», живущие в той же самой массе, всеми путями оказывают сопротивление этой необходимой социальной «дизинфекции». Оказывается, сибирскому активу приходится проделать целую разъяснительную работу в том смысле, что это — не линия на раскулачивание, не «всеобщая дележка» в том виде, как это было в период «комбедов», не отмена напа, как идут слухи по деревням, конечно, раздуваемые кулаками.

На суде выяснились некоторые очень любопытные бытовые черты, свойственные хозяйствам кулаков. Теплов заставлял трудиться всех членов своей семьи наравне со своими батраками из бедноты. «Трудовая дисциплина, — рассказывает тов. Сырцов, — была поставлена у Теплова основательно: если за поросенком смотрят дочка, сноха или батрачка, и этот поросенок сдохнет, то, кроме строгого выговора с предупреждением, Теплов дохлым поросенком бил провинившуюся по физиономии». Словом, — хорошо знакомые черты старого, дореволюционного деревенского быта, находящие отзвук отчасти также и в го-

роде, и — нечего скрывать — не только в быту беспартийного рабочего, но даже у коммунистов, — особенно у тех, кто поближе соприкасается с деревней. В связи с процессами около 1.000 привлеченных кулаков, отдельные коммунисты, даже из числа судей, обнаружили неуместную «мягкость», так как кулак-де «и сам трудится». Пришлось одного такого сердобольного нарсудью в Исылкуле, Омского округа, — кстати, одновременно и без сердоболия опи-сывавшего у вдов-беднячек теленка или жеребенка, — исключить из партии и предать суду. Очень сильна еще в крестьянстве эта особая «трудова» психология. Она присуща, как это на первый взгляд ни странно, и части бедноты. Конечно, беднота фактически не может подражать Тепловым по части выжимания пота из своего брата, но иной бедняк, работая на кулака, приобретает холопские привычки, являясь, например, агентом кулака-самогонщика, ростовщика и обиралы. Отсюда — известная «иждивенческая» психология у бедняка, возлагающего все свои надежды на благодетеля хозяина.

Все это — огромной силы тормоз на социалистическом строительстве в деревне. Здесь, как на ладони, вскрывается двоякий корень кулацкого быта: крепостнический, дико-насильнический, с одной стороны, и мелко-буржуазный, грошево-своекорыстный, — с другой. В самом деле, у кулака Теплова какая яркая картина того и другого: мордобой с подневольным трудом дома, а во-вне — хлебно-денежная спекуляция и эксплуатация своей околицы. Будь у власти капитал, заглушила бы тепловская сила вокруг себя все бедняцко-средняцкие ростки протеста. Сейчас же государство само решительно берет под свою защиту интересы трудовых слоев крестьянства и пресекает эксплуататорские вождедения Тепловых.

* * *

Немало фактов и явлений подтверждают живучесть средневековья и мелкобуржуазности в современной деревне. Не будем останавливаться на типах сохраняющегося и даже частью

растущего на почве нэпа кулачества: явление это и в далекой Сибири, и даже вокруг красной Москвы все еще недостаточно подорвано, хотя кооперация, обнявшая уже до 35% деревенского населения страны, сильнее и сильнее теснит «колонистов» капитализма в деревне. Остановимся на других звеньях пока еще прочной цепи культурно-бытовой замшелости села.

Иному благодушному и благомыслящему обитателю советского города покажется, что мы от веры в черную и белую магию ушли на расстояние луны от земли. А на деле — знахарок и колдунов, если хотите, сыщем не далее Клинского уезда, Московской губернии. На-днях пишущему эти строки пришлось выслушать рассказ о специальной поездке рассказчицы — молодой и как-будто довольно культурной женщины — со своею более «серой» деревенской подругой к какой-то подмосковной старой знахарке за «присухой» (зелем влюбляющим). Рассказывалось, правда, со смешком и приторным неверием, но — ведь ездили, и деньги платили, и «присуху» получили, и выпали ее в кипяток, строго наблюдая, чтобы «заговоренный» чай был распит только вдвоем с «предметом» (а то не подействует!¹). Если же этакое творится у самого центра нашей культуры, по Октябрьской дороге, между Ленинградом и Москвой, то подумайте, сколько же подобных фактов должно еще совершаться по всему-то лицу нашей страны!

И очень ли надо удивляться после этого, если в Сибири, например, председатель сельсовета деревни Осиповки официально убеждает какого-то кусгара бросить свою колдовскую профессию и впредь не отводить дождя от полей? Любопытно, что когда «маг» ответил отказом, то вызванный милицейский составил протокол на предмет выселения строптивца, как срывающего урожай Советской Республики. Местному комсомолу пришлось проявить настоящее гражданское мужество, чтобы предотвратить еще худшие последствия.

¹) По уверению рассказчицы — подействовало.

Само собой разумеется, кулачью, словно щуке в омуте, привольно среди этой тьмы и мути средневекового суеверия. Он тут-то и черпает не только свою хозяйственную силу, но и нравственное верховодство.

Вот недавно закончилось судебное дело, очень характерное для современной деревни. Деревенская свадьба, опять-таки под Московской. Пир — во полупире. Изба середняка-отца битком набита приглашенными. Из окрестного села прибыло трое парней, — друзья жениха, но не званных на пир. Стуком в окно они вызывают жениха Костюку, который уговорил их, однако, «не лезть» в избу, а ограничиться распитием бутылки, им вынесенной. Еще и еще бутылка. Парням показалось мало, и, нагретые вином, они начали протестовать битьем стекол в окне. Выбежал из избы местный «исполнитель» с двустволкой, тоже, конечно, выпивши. Не глядя, кто и что, — бац, бац! — покалечил, но не скандалистов, а зрителей, частью малолетних. На суде никто ничего не помнит, только удивляются: «Как это оно?..». И судьям с такими делами — беда, ибо часты они, как осенний дождик: каждая свадьба, каждый «престольный праздник» грозят кончиться такими же увечьями, а настоящих преступников нет, даже хулиганства — и то не сыскать. Просто — традиции пьяного гульбища, «хождения стеной», всенародного мордобоя — обычай средневековья, еще вчера у нас живого, а сегодня висящего над нами хватающим живое «мертвяком». Советской власти, революционным слоям деревни, социалистически-культурному активу, новой молодежи приходится итти здесь против «святых, дедовских» заветов. С какой подкольной агитацией кулачья — этого естественного хранителя «искони расейских обычаев» — встречаются здесь пионеры нового села! И при том агитацией, часто не без благосклонности воспринимаемой остальным селом.

Обычаи же старой деревни еще не собираются исчезать, скорей даже вновь стали оживать в последние годы — годы нэпа — на ряду с общим

подъемом сельского хозяйства. Еще только-только хорошая часть молодежи стала призадумываться над окаянным бытом темной деревни. А плохая все еще звонко погуливает, — с самогоном, посиделками, тальянкой и поножовщиной. И в этих традициях прошлого вскрывается одна из главных причин какой-то болезненной, подчас детской беспомощности сельских масс в их борьбе с кулаком. Ведь то возьмите, что кулак на селе это крутой деляга, оборотистый хозяин, ловкий коммерсант, организатор, халун, врач — человек индивидуально-сильных качеств, умеющий и этими качествами импонировать, подминать под себя, использовать свои хозяйственные преимущества и верховодить на селе. Тип, умеющий подчинять свои страсти и страстишки единому принципу — накоплению. А середняк, а беднота исторически (не говорю, с момента революции — здесь другое дело) слишком часто представляют собой иной, противоположный тип: тип человека, живущего изо дня в день, «без думы», без хозяйственного плана и запасных фондов. Конечно, для того были достаточные, заложенные в дореволюционной экономике основания, но факт остается фактом, и классовые типы деревни — типами. Исторические взаимоотношения последних остаются порой в силе и теперь. Они, эти отношения, при всех огромных успехах деревенской кооперации, находят, к примеру, свои отражения во все еще нередких случаях «окулачивания» той же кооперации. Вот, в Астраханской губернии кооперативное товарищество, образованное по предложению Госрыбтреста безработными бондарями поселка Трусовского для производства бочарных изделий, целиком попало «под руководство» бывших предпринимателей — отца и сына Павловых. Факт тот, что две сотни бондарей-бедняков сочли себя, очевидно, настолько беспомощными и неспособными организовать свое дело, что позволили Павловым с 1924 по 1926 год хозяйничать в артели, «володеть и княжить ими». А как «бесконституционно», деспотически «прави-

ли» Павловы,—видно по такому примеру: они как по маслу провели на общем собрании постановление о праве председателя (Павлова - отца) исключать из членов «за непослушание старшим»! И исключай—конечно, наиболее активных, «непокорных». Суд покончил с этим вопиющим безобразием, но нас здесь больше интересует другой вопрос: как это так беднота сама себя «добровольно» отдала в руки кулакам? Право, так и вспоминается классический пример такой же «добровольности» в «Анти-Дюринге». «Когда в Пруссии—говорит Энгельс—после военных поражений 1806 и 1807 г. было отменено крепостное состояние, а вместе с ним и обязанность господ заботиться о своих подданных в случаях нужды, болезни или старости, то крестьяне подавали петиции королю, чтобы их оставили в рабском состоянии, иначе кто же будет заботиться о них в случае нужды?». Словно из древней курной избы, грозящей обвалом, приходится советской власти извлекать бедноту из объятий эксплуататорской старины—и при том извлекать насильно! Но зато извлеки, советская власть может с удовлетворением наблюдать, как нередко здесь начинается действительный подъем самодеятельности массы, — и хозяйственной, и культурной. Человек привыкает порой и к своей грязи, и водить его в баню приходится силком.

Немалое сделано с момента Октября для раскрепощения женщины,—в том числе и крестьянки,—но косность ее самой, на фоне косного же сельскохозяйственного быта вообще, еще огромна. Приведу лишь одну иллюстрацию из жизни наиболее, впрочем, отсталых «национальных» окраин. На Кавказе, в Аджаристане (магометанская Грузия)—по признанию местного наркомвуздела—аджарки до сих пор голосуют на выборах, собираясь в отдельном помещении поблизости от места общей подачи голосов и подают свои голоса записками в окно. Чадра, значит, покрывает еще не только их рабыньи лица, но и—политические права, принесенные им Октябрем! Конечно, в Аджаристине, как и на всем

Советском Востоке, идет энергичная борьба за эмансипацию женщины, но пока что этакне «гримасы быта» красноречиво говорят о силе сопротивления всему новому, исходящей из глубин вековых «народных» предрассудков. Отсюда понятны то-и-дело сообщаемые из Закавказья и из Средней Азии случаи не только кулачной, но и кинжальной расправы «оскорбленного в лучших чувствах» мужа, отца или брата—а то и всех сообща—с женщиной, сбросившей чадру или переступившей для общественной жизни порог мужниного очага. Впрочем, Кавказ в данном случае показывает нам лишь крайнее сгущение того женского рабства, которое еще достаточно широко наблюдается вообще в деревне—даже под самой столицей. Недаром в итоговых статьях ко дню 8 марта отмечался как бы застой в продвижении женской массы вообще на пути к повышенной политической сознательности и деятельности. При всей широте женского движения у нас (до 600.000 делегатов!), при наличии довольно значительного числа выдвинуток, женщина весьма медленно подымается в своей политической и культурной квалификации. Быт держит женщину ежовой рукавицей. «Низший пол» хотя уже и не считается (печальное преимущество!) только «прекрасным полом», как у крепостников и буржуазии,—тем не менее все еще сидит на крепостной цепи у своего домашнего «барина» и «хозяина». На этой-то почве и процветают все эти насильнические и уголовные по существу теории любви «без черемухи» и отношений к женщине апологетов «Собачьих переулков». Все это — плохо подмалеванные лики старинной рабской «культуры» деревни Старожилых.

Оттуда же, конечно, из истоков старого приказного быта и тот своеобразный бюрократизм низового государственного аппарата, покрывающий стильным узором уездное административное житие. Чего стоит такая, поистине достойная щедринских головопятов, картинка?! Телеграмма из Кустаная (Казахстан) от 9 февраля сооб-

щает о «своеобразной мобилизации» в селах: весь актив местной кооперации — члены правлений, ревкомиссий, рядовые пайщики, всего до 1.000 человек — был расставлен по всем дорогам и поселкам, со строгой директивой ловить крестьян, везущих хлеб без накладной от кооперативов. Начальство предписывало таким нарушителям «в принудительном порядке» ссыпать хлеб в кооперативные амбары. Вот здесь и отыгнулась старая, дореволюционная деревенская «общественность», в духе бывших «волостных учреждений» крестьянского самоуправления, где общественные права ограничивались «общественной повинностью». Подобные, кустанайские бытовые картинки и выстраиваются в ряды, внутри и вне трудности развития нашей кооперации в действительно самостоятельный, действительно общественный орган подема хозяйства масс до ступени крупного, обобществленного сельского хозяйства. Скажут: но ведь это вон где — в Кустанае. Нет, к сожалению, кустанайский «административный уклон» все еще сидит в печенках нашей сельской общественности. Эта болячка проходит с трудом, ибо она органически связана с раздробленным, своекорыстным хозяйничаньем на мелких и мельчайших участках. Только известный опыт бедноты и середнячества в коллективном хозяйничании, навыки к общественности, возвращенные на новой экономической базе, помогут окончательно изжить «волостную» бюрократию.

В дальнейшем мы увидим, как она, эта бюрократия, изживает на практике вместе со всем дедовским бытом. Новое местами крошит уже старое в осколки. Но пока весь экономический строй деревни еще напоминает собою миллионы «келий под елью», где каждый житель только о своей голове хлопочет, не видя кровной связи своей судьбы с судьбою всех других окружающих, до тех пор и мучительный, нелепый враждебный массам старинный звериный быт может возрождаться, как из пепла, на каждом шагу.

Только упорство революционного рабочего города в поддержке наиболее

родственных ему слоев деревни, а за ними — деревенской массы вообще, поведет к перестройке всей Старожилихи на новый образец, — привольной и социалистически-культурной деревни.

2. Идет великая перестройка

Хотя и пассивное, но тем не менее упорное давление старого быта отзывается в деревне какою-то вялостью, нескладностью на немало числе даже вполне искренних новых культурных начинаний. И вот сталкиваются две волны: одна — приливающая, бодря волна оживленного строительства нового сельского хозяйства, новой, светлой культуры и другая — волна сонная, тяжело болотная, медленная волна позывающего, обывательского, запеченого равнодушия.

В результате этого столкновения живого с мертвым объявляются те самые случаи «благодушной спячки» в срочном, неотложном общественном деле, о которых говорил т. Микоян в связи с кампанией хлебозаготовок. Где ясно — время не ждет, вот-вот упустим последнюю возможность получения хлеба, там не слишком редко аппарат, — и далеко не только деревенский и не только беспартийный! — с непонятым, невероятным спокойствием ждет «самотека»!.. Надо признаться, что в смысле способности сознательно, интенсивно, бесперебойно расходовать нашу рабочую энергию, мы в нашем социалистическом государстве все еще сильнейшим манером отстали от рядовых буржуазных стран и все еще сидим наполовину в Москве XVII века.

Вот пример характернейшей «спячки» на стройке хозяйства, казалось бы, в нашем смысле действительно передового. В станице Дядьковской, Кубанск. окр., на почве «углубленного» поселково-отрубного землеустройства проведен опыт создания вокруг тракторов сельскохозяйственных производственных коллективов, число тракторов — 30 (тридцать!). Но... затем начинаются старые мотивы о «благодушии» и «спячке». Оказывается, что в значащихся на 1 мая 1927 г. этих коллективах (11 товариществах для совместной

обработки, 15 машинных товариществ и 1 артели), имеющих земли 3.136 дес., — обнаруживается неспетость, неслаженность, разнობой. При этом и в самом людском составе коллективов обнаруживаются большая неоднородность и пестрота имущественных отношений: из 281 двора безлошадных — 25%, однолошадных — 16%, двухлошадных — 45%, трехлошадных — 9% и четырехлошадных — 5%. На лицо крыловский «коллектив»: лебедь, рак да щука, — и щука (кулачок) пригом представлена в проценте выше «нормального»! Зато партия и КСМ, уступая место кулачку, представлены лишь 19 хозяевами, т.-е. 1,4%. А в этой станице, Дядьковской, имеется до 120 коммунистов и комсомольцев, и почти все они — сельские хозяева. Вот где спят-то среди бела дня наши деревенские передовые силы, — спят и сны видят о том, что коммунизм строится сам по себе, «самотеком», а мы — мы пока-что почешемся да покурим. Вот как социализм построятся, так и вознесем хвалу: «Слава тебе, святому Обломову!» — вынем из-за голенища батюшку-партбилетца и тотчас же получим почетное место в коммуне, в самом красном углу. Пример поистине поучительнейший!

После этой картины нисколько не удивляешься, когда читаешь, что: «после 2 лет существования колхозов в них совершенно нет общественного имущества (кроме трактора). За исключением распашки земли почти все колхозы полевую работу производят в индивидуальном порядке, причем значительное большинство хозяйств (70%) сидит до сих пор на прадедовском трехпольном севообороте». Как недавно выразился при мне один крестьянин: «Всякий на своем Я стоит». И заметьте: до чего крепко это самое «Я» связано с засилием кулака или полукулака, с одной стороны, и с нехлюйством и невероятнейшей безучастностью передового, «активного» элемента, — с другой. К счастью, далеко не везде коллективные хозяйства поставлены так, как в Дядьковской станице.

Но «сонная болезнь» все же порядком-таки еще господствует. Это она проглядывает в фактах чисто бюрократического отношения к такому могучему рычагу подъема бедняцких хозяйств, как вовлечение бедноты в кооперацию. Выработалась местами даже целая «механика», как этот рычаг заставить работать волостную. Об этом повествует тов. М. Каценеленбоген в «Большевике» (№ 19/20 прошлого года). Низовой кооператив, по решению пайщиков, выделяет из своих прибылей фонд кооперирования и затем поручает КОВ (комитету крестьянской взаимопомощи) представить список бедняков. «По взаимной договоренности» известное количество бедняков, взятое из списков, «кооперируется», но даже без ведома вовлекаемых. В лучшем случае здесь дело ограничивается подготовкой на кооперированных членских книжках. В худшем же — КОВ не находит достаточного количества «достоинных», и фонды «на законном основании» возвращаются в кассу кооператива для текущих нужд. Чем не спячка, не невероятнейшее спокойствие там, где беспокоиться надо бы день и ночь?

Но надо признаться, что поперек пути сельского актива к культурной и хозяйственной перестройке деревни часто стоит и отсталость сельской техники, и примитивность производственного уклада деревни. Замечательную иллюстрацию этому дает прославившийся в Московской губ., как лучший земледелец (по конкурсу в «Московском Доме Крестьянина») гр. Шалыгин, крестьянин-отрубщик Дмитровского уезда. Его приводил в пример в своем докладе на XVI Моск. губ. партконференции тов. Бауман, как «крестьянина, добившегося урожая в 225 п. с десятины, и как одного из пионеров будущей «Московской Дании». А вот что говорит сам Шалыгин о себе: «Трудолюбивый крестьянин так закабалает себя работой, что ему нет времени заниматься самообразованием, нет времени для общественной работы, не говоря уже о том, как при отсутствии детей закрепошена его жена, хозяйка дома». Надо все же иметь в виду, что в частности жена Шалыгина —

передовая общественная работница. Но тщательнейшие записи гр. Шалыгина показывают, что при полуторадесятичном наделе, за летний, «страдный» период он лично затрачивал по 17 часов в сутки, а жена — по 18½ час. (между прочим, специально на топку печи, стирку белья и уборку в доме уходит по 8 час. в сутки). Тут, как день белый, ясно, что единоличное хозяйство и все его проявления в семейном быту, при самой доброй воле к новой жизни, являются тем камнем, о который спотыкается общественная энергия наших деревенских активистов в первую очередь.

Зато живой пример крестьянина Шалыгина наглядно показывает исходный пункт для полной перестройки быта неповоротливой, косолапой Старожилихи. Субъективно, по решительному направлению своей рабочей воли в сторону «культурничества, гр. Шалыгин — уже не «стильный» обрубок крепостной Обломовки и не обломок мелкобуржуазного своекорыстия. Это — советский «американец», движимый притом не звоном барыша, а искренними общественными «мотивами». Но на том же шалыгинском примере видно, как эти самые лучшие личные намерения тормозятся объективными условиями существования «средняцкого», индивидуального, ограниченного в своих возможностях хозяйства.

«Аль у сокола крылья связаны? Аль пути ему все заказаны?» Пути, конечно, не заказаны, но всем Шалыгиным придется из собственного опыта заключить, что им следует уже сейчас поворачивать от своей «средняцкой» околицы — на неезженную, но единственно возможную дорогу коллективного крупного хозяйства. Путь дальнейшего развития шалыгинских хозяйств лежит через тракторные и тому подобные объединения, — в роде тех кубанских, что изображены нами выше, но только, разумеется, другого, более четкого, бедняцко-средняцкого состава и, главное, с серьезным пониманием того, зачем объединяешься, куда идешь. Сознательности Шалыгиным, кажется, занимать не приходится. Значит, все дело в ре-

шимости и обдуманном, планомерном переходе на коллективное производство.

Как потребительская и сбытовая кооперация уже сейчас на глазах у всех нас растет буйно и быстро, чуть ли не самотеком, так в ближайшие годы должно двинуться широким потоком колхозное строительство, производственное кооперирование несмотря на всю цепкость старого быта, о котором мы выше писали.

Кстати о кооперации. Ведь она в самом деле за последние годы становится подлинно бытовым элементом деревенской жизни. Через кооперацию деревня проделывает первый и несомненный этап культурной революции. Чудной получается вид у нынешних сел: одной стороной они еще грязнут в мусоре копеечных расчетов и тут же — рублевой нерасчетливости; а другою — выбиваются на простор кооперативной самодеятельности. Чем бьет, например, сегодняшняя потребилка сельского лавочника и кулака? Тем, что невероятнейшие надбавки недавних лет в 400 и 500 процентов к оптовой цене на городской товар, о которых столько было речи не далее, как на XIII партс'езде, что эти несообразные надбавки в общем и целом благодаря деревенской кооперации крестьянину больше не известны. Чудовищная пасть оптово-розничных ножиц, которая тогда, казалось, готова была поглотить самое соввласть, сейчас значительно сжалась до покачлосных пределов. Селькоры с Северо-Кавказского края в связи с хлебозаготовительной кампанией сообщают, что сельские кооперативы до отказа загружены промтоварами — мануфактурой, гвоздями, листовым железом, обувью, калошами, — так что кое-где создались даже товарные залежи. И цены — городские. Вот в чем колоссальнейший — не только экономический, но и культурно-бытовой прогресс последних трех лет. Вот позиция, с которой мы успешно бьем по капиталу, кулаку и старому быту. Пользование даже простейшим, потребительским видом кооператива красноречиво убеждает середняка в том, где лежит для него исторический исход из «тесноты»

индивидуального хозяйства. При взгляде на буйный рост кооперации у близкого наблюдателя является твердое убеждение, что мы стоим накануне форменного «похода» крестьянских масс «за кооперацией». Это уж не «хождение в народ» немногих интеллигентов и рабочих былого времени, а хождение самого народа за культурной революцией.

Тот же процесс, хотя, конечно, несколько более замедленный, намечается и с «собственно социалистическим сектором» переустройства деревенского быта на основе производственных объединений. Тут, у этого переустройства, впрочем, имеется, — хотя и незаметная на глаз, но довольно мощная внутренняя связь со всю новую хозяйственную обстановку вообще. В самом деле, — ведь, даже и беднота обретает непреодолимую тягу к коллективу не только оттого, что она — беднота, лишенная живого и мертвого инвентаря, не по одному лишь этому отрицательному признаку, а еще и потому, что коллектив, как положительное, экономически прогрессивное явление, впервые становится возможным на фундаменте всех предыдущих завоеваний советской власти в деревне. Любопытную иллюстрацию к этому мы находим в корреспонденции Ал. Колосова в «Известиях ЦИК СССР» от 29 октября, из с. Охочевки, Щигровского уезда, Курской губ., т.е. из бывших владений не кого иного, как самого Маркова 2-го — борзой собаки самодержавия и крепостничества. Вот картина, как изменилась хозяйственная обстановка в бывшей марковской берлоге.

По данным местной статистики, в 1912 году безземельных, нищенствующих «хозяиств» было 133. В 1927 г. их нет совершенно.

В 1912 г. сдатчиков земли в аренду было 114. В 1927 году — только 16. В 1912 г. кулацких плужков — 31. В 1927 г. середняцких плужков — 370. На этом новом экономическо-социальном фундаменте сейчас впервые появился трактор, встреченный шумом и песнями, от которых, по словам бывших «подданных» Маркова, у них «ве-

село дергалась душа». Трактор в осеннюю молотьбу 1927 г. уже убил кулацкую конную молотилку. Два новых трактора, выписываемых к яровому севу охочевским машинным товариществом, должны «сплошь затянуть безлошадье». Впрочем, к тем же условиям далеко не последнего порядка, способствующим росту идеи коллективизации, следует прибавить и ряд фактов чисто культурной революции — в роде того, что в марковские времена в местной школе обучалось 40 ребят, а сейчас в советской школе их 205 человек. «Мы могли бы, — добавляет корреспонденция, — рассказать о зарождении и росте кооперации, о деятельности машинного товарищества (помимо тракторов), о шестиполье, вводимом после землеустройства, и только-что законченном, о рассадниках племенного скота, об охочевских коровах-симменталках и еще о капусте-броншведке, о беспартийном крестьянском активе и об изумительном «Доме беспризорника», организованном в бывшей барской усадьбе Маркова и давшем волости трактористов, техников и комсомольцев»...

Как видно, охочевский актив в значительной степени уже справился с наследственной спячкой. Оттого и оживленное движение в сторону коллективизации. А советские условия оказываются для работы этого актива в высшей степени благоприятными. Впрочем, партия Ленина во главе с ним самим, исходя из теории Маркса, десятилетия тому назад уже предвидела эту неизбежность социально-экономической революции на селе в эпоху диктатуры пролетариата. И лишь совершенно ослепленные фактами прошлого люди, эти факты фетишировавшие, могут до сих пор считать «естественной» для деревенской массы ее косную приверженность к старозаветности, как бы эта старозаветность отношений внутри села и экономики ни была явно губительна для той же массы. «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше».

Трактор — это в наших условиях символ массового перехода к коллективизации. Трактор — своего рода

предисловие к такой коллективизации. Поэтому знаменательными для настроений современной деревни являются случаи, в роде констатированного на Урале, в Миасском районе. В с. Болтовке сгорела церковь. «Господь посетил», — толковали благочестивые старики, и порешили-было полученную страховку употребить на постройку новой же церкви. Заспорили молодежь: «Лучше трактор купимте, товарищи!». Чуть не дошло до драки, но разрешили дело общим голосованием — подписями. Из 1.259 чел. населения за «обедню» высказалось лишь 159 стариков, остальные 1.100 — за трактор (селькор Н. Жмаев, «Правда», 18 мая). Экономический материализм Маркса в этой нагляднейшей форме неодолимо отвоевывает у гнилого, гнетущего прошлого и уральскую деревню. Первый шаг — трактор; второй — коллектив.

Кооперация, тракторизация, коллективизация — пути, которыми в широких, а скоро и широчайших размерах «образуется» на наших глазах забитая, запуганная, измочаленная господами Марковыми в течение веков Старожилиха. Следите, как исподволь уже начинает меняться самый внешний вид этой деревни. Церковное здание было, кажется, со времен князя Владимира самым видным пунктом нашего села. Церковь сейчас идет в обмен на трактор. Погодите же, за трактором на очереди крупное коллективное «имение» — с общими хлебомагазинами, общими амбарами, машинными «пунктами», с электростанцией, с красивым зданием библиотеки-читальни-школы, с общественным телефоном, почтой, радио. Красивые группы деревьев общественного сада, бережно хранимого и украшенного цветами, окружают высокие центральные здания новой деревни, а кулацко-поповская церковь с глухой колокольной по подавляющему большинству голосов (не так все же скоро!) будет либо разобрана, либо переделана в одно из новых, полезных для преобразованной, социалистической деревни зданий. Задно и поля забудут тысячелетнюю картину пестрой многополосицы (под

смешным названием «общинной земли!»), которая сменяется необозримыми, сплошными, действительно общими полями, где широкие полосы разного цвета будут означать лишь общий плодосмен.

Мечта? Да, пока что мечта. Но не — утопия, как бы ни шипели о том со злобной надеждой в голосе и с тайным отчаянием в сердце всевозможного вида белые и черные враги. Из этой мечты немалое уже реализуется и реализовалось. Мы на прочном пути превращения этой мечты в действительность.

3. Новое в живом быту

С великим напряжением сокрушает деревенская масса кулака, как болотная тина, все еще цепляющегося за свое бывшее господство в деревне. Но, хотя глухая, но тем более упорная классовая борьба при помощи вмешательства советской власти кончается обычно победой над кулаком. Характерная история о том, как свирепо защищает свои позиции кулак, имела недавно место в Одесском округе, на Украине.

Ивченко, Лупашко и Гатченко — верховоды-кулаки, душившие село Степановку. Их роль в жизни села была, наконец, исчерпывающе разоблачена во время кампании по самообложению. Строгий классовый принцип, положенный вместо прежней «уравнительной» практики старых сельских сходов в основу декрета о самообложении, повел к обнаружению окопавшегося кулачества. В Степановке кулаки трижды срывали сход, созданный по вопросу о самообложении. Они то выставляли свой список президиума против списка незаможников, то вели злостную obstruction собрания, горлопанили, как в царские времена, то выступали с открытыми угрозами расправы над собравшимися, — «как с Алексишиным» (матросом-общественником и разоблачителем кулаков, убитым ими). Активу лишь на 4-ом сходе удалось, наконец, преодолеть террористическое влияние кулаков, один из которых — Лупашко — был раньше предревкомиссии сельсовета, и провести само-

обложение против кулаков, по декрету. Всплыло заодно и замятое ранее дело об убийстве Алексишина, по которому кулакам придется отвечать в уголовном порядке.

Степановка, надо думать, встанет теперь в ряд сел, где новый быт начнет живо просачиваться сквозь расшатанные кулацкие заграждения. А как живо в подобных селах просачивается новый быт, видно, к примеру, из письма «кружка жинок» с. Краснополя (Черниг. губ.) на имя Н. К. Крупской, где они умоляют дать им какую-либо машину, заменяющую «скучные прялки», ибо «мануфактура для нас очень дорога, и если нам не пряхть, то мы, мужья и дети наши будем голые». «Посоветуйте, — продолжают они, — как нам организовать в сельское товарищество или как, — одним словом, просим, помогите нам освободиться как от крепостных прав, чтобы и мы, женщины, имели свободное время зимой пойти до хаты-читальни...» и т. д. Тов. Крупская приводит в «Правде», еще целый ряд подобных же писем, требующих изобретенья «машины» для домашней пряжи и тканья. Тов. Крупская сообщает заодно и об организации конкурса, даже двух конкурсов: первого — на изобретение новой или усовершенствование существующей крестьянской прялки для одиночек и второе — на изобретение многоверетной кустарной прялки для коллективной работы.

Подождем результатов конкурса, — конечно, не слишком легкого, но, думается, не представляющего ничего такого неодолимого. Пусть все это еще — окольный путь к социалистическому переустройству села. Важно другое — в какую сторону толкают крестьянские массы изобретательство. И еще, может быть, важнее то, что требования на изобретения, облегчающие труд и обновляющие жестокий быт старого села, приобретают массовый характер, идут из самых глубин деревни, от наиболее якобы «по природе» консервативной деревенской женщины. Стройка новой деревни идет изнутри. Деревня рвется из черной, курной избы, с тараканами,

грязью, каторжным трудом, и женщина-крестьянка, певольница очага, втягивается в борьбу за революцию быта.

Кто является непосредственным «толкачем» в подобных запросах на новизну? Конечно, главным образом молодой сельский актив, а сам активист испытывает тут влияние то избытальни, то кооперации, то ближнего совхоза, и очень, очень часто отпусника-рабочего из центров, — притом вовсе необязательно партийца.¹⁾ Беспартийный рабочий, пребывая на селе, почти всегда «заражающ» в отношении нового, — особенно с того времени, как начала практиковаться систематическая подготовка отпусников перед отпусками. Совершенно определенную роль рабочего в преобразовании села можно видеть хотя бы из примера бывшего столяра вагоностроительного завода тов. Шихобалова, который, начав несколько лет тому назад с устройства столярной школы в с. Синькове, Дмитровского уезда, Московской губ., продолжил свое культурное строительство организацией мелиоративного товарищества для обработки «бросовой» (вероятно, болотистой) земли. Явился затем и всемогущий трактор, в первое же лето оправдавший себя при обслуживании всего населения пахотой и молотью, и шихобаловский культурный корепь пошел в рост, и, наверное, — накрепко. Культурная смычка. Культурная революция идет «с легкой руки» рабочего по рельсам, проложенным Ильичем.

Бывают иногда на «тракторном пути» форменные «чудеса», которые должны революционизировать не только производственные навыки деревенской массы, но совершенно обновить и ее мироощущение. В самом деле, чем не «чудо» совершилось за время революции в Волоколамском уезде той же Московской губернии? Тут, как известно, при соввласти закончился переход всех селений на многополье и травосеяние (чего при царях за 40 лет не могли добиться) и нередко также

¹⁾ Партия, как общепризнанный «толкач», само собой подразумевается.

переход на коллективные формы хозяйства. Тов. Г. Лебедев в связи с этим сообщает о форменном паломничестве крестьян Вятской, Воронежской и иных губерний на волоколамские поля с целью посмотреть и поучиться.

— Так, а откуда же у вас деньги на трактор?—удивляются воронежцы, обитатели «оскуделого» (от царя и помещиков) черноземного центра.

— Из болота взяли.

— Из болота?

— Из болота,

— Да как же так, из болота?

— Общими силами вспахали¹⁾, лен и клевер посеяли на пустопорожней земле, урожай продали и внесли задаток за трактор.

— А как же земля?

— Что земля?

— Чья же она теперь?

— Общественная, сельсовет ею распоряжается. Что постановит—вынесет на общий сход. Сход примет, а сельсовет в жизнь проведет, как общую, для всех обязательную волю.

— А если ж нужда какая у меня?

— Общими силами выручим, нашим же трактором тебе вспашем, посеем, уберем. Отказу бедноте нет, и самую бедность у нас уже другим аршинчиком мерить приходится...

Остановлю здесь немножко внимание читателя на вопросе: как сейчас обстоит дело с пресловутым и якобы «естественным» страхом крестьянина перед «коммунией»? Ведь, в свое время, в эпоху введения нэпа, компартия и соввласть вынуждены были предпринимать нарочитые шаги для успокоения крестьянского общественного мнения, «ежом» насторожившегося против этой самой «коммунии». А теперь?.. Теперь, надо прямо сказать, из повседневных наблюдений над той же, к примеру, Московской губернией, что такого «ежа» уже нет и в помине. Автору этих строк еще два года тому назад, в период весеннего сева, пришлось наблюдать случай осушки канавами торфяного болотца в 25 десятин и засева его овсом совместным

трудом целой артели, главным образом состоявшей из бедняков (средняков было меньше). Произошло это совершенно стихийно, без инициативы какого-либо агронома или сельскохозяйственного кружка и тому подобное. Самое как раз любопытное было в этом случае, что крестьяне шутя говорили: «Вот и мы до коммунии сподобились». Правда, на деле от коммуны этот случай отстоял довольно далеко: хотя и общими силами снятый урожай тут же был разделен пропорционально участию каждого члена артели в работе,—напр., кто с лошадей—тому больше, кто «пеш»—тому меньше и т. д. Но ведь в наших условиях такая форма есть ступень, этап к более совершенным, коммунистическим формам в общественных отношениях. А затем страха-то перед «коммунией» больше не наблюдается! На коллективистические формы так же, как в Волоколамском уезде, начинают и во многих местах смотреть с чисто практической стороны. Коли, мол, с выгодой, да «было бы, с чем взяться» (т.е., было бы наличие инвентаря, скота, рабочих сил, наконец, машин и агрономической помощи),—так отчего ж?

Факт тот, что вопреки действию достаточно сильных тормозов старой экономики и ее культурного отражения — старого быта, — новая экономика, вот уж десяток лет внедряющаяся в деревню, в последние два года начинает завоевывать быт и сознание крестьянской массы. Есть замечательнейшие в этом смысле явления. В «Правде» от 31 декабря селькор И. Ф. Смирнов сообщает довольно подробный обзор работы сельскохозяйственного кредитного т-ва «Трактор» в Темкинской волости, Калужской губ. Волость бедняцкая, от железной дороги за 20 верст, кустарных производств никаких. Начало общество свою работу в 1924 году. Обосновавшись прочно, сперва на торговых операциях по заготовкам и сбыту, расширившись затем на операциях кредитных — по ссудам и вкладам (своего капитала сейчас 27.300 руб. плюс 7.531 руб. от организаций, вкладчиков — 257 на сумму 3.338 руб.), оно развило блестящую ор-

¹⁾ Очевидно, сперва осушивши канавами.
А. Д.

ганизационную деятельность. При нем имеется: машинных товариществ — 7, мелиоративных — 2, бычьих — 6, кустарных артелей — 1. Машин распространено в 1926 г. на 260.000 руб. Сейчас покупается «Фордзон». Приспосабливаясь к местным условиям (льноводство), товарищество строит затем льнообрабатывающий завод при чем, этот льнозавод — пятый во всем СССР, и единственный, построенный благодаря нижней кооперативной инициативе. От льнозавода перешли к контрактации посевов льна: 836 контрактов за весну 1927 г., на 1.065 дес. земли, с выдачей ссуды на посевы в 26.700 руб., да еще под тресту до осени 106.000 руб. Посев льна благодаря этому повысился в 2 раза. Шаг к товарности, вместо прежнего лишь потребительского зерноводства, сделан решительный. Да заодно «стихия» единоличных посевов подчиняется организующему общественному плану. Расширение льняных посевов необходимо приводить к травосеянию и молочному хозяйству, — в результате «Трактор» энергично распространяет семена клевера и вики, а рядом со льнозаводом строит общественную сыроварню на 10.000 пудов молока.

Общественный результат работы «Трактора» таков: втянуто им в кооперацию 1.678 крестьянских дворов (из них 263 женщин-беднячек и вдов). В 1924 г. процент кооперированных был — 14,7, а сейчас — 32,6. Вместе с потребительской кооперацией «Трактор» добился того, что огромная волость обслуживается сейчас исключительно кооперацией. Частник вытеснен без остатка. Сверх того «Трактор» организовал ряд своих предприятий: случайный пункт, три зерноочистительных прокатных пункта, кирпичный завод с электромеханической мельницей, имеет своего агронома, обслуживающего все население. Построен «Дом Крестьянина», приобретена кинопередвижка, радиоприемник с громкоговорителем и проч. Словом, не спят люди, не ждут побуждающих подзатыльников. Инициатор — старик-партиец товарищ Смертюков как и все члены правления, местный крестьянин.

Конечно, это — еще не социализм, но калужанам удалось осуществить у себя немало из того, что, в своей совокупности, составляет «все необходимое для построения социализма». Особо, когда к проделанному «Трактору» присоединяется и значительное коллективное производство, то социалистическое преобразование Темкинской волости в общих рамках всего советского хозяйства станет несомненным фактом.

Как на деле совершается подобный решительный переход, видно из примера объединения совхозов имени Шевченко на Одессине, приводившегося тов. Сталиным на XV партс'езде. Интересующихся этой историей отсылаю к отчетам с'езда, где напечатано благодарственное письмо бедняков-крестьян ряда тамошних хуторов за обработку тракторами Шевченковского объединения совхозов их земель, притом за обработку «по-хозяйски», т.е. действительно хорошую, с посевом чистосортных семян пшеницы. После такой убедительной «пропаганды делом» крестьяне решили организовать общественное тракторное хозяйство, в чем им было оказано содействие тем же объединением. В дальнейшем мы узнаем уже из газет, что безлошадная беднота всего этого района, с общим количеством земли в 10.000 десятин, решила перейти на коллективную обработку земли, пользуясь тракторными бригадами того же Тарасо-Шевченковского совхоза (до 120 тракторов). И дело идет уже не об одной Одессине. Этот опыт начинает находить свое отражение и на Криворожье, и Уманщине.

На Украине и даже на Кавказе, среди горцев, веяния этого рода сейчас весьма заметны. Притом поразительны они особенно на Украине, которая всегда слыла (да и была в действительности) за область наибольшего развития именно противоположного социализму духа мелкого подворно-наследственного землевладения и земледелия, духа яростного деревенского собственничества. Где, как не на Украине, гражданская война так долго носила значительный отпечаток мелко-

буржуазного, махновского анархизма, потом кулацкого бандитизма? Казалось, где-где, а уж на Украине «быт» исключает всякую возможность социализма в течение, по крайней мере, целых поколений. Забывали одно: классовый характер этого «духа», преобладание кулачества. Но ведь тем сильней была там и пролетаризация крестьянских масс, а значит и скрытое, подспудное противодействие кулачеству. Сейчас, когда революция развязала новые социальные силы на селе, они проявляют себя в широте и живости потока «внешних вод».

Нет сомнения, в ближайшие годы мы будем свидетелями небывалой ломки и перестройки экономического и культурного облика советской деревни. Тов. Бауман в докладе, о котором я ранее упоминал, говорил о «московской

Дании». Дания, Америка — по ним равняется подымающееся сельское хозяйство. Но этот подъем притом совершается особенным, беспримерно-оригинальным путем. Строится Дания, Америка без их привычного, капиталистического, частнохозяйственного «купола». Старожилых не для того, наконец, расшевелилась от рабского сна, чтобы создавать пышные жилища своим заклятым врагам-мироодам, а себе, массе, оставлять все те же соломенные хибарки-развалюшки. Проснулась масса для строительства социалистической, всеобщей, истинно-человеческой культуры.

Да, Дания — пусть Дания, Америка — так Америка, но в совершенно новом, социалистическом архитектурном стиле.

УМИРАЮЩАЯ РОМАНТИКА

Г. Сандомирский

Вспоминается далекое детство: англо-бурская война! Круглобородый президент Крюгер, генерал Деветт, побивший все рекорды храбрости, беспредельное восхищение исключительной стойкостью этих широкоплечих, выносливых, но плохо вооруженных «боэров», — как их тогда преимущественно называли. До серебра в висках еще как было далеко, но уже тогда хмурый и агрессивный характер британского империализма был ясен, как на ладони, — и помню — во время уличных схваток только ради поддержания игры, но с большой обидой в душе идешь, бывало, в лорды Китченеры!

До социальной подоплеки развернувшейся в далекой Африке борьбы нам было меньше дела. В «боэрах» мы видели только трудолюбивых, «бедных» фермеров (поразительно схожих во всем с любимыми нашими майнридовскими героями), далеких от европейской цивилизации, на которых обрушились во всеоружии последней техники англичане. Социалистические

идеалы были чужды нам, — безудержно захватывала нас лишь романтическая сторона этого героического единоробства маленьких «Давидов» из Трансвааля и Оранжевой республики против вооруженного до зубов английского Голиафа.

В оправдание нам, малышам, можно еще добавить, что не больше дальновидности проявили тогда и многие взрослые люди, идеализировавшие буров до полного забвения... действительности. А ведь «взрослым» не могло быть неизвестно о том, что буры с таким же ожесточением отказывались признавать равноправие кафров, с каким англичане отрицали их право на полное отделение от Великобритании. Но таково действие романтики: она окрашивает в самые яркие, привлекательные цвета каждую неравную в физическом отношении борьбу. Нужды нет, что сегодняшние жертвы чужеземного угнетения назавтра сами превращаются в матерых угнетателей (младотурки, вырезающие оптом армян, польский гнет в Белоруссии

и пр., и пр.); поскольку сегодня они задыхаются под ярмом угнетателя, они неизбежно окутываются в наших глазах романтической дымкой, — и все наши помыслы — с ними.

Иоганнесбург был в то время скромной ставкой героической армии бурских повстанцев и в качестве таковой приковывал к себе все наше внимание и восхищение.

У кого повернется язык упрекнуть нас в том, что мы не предвидели, как, пройдя сначала через полосу разгрома и национального унижения, а затем объединения с другими бывшими южно-африканскими колониями Англии, буры создадут один из наиболее мощных доминионов Британской империи? Героический Иоганнесбург уже больше не главная квартира революционных партизан, а одна из наиболее значительных капиталистических твердынь черного африканского континента. Легендарные же «крестьяне» прочно вытеснены прозаическими акционерами расположенных вблизи Иоганнесбурга алмазных россыпей, обслуживаемых дешевым трудом безгранично эксплуатируемых туземцев, их жен и детей.

Прошло более 30 лет.

Мы уже давно вооружились скальпелем классового анализа. Довольно часто этот скальпель самым беспощадным образом разрывает в наших глазах романтическую вуаль, окутывающую то или иное движение крестьянской демократии в колониальных и полуколониальных странах, направляемое сначала на борьбу с засилием хищного европейского империализма, а затем — к утверждению собственного господства и безудержной эксплуатации цветных туземцев и привозного пролетариата.

Само собой разумеется, это не меняет нашей позиции в первой фазе антиимпериалистической борьбы пораженных народов, как и не мешает потом разоблачать до конца новоявленных угнетателей. В оценке развертывающихся перед нами народных движений последнее слово при-

надлежит железным законам экономического развития.

Империализм продолжает вооружаться до зубов, используя для этой цели все последние завоевания человеческой мысли. Цинично издеваясь над идеей мира, он открыто, на глазах у всех, продолжает готовиться к новым кровопролитным боям. Сегодня ему отсекают одни щупальцы, завтра он протягивает другие, еще более заостренные, за новыми лакомыми кусками. Религия продолжает еще формально существовать, но — под ее просвещенным руководством — человечество, уже давно отвернувшись от «царствия небесного», ведет иступленную борьбу за нефть, хлопок, руду, драгоценную копру, фосфаты и пр. Перед бешеным натиском вооруженного империализма, имеющего теперь к своим услугам, помимо чудовищных открытий химии, еще и авиацию, романтика храбрых восстаний все более и более отступает на задний план.

Но, умирая, она не сдается...

Риффы — это буры северной Африки. 30 лет спустя после разгрома южно-африканских республик британским империализмом, они подняли знамя восстания сначала против доморощенного и худосочного испанского империализма, а затем против французского, заставив последних объединиться. Правда, борьба риффов против теснящих их империалистов тянется уже около столетия, в этой борьбе есть много героических страниц, но дело обычно кончалось раздорами между отдельными племенами и предательством отдельных вождей, которых вводили в «почетный плен» в Европу. Борьба, вспыхнувшая 3—4 года тому назад, — новая эпопея этого неравного единоборства, в котором последний вождь риффов — Абд-эль-Керим — проявил чудеса храбрости. Испанцам и французам, рассчитывавшим на «двухмесячную увеселительную прогулку», пришлось горько разочароваться. Война с риффами стоила военной репутации не одному испанскому и французскому полководцу. Героическая борьба

плохо вооруженных кабиллов, на которых империалисты двух стран обрушились во всеоружии последней техники, воскресила далекие воспоминания о бунтах. Разница только в том, что риффам, как цветным, в «белой» Европе меньше сочувствовали, чем бурам. Расовым предрассудкам отдали дань даже самые «левые» из французских соглашателей, с негодованием отвергнувшие лозунг братания с «дикарями», брошенный французской коммунистической партией. И все же отдельные энтузиасты и искатели приключений отправлялись в лагерь Абд-эль-Керима, а военные и штатские корреспонденты, жадные до всяких сенсаций, по радио сообщали всему миру о чудесах храбрости, проявляемых риффами. Огромным подспорьем для армии риффов явились крайне тяжелые для европейцев географические и климатические условия (непроходимые местности, перманентные ливни и пр.), заставлявшие франко-испанские войска бездействовать в течение целых месяцев и нести тяжелые потери. Этим объясняется то обстоятельство, что в течение нескольких лет война в северной Африке велась с переменным успехом, и наиболее восторженные поклонники Абд-эль-Керима бились об заклад, что он скоро прогонит обе европейские армии из Африки. Парижский и мадридский штабы пытались скрывать свои огромные потери в военных сводках, но это им не всегда удавалось.

Социально-политическая подкладка войны была ясна всем. Испания поставила на карту свое звание колониальной державы. С отступлением из Африки она автоматически утратила бы его. Что касается Франции, то дело шло не столько об утрате колониального престижа, сколько о весьма реальных материальных ценностях, скрытых в богатейших недрах Северной Африки. Всем ясно было, что за напыщенными фразами кавалерийских генералов о гуманности и спасении идеалов европейской цивилизации стоят общие собрания акционерных компаний обеих стран, давно организованных для эксплуатации минераль-

ных богатств Марокко. Абд-эль-Керим, с его проповедью независимости риффов, стоял на их пути. Его необходимо было устранить. Пробовали прибегнуть к обычному средству — подкупам; многих вождей развратили, — Абд-эль-Керим и его брат оставались непоколебимыми. Оставалось последнее средство: сломить сопротивление военной силой, не жалея ни человеческих жизней, ни денежных затрат, которые сторицей окупятся последующими дивидендами. На жалкий писк социалистов, время от времени пробовавших удерживать своих ближайших друзей из «левого блока» — Эдуарда Эррио и К^о — от военных ассигновок, никто не обращал никакого внимания. Акционерные компании, в качестве фактического правительства III республики, продолжали подхлестывать генеральный штаб.

Старая романтика партизанской войны еще раз оказалась беспощадно раздавленной.

Побежденный и плененный Абд-эль-Керим теперь на далеком Мадагаскаре имеет возможность на досуге поразмыслить на тему о «благодетельных» преимуществах европейской цивилизации, о железных законах экономического развития и о том, что «сила солому ломит».

Одновременно французские империалисты разгромили в Сирии, на которую они получили от пресловутой Лиги Наций только «мандатные» права, сопротивление друзей, восставших против неслыханного угнетения и эксплуатации. Как и риффы, друзья проявили чудеса храбрости, но, в конце концов, испытав на себе неслыханный, разнузданный террор французских милитаристов, оказались побежденными. Теперь мандат на разгромленную, окровавленную Сирию служит предметом откровенного до цинизма торга между Италией, Францией и Англией, — ходячей монетой в их темных дипломатических комбинациях.

Но старая романтика недавнего единоробства малых народов с империализмом, побеждаемая на каждом шагу, не хочет сдаваться. Время от времени

она воскресает в самых отдаленных уголках земного шара.

Экспансионистские устремления северо-американских империалистов в прошлом году натолкнулись на упорное сопротивление повстанцев в Никарагуа, которым суждено было воскресить красочные страницы отошедшей в предание героической борьбы буров. В самом деле, то, что происходит сейчас в Никарагуа, больше всего напоминает борьбу южно-африканских республик против британского империализма. Вся разница в том, что борьба идет не за алмазные россыпи, а за кофейные плантации и другие естественные богатства страны, на которые янки из САСШ хотят наложить свою лапу. Цинизм американских империалистов превосходит цинизм английских «джинго», поскольку до самого последнего времени Никарагуа формально оставался независимой республикой, на которую у САСШ никаких прав не было. Но они сумели создать себе это «право». Дело началось с того, что американские таможенные чиновники стали в обеспечение долговых платежей Никарагуа взимать незаконные пошлины, а затем для защиты этих чиновников, само собой разумеется, оказалось необходимым послать «охрану» в виде морской пехоты. Положение осложняется тем, что САСШ сумели навязать Никарагуа «договор» о постройке канала, проходящего через Никарагуа, и двух морских баз. После этого вмешательство Белого Дома во внутренние политические дела Никарагуа стало обычным фактом.

В прошлом году правительство САСШ, несомненно, побило рекорд империалистического цинизма, открыто вмешавшись во внутреннюю политическую борьбу между реакционерами и либералами Никарагуа и оказав вооруженную поддержку генералу Диасу — ставленнику консерваторов. Военные летчики САСШ стали совершать свои разбойничьи рейды в Никарагуа и «поливать» снарядами пункты, занятые либералами. Вспыхнуло народное восстание, во главе которого встал вождь местной крестьянской де-

мократии Никарагуа, молодой повстанческий «генерал» Сандино.

Если мы напомним читателю, что (по статистике 1917 г.) все население Никарагуа — по преимуществу испано-индейские метисы — не достигает миллиона жителей, то легко будет понять, что человек, возглавляющий только часть этого маленького народа в борьбе против морских и воздушных армад янки, должен был воскресить легендарные подвиги буров.

Как в свое время главная квартира буров, как и теперь ставка «крестьянского генерала» Сандино, покрыта дымкой таинственности. Проникнуть в нее могут только испытанные «друзья народа», которые не используют свое посещение во вред повстанцам.

Поэтому о Сандино в печать до сих пор проникали только отрывочные, разноречивые сведения.

Недавно Карльтону Бильсу, корреспонденту буржуазно-радикального журнала «Nation», удалось получить нужные рекомендации, чтобы пробраться в ставку крестьянского генерала, откуда он прислал ряд статей, печатавшихся в этом журнале. Правда, Бильс — единственный иностранный корреспондент, побывавший в лагере Сандино, — и никто не может поставить ему в вину того, что он пытается создать известный шум вокруг своей поездки. Он обещает даже в одном из следующих номеров напечатать свое обращение в связи с событиями в Никарагуа к «великому молчальнику» нашего времени — президенту Кулиджу. Но, конечно, выражение «удалось пробраться» не нужно понимать слишком буквально. Из дальнейшего рассказа Бильса видно, что все его путешествие было предварительно согласовано с друзьями Сандино. И там, где ему мерещится смертельная опасность, в нем говорит просто все та же неуемная жажда кинематографических сенсаций, все та же тоска по агонизирующей в наши дни старой романтике... Бильс живописует первый лагерь повстанцев, в который ему пришлось попасть:

«...Женщины лагеря устроили не-большой алтарь (большинство повстанцев и их вождь — страстные католики), украшенный образом св. Антония и цветной бумагой. Лагерь освещен керосиновыми коптилками. В наспах импровизированных колыбельках заливаются плачем ребятишки. Солдаты с ружьями за плечом, собравшись в кучки, обмениваются впечатлениями по поводу последних стычек с «гринго» (или «мачо» — обидные прозвища американцев), возмущаясь жестокостью и разнузданностью их солдат. Некоторые из них «при свете факелов» читают последние газеты. Кто-то наигрывает на гитаре песенку, сложенную в честь Сандино, в духе стихотворений Уитмэна. Человек, похожий лицом на негра, явно ухаживает за одной из «хуан» (женщина) лагеря, кокетливо перебирающей на груди дешевые бусы...»

Описание пути в ставку самого Сандино корреспондент дает в самых живописных красках. Тут и непроходимые речки, и густые заросли, и предательские опасности на каждом шагу. Его спутники показывают ему исторический пункт — единственное место во всем Никарагуа, где повстанцы позволили себе напасть на плантации «качуреков» (консерваторов) и конфисковать лошадей и скот.

Наконец, Бильс — в ставке. После некоторой проволочки Сандино принимает его в своей канцелярии, находящейся в общих казармах и освещаемой керосиновой лампой.

Американский корреспондент приводит краткие биографические справки о вожде повстанцев Никарагуа: Сандино родился в 1893 г. в небольшой деревне Никиногомо. До последних событий, выдвинувших его на пост революционного «генерала», Сандино был по профессии рядовым механиком.

Он — небольшого роста, но крепко сложен. Одет в скромную военную форму. Каждый жест Сандино выдает его необычайную энергию.

Типичной идеологии крестьянской демократии вполне соответствует и крайне скромная политическая программа Сандино, состоящая из трех пунктов: 1) эвакуация территории Ни-

карагуа американскими моряками; 2) назначение беспристрастного гражданского президента, избираемого делегатами всех (?) партий. Назначенным может быть только такое лицо, которое никогда не было ни президентом, ни кандидатом в президенты; 3) общие перевыборы в стране должны быть произведены под наблюдением Союза Латинской Америки.

По выполнении этих требований Сандино готов не только прекратить всякие военные действия, но и распустить свою повстанческую армию.

О себе он добавляет:

— Лично я не приму никакого государственного поста ни по назначению, ни по выборам. Никогда я не возьму никакой пенсии или иной формы содержания от правительства... Я вполне способен зарабатывать на пропитание для меня и моей жены, чтобы продолжать жить с ней в счастливой бедности. По профессии я — механик и в любой момент с радостью вернусь к своему ремеслу. Кроме того, я никогда не буду сражаться с оружием в руках на стороне либералов или консерваторов. Я возьму его в руки опять только в случае новой интервенции иностранцев.. Мы (партизаны) подняли оружие, руководимые только любовью к своей родине и еще тем, что все остальные вожди продались иностранцам. Мы хотели быть у себя дома и сражаемся за это неотъемлемое право. Какое право имеют иностранные войска называть нас бандитами и объявлять вне закона? Я повторю еще раз: мы — у себя дома и здесь останемся. Но мы никогда не согласимся жить под властью правительства, навязанного нам иностранцами. Судите теперь сами: руководит ли нами какое-либо иное чувство, кроме самого подлинного патриотизма?

И Сандино закончил заявлением, полным оптимизма:

— Когда вторгшийся в наши пределы враг нами будет разбит, — а это случится днем позже или днем раньше, — мои земляки с радостью вернутся к своим клочкам земли, скромному хозяйству, семьям и мулам...

Находит ли себе этот оптимизм Сандино оправдание в реальном соотношении сил? За последнее время всякая информация из Никарагуа заглохла. (Возможно, что там идет последняя схватка между повстанческой армией Сандино и войсками интервентов.) Но вся та информация, которая проникала оттуда до сих пор, дает мало оснований для таких оптимистических прогнозов. Правда, никарагуанцы проявили чудеса храбрости. Сандино особенно гордится победой над американскими моряками вблизи Чипоте, где, по его словам, враг потерял 400 человек убитыми. (По другим сведениям, потери американцев не превышали в этом сражении 50—70 чел.) Партизаны гордятся также искусством подстреливать неприятельские аэропланы.

Но Бильсу вместе с тем пришлось видеть целую серию фотографий, воспроизводящих разрушения, произведенные американскими летчиками путем сбрасывания бомб в Никарагуа. Вот, например, картина разрушений в Чинандега: «Целая улица, сплошь превращенная в развалины, среди которых валяются неубранные трупы... здание госпиталя, от которого едва уцелели стены... Банк, в котором взрывом выворочены железные кассы...»

После речи американского адмирала Планкетта и меморандума морского министра Вильбура Кулиджу вопросы Сандино звучат несколько наивно. Он спрашивает: по какому праву они обрушились на мирных жителей Никарагуа? Но их право — в их силе. Их лозунг — новые рынки, в которых нуждается САСШ вследствие своего золотого полнокровия, с одной стороны, и растущей безработицы, — с другой. Если Планкетта после его речи для виду убрали с должности, то это сделали не потому, что он сказал неправду, а именно потому, что, излагая подоплеку нынешних и будущих подвигов северо-американского империализма, он был слишком правдив и откровенен.

И если сопоставить, с одной стороны, эту грубую правду Планкетта с наивными вопросами Сандино, а с

другой, материальные и технические возможности могущественных американских Голиафов и героических никарагуанских Давидов, то — увы! — нет никаких оснований надеяться, что на этот раз старая романтика, разбитая в Марокко и Сирии, может победить.

Против храбрых партизан Сандино оказались не только бомбометы и аэропланы, но и все тайные дипломатические комбинации, угрозы и хитро-сплетения.

Старая романтика умирает, но не сдается... Такое же героическое единоборство, как в Никарагуа, происходит сейчас в разных концах мира. Английские летчики упражняются в сбрасывании бомб в селения вахабитов в далекой Аравии. Сквозь строгую фашистскую цензуру, предпочитающую не распространять сведения о «подвигах» итальянского империализма в Африке, и то время от времени пробиваются сведения о том героическом сопротивлении, которое оказывают фашистам «сенусси» и др. племена, живущие в оазисах Ливийской пустыни. (Последний «подвиг» итальянских империалистов заключается в том, что они заманили к себе в лагерь при помощи своих парламентариев, главного вождя «сенусси» якобы для переговоров и... отправили его в Рим.) Можно догадываться, что итальянцы несут в этой борьбе с туземцами большие потери, которых они предпочитают не публиковать, но — увы! — и здесь нетрудно предвидеть окончательный исход единоборства:

Борьба верблюда с аэропланом даже в пустыне вряд ли кончится победой первого!..

Сила солому ломит... Увы, даже худосочный итальянский империализм, «героев» которого не раз бивали уже африканские туземцы в прежние времена, при нынешнем развитии техники превратился в грозную, уничтожающую силу для них.

Абд-эль-Керим, стойкое сопротивление которого было раздавлено техникой двух объединенных европейских армий, героически повстанцы Сирии,

Аравии, Индии, Ливии и, наконец, малочисленные «железные когорты» Сандино, расстреливаемые из бомбометов французских, английских, итальянских и американских летчиков,—все это—яркие представители прежней романтики, вытесняемой из жизни вместе с новыми завоеваниями науки и капиталистической техники.

Каждый день приносит сенсационные сообщения о новых восстаниях, возникающих в самых отдаленных уголках земного шара,— всюду, куда только хищный империализм ни протянул свои щупальцы, рождаются вести о новых Абд-эль-Керимах и новых Сандино. Идеологически все эти вожди паразитально близки друг другу: их политическая программа обычно не выходит за пределы национального раскрепощения своих народов, а социально-экономическая — дальше идеалов мелкобуржуазной крестьянской демократии, призванной расчищать дорогу для укрепления и расцвета национального капитала (судьба бурского восстания и др.). Обычно материально-технические ресурсы этих восстаний представляют примитивный арсенал крестьянских восстаний всех времен, в лучшем случае разбавляемый известным количеством «последнего» европейского вооружения, как правило, дефектного или устарелого по сравнению с тем, каким располагают их враги.

И только одно несомненное преимущество имеется на стороне таких повстанческих армий: это — превосходный дух их живой силы, часто достигающий беззаветного героизма, с которым, конечно, не может идти в сравнение настроение механизированных солдат империалистических армий, посылаемых в далекие, чуждые им страны на убой во славу капиталистических барышей. Этот «идеалистический» фактор, временами творящий, как показал опыт и на территории СССР, чудеса, является самым слабым местом интервентов.

Но, к сожалению, в распоряжении империалистов остается еще достаточное количество вымуштрованного живого материала...

Приходится ли, однако, удивляться тому, что, несмотря на растущие технические преимущества империалистических армий, делающие почти безнадежными прямые результаты повстанческих выступлений, число Абд-эль-Керимов и Сандино в разных концах мира скорее растет, чем идет на убыль?

С войной 1914—18 г.г. умерла еще одна иллюзия угнетенных народов, веривших в то, что «великая война» принесет им освобождение. Теперь уже в самом отдаленном углу мира нельзя найти наивных людей, которые верили бы в это. Война родила лишь Лигу Наций, которая давно уже превратилась в прямое орудие агрессивного империализма. Последние сомнения на этот счет рассеяны исходом недавней «разоружительной» конференции, явно показавшей, что империалисты не намерены «складывать оружия» в дальнейшей истребительной войне против малых народов¹⁾.

Но если так, если умирающая романтика народных движений почти наверняка обречена в наши дни на поражение перед напором все растущих завоеваний техники и науки, куда еще состоящих на службе у международного капитала, — то что же должно притти ей на смену?

Неужели непротивление злу в стиле Ганди — квиэтизм и нирвана «скрепленных рук», превращающиеся в прямое пособничество хищному империализму? Нет. Эти повстанческие движения, даже обрекаемые на неудачу, делают великодушную службу в борьбе с мировым империализмом: они разоблачают его безмерную жестокость, его подлейшие «подвиги», они делают его более ненавистным для угнетенных других, еще не пробужденных, стран.

Но, само собой разумеется, если бы в этом было единственное утешение, — существование угнетенных народов на долгие годы оставалось бы крайне безрадостным.

1) В дни, когда пишутся эти строки, назревает новое сопротивление хищным аппетитам европейского и американского империализма в таких странах, как Египет и Абиссиния.

К счастью, на смену этой умирающей романтике уже пришла другая — великая «романтика» Октября, первым долгом провозгласившего раскрепощение всех угнетенных империализмом народов обоих полушарий. Эта новая романтика всемирного освободительного движения, возникшего в России, на развалинах императорского трона — этого символа худших видов угнетения для всего мира, — уже 10 лет тому назад стала им известной. И кто знает, какой удельный вес занимает в настроении и сознании каждого повстанца, поднимающегося со своей немудрой винтовкой в руках против империалистов, эта волшебная, волнующая весть об освободительной программе Советского Союза?

Сообщение об исходе женевского «разоружительного» единоборства ме-

жду товарищем Литвиновым и лордом Кешендэном, дойдя до самых отдаленных уголков земного шара, где сражаются Абд-эль-Керимы и Сандино, лишней раз покажет, что Советский Союз остается нерушимо верным своей освободительной миссии.

Старая романтика умерла... На смену пришла новая, революционно-классовая «романтика» коммунизма, призванного разорвать ржавые цепи империалистического гнета, в котором задыхаются угнетенные народы. Героизм класса спешит на выручку угнетенной части человечества, лучшие представители которого погибали в неравных романтических схватках с насильниками, впрягая и ее в колесницу победоносной и всеосвобождающей социальной революции.

Искусства

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ

ВЫСТАВКИ МОЛОДЕЖИ

(ОМАХРР, «РОСТ» и «Цех Живописцев»).

Ф. Рогинская

«Рост» и «Общество Молодежи» при АХРР'е показательны для тех процессов, которые протекают в среде нашей художественной молодежи. Их состав очень близок друг другу. «Рост» целиком состоит из художников, недавно кончивших или кончающих Вхутеин (бывш. Вхутемас). Основная масса «Общества Молодежи» при АХРР'е тоже вхутемасовцы. Кроме того, туда входят художники из студии ОМАХРР и из Единого Художественного Рабфака.

Объединения эти интересны и характерны в том отношении, что представляют собой одно из первых пополнений современного искусства, выросшего в обстановке послереволюционной школы, сформировавшегося в условиях нашей эпохи. Большой процент этой художественной смены — пролетарский. Значительная часть ее — комсомольцы.

Что же несет эта впервые выставляющаяся молодежь на общественный суд? Быть может, интереснее сперва поставить вопрос иначе, а именно как, какими методами она старается «донести» до зрителя, «подать» ему свою продукцию, потому что именно в этой сфере она проявляет себя самостоятельно и необычно.

Здесь надо остановиться на опыте «Роста». Лозунг «искусство в массы» уже несколько лет официально признан и утверждён всеми художествен-

ными группами. Но ни одна из групп не приняла его так целостно и с такой непосредственной прямоотой, как «Рост». Если АХРР и ОМАХРР ждут массового зрителя к себе (в центр) и принимают у себя все меры для гостеприимной его встречи, то «Рост» идет на окраину и открывает выставку в рабочем клубе. Свой первый экзамен он хочет выдержать перед лицом рабочего зрителя, услышать его запросы и требования из первоисточника. Он не ограничивается простым показом, он открывает доску вопросов и ответов, создает очень длинную и обстоятельную анкету, на заполнение которой требуется немало времени и т. д. И надо сказать, что массовый зритель очень серьезно отнесся к опыту художников. Среди целой груды собранных анкет есть немало с дочтовым штампом. Эти анкеты были взяты на дом, заполнены там с большой тщательностью, а затем отосланы обратно. Анализ их может дать действительно интереснейший материал.

Помимо стремления проникнуть в самую гущу рабочего зрителя, интересна и самая структура организации обеих выставок. Они разбиты на секции, при чем впервые в Москве на ряду со станковой живописью, графикой и скульптурой участвуют секции монументально-фресковая и текстильная. Да и театральнo-декоративный отдел с целой серией макетов в

таком компактном виде, как на выставке «Роста», одновременно со станковой живописью еще не фигурировал. Нельзя не отметить наличие этих секций, как факта не только большой художественной, но и общественной значимости. Монументально — фресковый отдел Вхутеина — детище революции. После захирения церковной живописи фреска в России влачила самое жалкое существование. Современность вдохнула в нее новый смысл. Она может дать ей, кроме того, и широчайшую арену применения в развертывающемся строительстве, в зданиях общественного пользования — театрах, клубах, общественных столовых, в Дворцах Труда и т. д. И молодежь, которая жаждет конкретной реальной связи своего искусства с жизнью, с жаром берется за фресковую живопись. К сожанию, впрочем, фреска еще не нашла себе фактического использования. Здесь приходится сталкиваться со стеной косности, преодолеть которую очень трудно. Настолько трудно, что даже героические — исходя из размера стипендий — предложения студентов давать бесплатно внутреннее оформление зданий, встретили отказ в целом ряде организаций.

Наконец, совершенно своеобразно присутствие в ОМАХРР'е текстильной секции. Это вообще первый случай, когда выставляются не специфически художественные, раритетные текстильные изделия, а рисунки для массовых бытовых тканей — крестьянские и старушечьи ситцы, легкие плательные материи, все те так называемые «ходовые» сорта текстильных изделий, которые обычно никто не расценивает, как элементы художественной культуры и которые в действительности играют, конечно, гораздо большую роль в процессе формирования массовой художественной культуры, чем дорогие товары, почти не просачивающиеся в быт.

Все это говорит не только о ярко бьющей у молодых художников общественной струе, но и о стремлении расширить область воздействия изобразительного искусства, тесней и

ближе сплести его с жизнью, противопоставить художнику, творящему в уединении своей кельи, художника, участвующего в повседневном строительстве и идущего нога в ногу, плечо к плечу с современностью. Однако удастся ли молодым художникам не только организационной установкой, но уже самим материалом своих выставок приблизиться к своим задачам? На этот вопрос надо ответить четко — нет, не удастся.

Я не хочу этим сказать, что в ОМАХРР'е и «Росте» — бездарная молодежь. Наоборот, в живописном отделе «Роста» и в фресковом ОМАХРР'а ясно чувствуется наличие целого ряда ярко одаренных художников. К ним относятся Вепринцева со своими «Китайскими студентами», «Кули» и др., Чуйков с его киргизскими полотнами, Медбайло («Мол в Геленджике» и др.). Нельзя не отметить также импрессионистские эскизные полотна Нины Кашиной, несколько тяжеловесных «Крестьян» и «Конкурса гармонистов» Логгинова, «Потухшие вулканы» Иткинсона и др. («Рост»), а в ОМАХРР'е поражающие своей легкой живописной мягкостью полотна Прагера («Мальчик с собакой»). Можно даже сказать, что способным художником является Ерушев, хотя его «Колчаковщина» представляет собою собрание всяческих ужасов. Офицер с зловеще сверкающим золотым зубом расстреливает женщину. Крестьяне привязаны к деревьям. Их зверск избивают. Некоторые лежат мертвые. Кровь обильными карминными струями течет по всем направлениям картины. Такие жестокие сцены, конечно, бывали в эпоху колчаковщины. Бывали и похуже. И в жизни они должны были, конечно, производить потрясающее впечатление. Но в искусстве одна только сцена избивания или один только момент расстрела воздействует сильнее и концентрированнее. При наличии нескольких одновременных эпизодов внимание зрителя все время делится между ними, не фиксируется ни на одном из них. К этому следует прибавить, что не всегда вид льющейся рекой крови производит самый сильный эффект.

Вспомним незабываемое впечатление «Стрелецкой казни» Сурикова, где никто еще не казнен и виселицы пусты.

Надо сказать, впрочем, что, в сущности, один лишь Ерушев попытался взяться за сложное сюжетное задание. Огромная масса остальных дает этюды без гипсусов Ерушева, но и без всяких дерзаний. Коррективные, обычного типа этюды — пейзажи, портреты и т. д. Молодежь, которая, казалось бы, должна ярче всего реагировать на современность, которой так естественно искриться богатством оттенков, выступает здесь с притушенной радостью в глазах, с строго очерченным кругом восприятий, неторопливым и степенным шагом. Кажется, пропасть лежит между ней и той задорной смежной первых лет революции, которая в азарте отрицания устремилась сжигать библиотеки (случай во Вхутемасе) и утверждала, что нужно стереть с лица земли музеи, эти «кладбища искусств». Если бы судить о нынешней художественной молодежи только по выставке, можно было бы, проникаясь замкнутым, сумрачным и хмурым духом полотен, говорить об ее упадочном, индивидуалистическом характере. Это впечатление подкрепляется фресковым отделом, хотя — повторяю — и там немало способных художников (Коннов, Короткова, Малаяев, Иванов и ряд других). Большая часть эскизов относится к росписи Октябрьского зала Дома Союзов. Этим определяется обилие боевых мотивов — «Октябрьские дни в окопах» Вяземского, «Красногвардейцы» и «Восстание» Мирласа, «Баррикады» Коннова и т. д., и т. д. Казалось бы, зал должен был накалять боевым пылом, пафосом и подъемом борьбы. Между тем, в действительности он истекает элегическими вздохами, окутан мистическим покрывалом и своим общим эмоциональным тоном способен привести в уныние самого бодрого зрителя.

Этот характер работ вступает в резкое противоречие с той ярко выраженной общественной закалкой и бесспорной действенной активностью молодежи, о которой говорилось выше. Оче-

видно, что здесь налицо разрыв между тем, что художник мог бы дать, что составляет его действительную внутреннюю сущность, и тем, что он фактически дает. В чем же причина такого разрыва? Прежде всего ее нужно искать в огромном влиянии школы (не школы, как того или иного учебного заведения, а школы, как определенного метода). Здесь мы сталкиваемся с явно ненормальным явлением. Вся советская школа пережила коренную перестройку, Вхутемин в целом — особенно в лице своих производственных факультетов — вуз нового типа, совершенно невозможный в условиях старого времени. А обучение живописи, после ряда экспериментов формального порядка, снова идет по старинке, по тем же дореволюционным приемам. Метод преподавания должен быть прежде всего целеустремленным — это общее место. Следовательно, и живопись, которая ставит себе сейчас задачи, диаметрально противоположные предреволюционной эпохе, должна, естественно, выдвинуть и новую педагогическую систему. Между тем, даже АХРР, столь яростно борющийся за новую картину, оказывается настолько непоследовательным, что свою студию оставляет целиком во власти формальной системы, с ее глубоко статической натюрмортной установкой, лишенной творческой композиционной работы.

Сила влияния школы, как метода, умножается силой влияния непосредственно ведущего работу преподавателя. Сумма этих двух влияний почти целиком определяет характер выставленных работ. Возьмем, например, фресковый отдел. Единственным доступным материалом для изучения и материалом, обладающим выдающейся художественной ценностью, является древнерусская церковная фреска. Она накладывает явственную печать на работу художников, особенно на композиционный строй их росписей, которые в первый момент можно принять то за «Снятие с креста», то за «Надгробный плач» или «Богоматерь с младенцем». Из преподавателей на фресковом отделении больше всего чув-

ствуется влияние Павла Кузнецова. Это — художник превосходной мягкой красочности и лиризма, но художник, которому неизменно присущ дух жертвенности и мистический ритм. Молодые художники не проводят грани между тем, что они могут взять у Павла Кузнецова, и тем, что им чуждо. И перенимают и томность движений, и бесспинные жесты его персонажей, и завороженный, зачарованный строй его полотен. В результате этих двух воздействий и формируется основной характер работ монументального отделения. Это влияние преодолевают разве лишь Мальцев в своем карандашном эскизе к росписи («Триптих»), Короткова, у которой ориентализм, присущий тому же Павлу Кузнецову, окрашивается в «Женском собрании в Узбекистане» удивительно радостной звонкоголосой гаммой, и Иванов в своем проекте росписи общественной столовой (этот последний на выставке «Роста»).

В станковом отделе выступают влияния других художников. «Рост», например, за немногими исключениями состоит из учеников Фалька. И ему обязан той личной суровой скорби, которая одета на юные лица большинства участников. Любовь к глубоким серым фонам, печать сдержанной грусти, замкнутый статический тон, — все это досадной чуждой гримасой искажает физиономию молодых художников.

В ОМАХРР'е можно различить целый ряд влияний и, наконец, «Цех», — объединение учеников Шевченко, сгруппировавшихся вокруг своего мэтра, одного из типичнейших представителей нашей «французской» школы. В прошлом году «Цех» выдвинул лозунг: «От Сезана к Коро». В переводе на конкретный язык это означает: от цвета, разложенного на оттенки, к одному общему локальному тону. Для развития какого-нибудь определенного художника такая смена изобразительных путей может иметь положительное или отрицательное значение в зависимости от того, отвечает ли она его творческой личности. Но для целого объединения, к тому же молодого, лозунг — явно мизерный и поражает своей узостью. Между тем, «Цех», сле-

дя за своим учителем, именно этому лозунгу посвящает декларативную статью и пытается, правда, неудачно, реализовать его на прошлой выставке. Эти юные «французы», говорящие французским изобразительным языком, отраженным сквозь целое поколение русских сезанистов, этой смесью «нижегородского с французским», представляли собой на минувшей выставке однородную массу, в которой никак нельзя было различить отдельные индивидуальности.

Сказать, что характер выставок определяется влиянием школы, значит констатировать факт, но вовсе не объяснить его причины. Действительно, почему эта достаточно энергичная молодежь так склонна следовать влиянию школы? Мы знаем ведь случаи, когда художники порывали с традицией, обладавшей чрезвычайно большой силой косности (например: разрыв передвижников с Академией).

В значительной степени причина в следующем. Всем памятно еще то великое изобилие «измов», к которым привело бунтарство художников первых послереволюционных лет. Как известно, своим завершением они имели торжество беспредметничества. Это был жестокий урок. И художники наших дней — и педагоги, и ученики — не желают его повторения. И те, и другие предпочитают сперва «обрасти» солидным запасом мастерства, работая над таким безопасным материалом, как пейзаж, портрет и т. д., и только, вооружившись до зубов, взяться за более сложные и ответственные проблемы. Они допускают при этом основную ошибку. Отнюдь не всякое самостоятельное выступление должно завести в тупик и раздробить искусство на массу отдельных рукавов. Если это случилось в предыдущие годы, то объясняется это характером узкоформальных и абстрактных заданий, которые ставили себе тогда художники. Если же молодой современный художник будет выходить на самостоятельную дорогу, беря своим исходным материалом новое содержание, органически воспринятое и близкое ему, не может получиться изобилия мелких

течений и затонов, а может вырасти только одно большое, органично развивающееся искусство, с теми или иными оттенками, определяющимися творческими особенностями художников. Но беда в том, что молодые художники отнюдь не уверены в плодотворном действии материала, обладающего значительным содержанием (социальным, психологическим и т. д.). Годами отстоявшаяся идеология формализма давит на них со всей силой, воздействует на них под всеми углами, начиная от старинного аргумента о вреде «литературного анекдота» до нововоспеченной, подрумяненной по-марксистски, теории о пассивной и мещанской сущности принципа отображения жизни в искусстве.

Не приходится особенно распространяться об очевидной ложности этой теории. Отображение жизни, раскрытие и воспроизведение ее в образах, — свойство всякого искусства. Оно может воздействовать и пассивно и активно, в зависимости от внутреннего заряда, вложенного художником в свое произведение. И если художник является носителем представлений строящего и растущего класса, оно не только не будет воздействовать в сторону пассивности, но, наоборот, будет организовывать общественную психологию в сторону действия и борьбы. Здесь необходимо подчеркнуть, что не случайно именно последние десятилетия породили бессюжетность — лозунг буржуазного искусства, — и что бессюжетное искусство всех видов и оттенков культивируется за границей. Социальные противоречия капиталистического мира сейчас настолько резки, что всякое объективное отображение действительности может быть воспринято, как протест. Выхолощенное же искусство, закрывающее глаза на окружающее, для современной буржуазии явно приемлемее и безопаснее. Следовательно, если говорить о пассивном и расслабляющем влиянии искусства — в условиях современности, — его может иметь именно бессюжетное искусство, не ставящее перед собой проблемы отображения и раскрытия жизни. Однако молодые художники не в силах

еще разгадать реакционной сущности этой псевдомарксистской теории, подкрепляющей пошатнувшийся авторитет формализма.

Пример «Цеха» убедителен, однако, в том отношении, что формальная ориентация не может удовлетворить художников наших дней, как только они начинают себя чувствовать вышедшими из-под сени школы, как только их начинает подхлестывать ветром на широких площадях современности. Вторая выставка «Цеха», в этом году, показывает, что он далеко отошел от своего прошлогоднего убогого лозунга. Цеховцы пытаются заговорить собственным голосом, но так как у них совершенно нет навыка и так как они сами еще точно не знают, что сказать, их голос срывается, как у подростка. У одного и того же автора (например, у Каптерева) он звучит то низко и глубоко (в «Починке рельсов ночью»), то прорывается высокими экспрессионистскими нотами (его же «Митинг»), то слышится в нем вновь давно знакомый приглушенный французский прононс сезанизма (его же женские портреты). Но даже в этот первый момент освобождения художники дают уже несравненно больше, чем в прошлом году. Если Голополосов со своим иступленным красно-синим колоритом мало подвинулся вперед, то у целого ряда других впервые проявилась индивидуальность (Башкиров, Фролов и др.). В частности, интересна графика Когана («Пильщики» и др.). Остается его попытка трактовать еврейские мотивы не в узаконенном у нас шагаловском плане, а в духе монументально-эпическом. В целом же, конечно, отсутствие ориентации дает себя чувствовать. Выставка напоминает откупоренную бутылку с шипучим напитком, из которой пена льется с большим напором, но не столько попадает в стакан, сколько проливается. «Цех» вступил в полосу ломки, на которую тратится и творческая энергия, и не менее драгоценное время.

До сих пор не приходилось касаться скульптурной экспозиции. Она более удовлетворяет, чем живописная. Хотя,

за исключением барельефа Листопада «К десятилетию Октября», на выставках нет выдающихся произведений, общий уровень их достаточно высок, а, главное, они отражают основные тенденции того под'ема, который переживает современная скульптура. Мы встречаемся здесь с рядом монументальных—по устремлению—фигурных групп (Коварской, Ивановой и др.), а также и с попытками дать композиции такого типа, где самые изваяния являются деталью сложного архитектурного целого (проекты Тенета). Впрочем, его «Стадион» фальшиво напыщен, а «Фонтан октябрат» скорее можно назвать «Фонтаном амуров».

Меньше всего радует театральнo-декоративный отдел. В нем совсем нет, например, макетов к такой живой отрасли, как клубные драмкружки. Все работы посвящены операм, и по характеру своего оформления уходят в прошлое театральное искусство, дают бедное в пространственном отношении использование сценической площадки, напирают на декоративность в узком смысле этого слова, как бы не замечая того огромного сдвига, которым ознаменовалась в театральнo-декоративной работе прошедшее десятилетие.

Хорошо, конечно, когда «Рост» с молодым задором заявляет: «Мы не хотим давать рабочему зрителю какой-то особенный подслащенный и засахаренный материал. Мы несем ему то самое серьезное искусство, над которым мы работаем и которое обычно показывают только в центре. Мы даем ему качественное искусство». Но плохо то, что молодые художники не ощущают разлада между полнотой и общественной заостренностью своей жизни и тем бедным однообразным искусством, которое они несут рабочему зрителю. Плохо и то, что они ставят знак равенства между качественным и формальным искусством. Они должны были бы обратить внимание на опыт «Роста» с витриной так называемой «Сухаревской продукции». В своем исследовательском пыле «Рост» собрал на Сухаревке разную специфически рыночную художествен-

ную продукцию — дешевые картины, статуэтки, полочки и т. д. Он рассчитывал, что зритель, сопоставив работы «Роста» и анонимных сухаревских «мастеров», сразу поймет, что ему ближе и нужнее именно ростовская продукция. Случилось наоборот. Сухаревская витрина оказалась центром притяжения. Зрители, не понимая, что вонзают нож в сердце «Роста», выражали ей самым недвусмысленным образом свое одобрение. На следующий же день «Росту» пришлось убрать витрину. Можно сказать: засилье мелкобуржуазного мещанского вкуса все еще властвует над вкусом рабочего зрителя. И в этом есть какая-то доля правды. Вкус массового зрителя в настоящий момент не может служить критерием для оценки художественных явлений. Но все же — только доля правды. Все эти картины, статуэтки и т. д. не могли бы иметь прочного успеха, если бы за их мещанской скорлупой, где-то в своей сердцевине, они не отвечали подлинным и здоровым потребностям зрителя. Во всяком случае, художники, очевидно, не дали зрителю такого материала, который по силе своего воздействия был способен противостоять привычной и, следовательно, менее впечатляющей сухаревской витрине. А это, как ни расценивать сухаревскую продукцию, очень показательно, и молодыми художниками должно быть учтено. Нельзя пройти также мимо некоторых ответов на ростовскую анкету. Ее четвертый вопрос гласит: «Подчеркните, что по вашему мнению должны изображать художники: природу, деятелей революции, быт крестьян, исторические события, труд и жизнь рабочих, обнаженное человеческое тело, техпическое строительство, заграничную жизнь, жизнь буржуазии». Но вместо того, чтобы подчеркнуть, целый ряд зрителей пишет: «Все, все, все!». Это — голос зрителя, рвущегося к богатому по наполнению, широкому по охвату искусству, т.е. именно к такому искусству, которого, ограниченные по тематике и почти однородные по эмоциональному тону, выставки молодежи не дают.

ОЧЕРКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

К вопросу о сценическом прочтении классиков

П. Марков

В годы гражданской войны в Москве играли тринадцать пьес Шекспира. За это время классическое наследие было использовано полно и расточительно. Репертуарный размах широко охватил не только Островского, Гоголя и Грибоедова, Шекспира, Шиллера и Мольера, но также Байрона и Шелли, Кальдерона и Лопе-де-Вега, кочная комедиями Маккиавели, фарсами средневековых шарлатанов и сатирами Аристофана. Вряд ли можно найти хотя бы одно крупное драматургическое имя прошлого не развернутое на нашей сцене. Бен-Джонсон, Клейст, Гольдони, Тирсо-де-Молина, Расин, Софокл, Эсхил, Бомарше, Гоцци составили звучную библиотеку нашего театра. Еще не имея современного репертуара, режиссура отгачивала методы и приемы на классиках, и театр РСФСР открылся вольной переработкой «Зорь» Верхарпа. Ища «созвучия революции» театр в классиках искал отзвука горевшему в нем пафосу. На ряду с послушным следованием тексту Мейерхольд и Вахтангов свободно его ломали во имя современного спектакля.

Рост современной драматургии отодвинул классиков на второй план. Их процентное отношение в репертуаре становится все менее значительным. Они уступают место современным авторам. Не говоря уже о ряде театров, ориентирующихся исключительно на современную продукцию, как театры МГСРС и Революции, но и академические театры в подавляющем большинстве играют современный репертуар (все три новые постановки МХАТ, обе премьеры Малого театра, Вахтанговского театра, — пьесы современных авторов). Леонов, Катаев, Вс. Иванов, Лавренев, Билль-Белоцерковский, Кириш, Бабель, Алексей Толстой, Файко — авторы текущего сезона.

Роль современного театра в воспитании новых драматургов неизмерима и неоспорима. Не подлежит никакому

сомнению правильность и закономерность встреч авторов и театров.

Сила театров такова, что даже далеко не бесспорные в художественном отношении вещи театр наполняет трепетной жизнью. Театр делает сейчас все, чтобы помочь рождению драматургии. Тем менее эпоха культурной революции позволяет оставлять в пренебрежении классическое наследие. Напротив, крупнейшие произведения прошлого должны быть в репертуаре наших театров. Последние пять лет заставят по-новому взглянуть на них и найти новые подходы к их сценическому разрешению. Вряд ли удивлится сейчас какой-либо художник отвлеченным «созвучием революции»; возможно, Вахтангов нашел бы иные ходы «Турандот» теперь, нежели его великолепное изобретение двадцать второго года.

Текущий сезон имел ряд опытов интерпретации классиков. Еще в начале сезона Второй МХАТ поставил «Смерть Грозного», найдя в исторической трагедии Толстого повод для ее символического истолкования; Камерный пытался реставрировать «Антигону» в немецком переложении Газенклевера. Ближе к концу сезона появились две легкие комедии Шекспира в Малом театре и его студии; «Волки и овцы» Островского в постановке Сахновского и Волкова у Корня и, наконец долгожданное «Горе от ума», или вернее, «Горь уму в театре Мейерхольда».

Шекспир — с одной стороны, Островский и Грибоедов — с другой, наиболее показательны для современного ощущения классики, — повторяем, и того, нежели в годы блокад, гражданской войны и боевого пафоса. Уже иные в них замечаются грани и иными своими сторонами обращены они к современному зрителю. Ему — этому зрителю — не менее нужно великолепное классическое наследие, нежели зрителю

лет предшествующих. Но смотря на полотно Шекспира, вглядываясь в ушедшее наследие русских классиков, воспринимая красоту их мастерства, глубину их образов и философию жизни, — театр ищет сквозь все эти качества иных разительных сторон. Он ищет не только «созвучия революции». — он ищет «социального звучания спектакля».

1. Шекспир

Шекспир — драматург Елизаветы и родоначальник современной трагедии. Он сильнее всего сохраняет то созвучие, о котором мечталось ранее; его трагедии — по силе страсти и глубине мысли, его комедии — по грубому здоровью их юмора, — сохраняют созвучие эпохам бурления в народных массах. Но современность не мирится с традиционным Шекспиром и требует первоначального Шекспира. Известно, что его переводы на русский язык сглажены. Мы живем с причесанным Шекспиром: он подвергся серьезной чистке при переносе его пьес из театра XVI—XVII веков в золоченые залы XIX века. Дюсис и Сумароков, когда переделавшие его для французской и русской сцены, не так далеки от наших переводчиков, придавших языку Шекспира приятную плавность и пресловутую сценичность. Трагик Шекспир зовет актёра обнаженным подходом к человеческой психологии и неуязвимой силой ее театрального показа. Когда Ваграм Папазян сыграл в случайном спектакле «Отелло», — зал был потрясен, ибо Папазян показал конкретность и живую плоть шекспировых страстей, несмотря на то, что сузил трагедию Отелло до трагедии ревности.

К ревизии шекспировских комедий приступлено. Конечно, попытки последних лет — эксцентризм и намеренное... неправдоподобие — более ничего не скажут зрителю. Его уже не восхитит клоунский грим, как и не развесят чрезмерное богатство акробатических упражнений — характерные искажения для борьбы против шаблонного Шекспира. Они неизбежно обедняли Шекспира. Исполнив долг, эксцентриада мирно почила, дав дорогу иному,

пониманию шекспировой комедии. Взамен беспредметной театральности и пресловутого «оциркачения» театра — ход к народной комедии. Спектакля «Сон в летнюю ночь» и «Конец — делу венец» сильны поисками органического подхода к Шекспиру и сомнительны, как только они их теряют.

«Сон в летнюю ночь» — смесь бытовой комедии и сказочной фантастики. Малый театр не нашел ключа к современному звучанию фантастики. Он предпочел воспользоваться приемами обычной феерии. Сказочная жизнь комедии не развернута в большое и сверкающее полотно. Не толкнула она режиссера и на ее шутовское, пародийное освещение. Она стала условной театральной игрой вне шекспировского мироощущения и вне его полнозвучного смеха. Фантастическая и лирическая части комедии посередили и поблекли: режиссер не заразился Шекспиром, он заглянул в арсенал старых, испытанных и скучноватых приемов. Напротив, бытовая и пародийная сторона комедии удалась Костромскому отлично. Отбросив стеснительные предрассудки и чутко определив свое отношение к быту, Костромской прекрасно почувствовал наивную силу и жизнерадостность спектакля о Пираме и Физбе, устроенного ремесленниками; их сыграли задорно и увлекательно, увидев сквозь внешнюю грубость обаяние этих неожиданных любителей искусства: Шекспир зазвучал, и смех зрителя оказался не случайностью, а закономерностью.

Каверин, ставя «Конец — делу венец», следовал любимым традициям ваханговской «Турандот». Он заново испытывал былую боевую формулу: пьеса, как повод современного спектакля. Впрочем, Каверин разрешает спектакль в традиции «Турандот», но не в стиле «Турандот». Каверин — проще, ярче, доступнее. На его работах вообще лежит «московский отпечаток». Он любит богатства красок, яркость костюмов и простодушие актерской игры. Фабула комедии дала режиссеру толчок к «современному, истолкованию Шекспира». Старинную легенду Боккаччи легко повернуть в сторону комедии об «омоложении» и «алимен-

тах». За высоким стилем героических чувств Каверин угадывал первоначальную грубость шекспировского юмора. Вызвав на сцену тень Бокаччио,—он отбросил его героизм, предпочтя лукавую насмешливость. Любовная история Елены и Бертрама переключена в план пародии, более того, почти фарса. Пресловутое рыцарство стало предметом народного осмеяния, и тяжесть средневековых преданий заменена легкостью забавного представления. Переключая образы в план пародии, Каверин порою добивался отличных результатов. Улыбка окрасила роман Елены и Бертрама, режиссерская изобретательность в игре вещей и декораций была неистощима, и весь спектакль был окрашен прекрасной театральной выдумкой.

Правда, переключение образов не всегда проходит безнаказанно, и не всегда «идеологические» поправки легко звучат в привычном тексте. Приняв решение обратиться «Конец» в насмешливый фарс,—в окончательную пародию на любителей рыцарского благородства и в насмешливое разоблачение легенд,—режиссер вправе идти дальше в приспособлении шекспировского текста. Каверин останавливался порою на подорожье, и тогда первоначальная природа текста легко выдавала себя в прекраснодушных монологах герцогини, которые — с каким бы ядовитым выражением ни говорились,— все же звучат добродетелью, а не ханжеством. Но в целом Каверину его опыт удался, и соединение традиций «Турандот» с комсомольским налетом создало остроумное представление в духе Шекспира — Бокаччио.

2. Островский

В толковании Шекспира социальное звучание скрыто в общей окраске спектаклей, перепланированных в соответствии с требованиями современного зрителя. Островский и Грибоедов показаны в ином, и, может быть, для многих неожиданном плане. В спектаклях Островского и Грибоедова развернута цельная картина эпохи. Мейерхольд и Сахновский в равной мере интересовались внутренним смыслом

изображаемой эпохи. Кроме того, Мейерхольд привнес в толкование Грибоедовской комедии новое начало, которое по праву можно назвать лирическим и которое придало особую окраску спектаклю.

У обоих режиссеров тема пьесы переплетается с анализом эпохи. Резко отрицательная окраска образа, вне понимания его внутреннего зерна, ничего не говорит зрителю. Она кажется надоевшим плакатом. Зритель хочет знать не только факт, но и его причину. Социальная роль образа вырастает из ясно понятой картины целого, из значения образа в развернутой картине действительной борьбы и драматических столкновений. Закованный в общую картину, он подвергается оценке с точки зрения нашей современности, и никакие похвальные личные качества не удержат строгого суда зрителя. Режиссер-современник вызывает из прошлого одну из потрясающих картин и разоблачает ее социальный смысл и ее характерное значение для эпохи. Так случилось с «Волками и овцами», поставленными Сахновским. Спектакль не был плакатен. С другой стороны, режиссер не прельстился блестящими формальными качествами комедии. Обычная история обольщения Лыньева Глафирой отступила на второй план перед социальной картиной, которую увидел режиссер. Он воскрешал эпоху не ради любования ею и не ради создания акварельных картин прошлого, а во имя раскрытия внутреннего смысла отжитого времени. Так звучал спектакль и так его воспринимал зритель. Художественная правда Островского таила в себе иную, более глубокую правду, которую в ней смело раскрывают его поздние потомки — свидетели и участники наших лет.

Приняв время действия за семьдесятые годы, режиссура подчеркнула во всем строе спектакля противоречия быта тех лет. Не желая скользить по верху, она предпочла взглянуть в корни начавшегося и уже неудержимого распада дворянства. Приняв в качестве главного приема жестокое обнажение быта, театр естественно перевел легкую комедию к дерзкую

сатиру. Название комедии «Волки и овцы» получило иронический оттенок: в борьбе, развернутой театром, зритель не становится ни на сторону волков, ни овец, с которых театр совлек все обаятельные качества невинных жертв. Скука и ужас вырождающегося дворянства наполняют уездную маленькую помещичью жизнь. За дверьми дряхлеющих усадеб — сумрачные компаты; роскошные палаты Мурзавецкой заменены полутемными залами, со следами былой роскоши и верного запустения — серое пристанище дрожащих лампад, подложных счетов и религиозной истерии. Среди тихих аллей дворянских гнезд вырастает бессмысленная безвкусица роскошного уездного дома, с уродливыми амурами и модными коврами. Мурзавецкие приходят в упадок, новый авантюризм, промышленных спекулянтов сотрясает былое мирное житие, дворяне рождаются с купечеством: переходное время первых лет освобождения крестьян, дворянских союзов, пересмотра жизни — первые предвестники будущего «Вишневого сада». Режиссура взглянула на «Волки и овцы», как на пролог того процесса, эпилогом которого явилась трагическая комедия Чехова о ненужных людях и будущей светлой жизни.

Монументальный образ важной барыни Мурзавецкой заменен у Сахновского кликушей и старой девой, доходящей в своем обмане до истерического пафоса и держащей страхом сплетни в своей власти мелких дворян уезда, — обломок былых дворянских родов. По скудеющим полям уезда бродит пьяный, дегенерирующий дворянский сын, отставной армеец, — выразитель тоски, скуки и бедности жизни, — племянник Мурзавецкой, неожиданный Аполлон (Кторов). Беркутов (Бақшеев) несет в мягкие тона идиллической спальни Купавиной (Жизнева) решимость промышленного спекулянта — представителя новорожденного авантюризма и проводника той власти денег, которой он докорно служит. Кудавина — богатая купчиха, вышедшая замуж за дворянина, Кустодиевская Венера, поклонница сладостной жизненной пошлости, — быстро от-

дает себя и капиталы бешеному натиску Беркутова, как когда-то отдадала легко и самовольно своему первому мужу. И все они — Мурзавецкие, Купавины, Беркутовы — сохраняют властолюбивую повадку; дух крепостничества не вытравлен из душных комнат и зеленых аллей, в которых он жил долгие годы. На этом фоне становится непятым острый образ Глафиры (Понова), которая несет озлобленность обделенной, но жадной жизни и будущую карьеру богатой женщины.

Заново взглянув на образы, режиссура верно почувствовала путь социального толкования классиков. Эпоха взглянула из текста Островского. «Волки и овцы» стали знаком помещичьей жизни, и преувеличенные их образы — закономерными выразителями строя жизни. Многие поднесены отдельными исполнителями, не сведены в одно целое противоречия текста, рисунок ролей не достиг желаемой легкости, по основной мысли спектакля доходит с решительностью, которая заставляет зрителя чутко всмотреться в развернутую перед ним сатирическую картину.

3 Грибоедов — Мейерхольд

Восприятие последней работы Мейерхольда — «Горе уму» — совершено спорно. Как обычно, она вызвала многочисленные отклики в печати и ожесточенные споры на диспутах. Спектакль отмечен жадной пового прочтения текста и поисками новых приемов социального разреза спектакля. Помимо раскрытия эпохи острейшими средствами современного театра, помимо твердо установленного отношения режиссера к отдельным образам комедии, Мейерхольд ищет лирического зерна, которое взволнует современного зрителя и поможет ощутить тему спектакля. Мейерхольд неожиданно, смело и резко вскрыл внутреннюю окраску эпохи — ее внутреннее рабство, мучительность для свободной мысли и трагическую безвыходность. Сатира переросла в большое трагическое полотно, которое соединяет разность характеристик с правильно показанным соотношением общественных сил эпохи.

Постановка Мейерхольда далеко не безупречна. Она оставляет место для

многих сомнений и возражений. Не все характеристики удачны и не все актерские исполнения доводят замыслы Мейерхольда до зрителя. Сценически читая комедию Грибоедова, Мейерхольд разрывает с принятым шаблоном ее толкования, допуская при этом ряд ошибок. Не в них значение и смысл спектакля. Они не могут закрыть его несомненного общественно-значения и его социальной правды. Среди 17 эпизодов, на которые Мейерхольд разорвал комедию Грибоедова, есть более удачные, и совсем неудачные, по основному восприятию Мейерхольдом комедии отмечено несомненной значительностью.

Главнейшая внутренняя ценность спектакля — в ревизии образа Чацкого. Мейерхольд уничтожает привычный облик героя-любownika, фрачного посетителя фамусовских балов, декламатора гостиных и обличителя западных обычаев. Относясь в целом уважительно к тексту Грибоедова, Мейерхольд не остановился перед отсечением таких канонизированных монологов, как «Французик из Бордо», дающих легкий повод к характеристике Чацкого в вышеуказанном смысле. Чацкий Мейерхольда не делится своими мыслями с Софьей на балу, он не становится на защиту премудрого незнания ипохристовцев, а монолог о крепостном праве произносит не Фамусову со Скалозубом, а своим друзьям, с которыми читает стихи Пушкина и Рыльева. Исполнение идет по неизмеримо более глубокому пути. Чацкий Мейерхольда — один из идеалистических юношей, будущих шеллингианцев, предшественников Одоевского, которые, сознавая неправду окружающего строя, не могут овладеть жизнью и только мечутся среди цепкого и установленного быта. Чацкий Мейерхольда глубоко верит, но не знает путей. На нем как-будто отражено отношение Грибоедова к декабристам, который вполне сочувствовал их настроениям, но не верил в возможность переворота «сотни прапорщиков»... Смысл представления — своеобразный «трагизм идеализма». Прекрасный пожеланиям, твердый по вере, чистый душевно, Чацкий бесслен опрокинуть быт. Чацкий проти-

вится жестокой стихии, которая воплощена в жизни дома Фамусова. В толковании Мейерхольда жизнь фамусовского дома становится в известной степени символической. Спектакль построен на резком противопоставлении Чацкого остальному обществу. Всеми сценическими способами подчеркнуто одиночество Чацкого. Даже его внешний облик не напоминает ни одного из прежних исполнителей роли. Исполняющий в театре Мейерхольда Чацкого Гарин играет его совсем молодым юношей, небрежно и просто одетым. Внутренний облик Чацкого подчеркнут его музыкальностью, и ряд монологов, в звучании которых для нашей современности Мейерхольд сомневался, заменен музыкой Баха, Шуберта и Моцарта.

Страдания и мучения Чацкого тем острее и весче доходят до зрителя, что фон эпохи выписан Мейерхольдом с большой сценической четкостью и отличными мастерством. Мейерхольд переводит фамусовский дом с высот обычной торжественной пышности в ясно выраженное внутреннее мещанство, рисуя не столько великолепие грибоедовской Москвы, сколько один из многочисленных московских домов, характерных для эпохи и ужасных своей похужестью друг на друга. Он показывает обывденную жизнь дома не в ее натуралистических подробностях, а в ее подчеркнутой типичности. Он схватывает характерность глазом сатирика. Непотрясенный быт дворянского московского общества — окраска комедии. За стенами этого дома еще сотни таких же удручающих по внутренней тоске домов, где хозяева мирно играют с гостями в бильярд, выдают дочерей замуж, «живут и умирают». Приезд Чацкого только взволнует, но не разбудит фамусовский дом от его спокойного сна. Особой силы изображения фамусовского общества Мейерхольд достигает в картине сплетен, которую он ведет за поставленным вдоль авансцены столом. Ее основную окраску можно назвать сладострастием сплетни, когда участники повторяют один за другим бегающие слухи и осуждающие слова, — кажется, что они говорят не столько о Чацком, сколько о

предмете их ненависти,—растущей за пределами их дома стихии либерализма.

Такая же новизна в рисунке роли Софьи, которая дана с сложным переплетением своенравных чувств игры с Молчалиным, романтического налета и некоторой развращенности — московская барышня, воспитанная на романах, Кузнецком мосту и авантюристических мечтах. Молчалин — хитрый карьерист с будущностью, уверенно красивый, с романтической загадочностью, небрежной иронией и необходимой почтительностью, — он, конечно, будет прощен Фамусовым, и в нем легко увидеть одного из будущих бюрократов, которые пока умеют держать в руках свое начальство. Неясна линия Фамусова, который в исполнении Ильинского не приобретает убедительности и силы; его характеристика восходит к театральной традиции Панталоне и лишена глубоких психологических и общественных корней, которыми отмечен строгий рисунок мейерхольдовского спектакля. В характеристике второстепенных персонажей тот же отход от привычных толкований. Среди них очень удачна характеристика Хлестовой и совсем неудачны Загорецкий и Репетилов, которые, приобретя

облик «уродов с того света», не приобрели выразительных очертаний.

Среди 17 эпизодов некоторые превосходят: приезд Чацкого, разговор его с Софьей через ширму, разговор Чацкого с Молчалиным в дверях — великолепная характеристика этих противоположных людей; некоторые кажутся грубыми — эпизоды, касающиеся Фамусова, Репетилова, Загорецкого; некоторые не достигают цели — тир и биллиард.

На фоне «дня в доме Фамусова» Мейерхольд показывает выразительные черты эпохи; он связывает их с внутренней грибоедовской темой — бесилия идеалистического протеста; субъективно правый Чацкий объективно беспомощен; проповедник идей, он не знает дорог, он только подготавливает приход иных, более свободных и более решительных умов; эту тему Мейерхольд доводит до зрителя острейшими средствами современного театра, — он продолжает строить театр своеобразного «музыкального» реализма (по его терминологии), перенося законы музыкальной композиции на композицию спектакля. «Горе уму» рассказано нашим современникам на тему грибоедовской комедии.

Книжное обозрение

А. П. Чехов.—«Несобранные письма».
Редакт. Н. К. Пиксанова. Комментарии
Л. М. Фридкиса. Госиздат. М.—Л. 1927.
Стр. 148. Цена 1 руб.

Надо приветствовать начинание Л. Фридкиса, кропотливый труд которого по собиранию рассеянных за 22 года в периодических изданиях — сборниках, газетах, журналах, альманахах — писем Чехова сложил целый томик, являющийся прекраснейшим дополнением к тому ценнейшему эпистолярному наследию, которое оставил Чехов.

«Несобранные письма» раскроют нам многое в «лаборатории» чеховского творчества, укажут нам те методы и приемы, которыми он, взыскательный художник, руководствовался в своей писательской работе. В этом отношении новому сборнику, действительно, посчастливилось; в нем целый ряд таких писем, в которых Чехов, с исключительной для него откровенностью, беседует о, так сказать, тайнах своего «святого ремесла». Так, в письме к Ф. Д. Батюшкову (3 января 1898 г.) Чехов просит выслать ему корректуру, признаваясь, что отделять рассказ он может только в корректуре — в рукописи же ничего не видит: «Рассказ будет готов лишь после того, как я перепачкаю вдоль и поперек корректуру». А в письмах к Д. В. Григоровичу и к Я. П. Полонскому мы читаем историю создания первой большой повести Чехова «Степь». В очень откровенных высказываниях Чехов останавливается на тех общих задачах композиции, которые для него, только что пробующего себя в работе над крупной вещью, возникали и требовали от него каких-то новых приемов, резко отличных от приемов для «маленького рассказа». Уже искушенный мастер новеллы, он и начатую повесть строит, как ряд глав, составляющих особый рассказ, но меж

собой связанных, «как пять фигур кадрили, близким родством». Таким образом, композиционно «Степь» возникла из ряда новелл, при сохранении основного требования для новеллы — компактности: «Все страницы выходят у меня компактными, как бы прессованными»... Крепкой связью между этими отдельными главками-рассказами является, по замыслу Чехова, присутствие одного действующего лица (мальчик Егорушка), сквозь призму переживаний которого, как мы знаем, и переданы все ощущения от «равнины, лиловой дали, овцеводов, попов, ночных гроз, постоянных дворов, обозов, степных птиц». Чехов озабочен тем, чтобы все эти детали, образующие как бы своеобразную «степную энциклопедию», были насыщены «общим запахом и общим тоном». Эти признания, вскрывающие стремления художника отойти от новеллы к постройке большой вещи, ведут к сообщениям Чехова о давно задуманном им романе.

Для исследователей чеховского творчества возникает с давних пор любопытнейшая проблема о Чехове-романисте, так как до сих пор еще держится легенда о написанном или, во всяком случае, начатом романе Чехова. В письмах к Д. В. Григоровичу мы, действительно, читаем сообщения о работе над романом: «Прерванный роман буду продолжать летом». Мы узнаем, что роман должен захватить целый уезд (дворянский и земский), домашнюю жизнь нескольких семейств. Действующие лица романа «взяты обыкновенные, — интеллигентные женщины, любовь, брак, дети». В другом письме к тому же Григоровичу Чехов говорит еще подробнее: «Роман захватывает несколько семейств и весь уезд с лесами, реками, парами, железной дорогой. В центре уезда две главных фигуры — мужская и женская, около

которых группируются другие шашки. И тут же следует еще одно признание, немаловажное для познания Чехова эпохи 80-х годов: «Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет, я меняю его ежемесячно». Из этого следует, что волей-неволей Чехову придется в романе ограничиться только описанием, как его «герои любят, женятся, рождают, умирают и как говорят». В романе должен был выступить тот «объективизм» Чехова, который так легко было принять за кажущееся безразличие.

Еще более ценное признание, относящееся к вопросам композиции, находим мы в тех письмах Чехова, в которых он останавливается на выяснении проблемы так называемой сценичности. Уже автор «Иванова», Чехов увлечен драматургией и поэтому, прочитав водевиль приятеля своего А. С. Лазарева-Грузинского, он осуждает архитектуру его пьески, «как несценичную». «Нельзя, — указывает Чехов, — обманывать зрителя, поэтому ошибка Грузинского в том, что одно из его действующих лиц произносит монолог, не имеющий никакого отношения к дальнейшему развитию интриги». «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Нельзя обещать». В советах Чехова проявляется то чувство сценизма, которым Чехов, несомненно, владел, но которое было проявлено им в столь неожиданной, подлинно-новаторской форме в его больших пьесах, лишенных внешней театральности. Во всяком случае, подлинные пружины сценизма явственны у Чехова-водевилиста и не случайно, что драматургическая рецептура Чехова имеет в виду водевиль приятеля. Да и сам Чехов постоянно возвращается к этому же виду. Едва закончив «Иванова», он «от нечего делать», как признается в письме к Я. П. Полонскому, написал «пустынький французистый водевильчик под названием «Медведь». Это своего рода «шалость пера», за которую есть основание опасаться: Чехов печатается в «толстом» «Северном Вестнике», в котором, боится он, его «предадут анафеме», узнав, что он пи-

шет водевили. «Но что делать, — признается он, — если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тру-ла-ла. Как ни стараюсь быть серьезным, — ничего у меня не выходит; и вечно у меня серьезное чередуется с пошлым».

Для Чехова тут дело, конечно, не в пошлости, а в некоем органическом у него отвращении к канонам, заветам и традициям.

Чувство свободы, свободного отношения вне слепой покорности к традиции и даже к целой школе — основное свойство Чехова. Поэтому, будучи очень близким к московскому Художественному театру, он, тем не менее, готов протестовать против усвоенных режиссерских приемов этого театра. Чехов противится натурализму, отсюда совет Вс. Эм. Мейерхольду, исполнителю роли Иоганнеса в гауптмановских «Одиноких», избегать подчеркнутой нервности, «чтобы невропатологическая натура не заслонила, не поработила того, что важнее», — одиночества высокой интеллектуальной личности. Станиславский, знает Чехов, будет настаивать на этой излишней нервности, но Мейерхольд не должен уступать.

Уже этот беглый обзор, вскрывающий наиболее ценные места вновь публикуемых чеховских писем, убеждает нас в ценности сборника. Следует к тому же добавить, что составитель отнесся в высшей степени внимательно к своей работе и снабдил письма хорошими комментариями, иной раз, может быть, лишь излишне короткими. Для нового читателя, который, несомненно, заинтересуется «Несобранными письмами» Чехова, многое в скупых примечаниях Л. Фриджеса останется не до конца раскрытым.

Юр. Соболев

Валентин Рожицын. — «Атеизм Пушкина». Изд. научного общества «Атеист». Стр. 90. Ц. 1 руб.

Несмотря на огромное количество литературы, посвященной Пушкину, книги, выходящие о Пушкине в после-революционные дни, представляют огромный интерес. Социологический подход к изучению творчества Пушкина, в сущности говоря, почти еще

не применялся. Можно по пальцам пересчитать те немногие работы, которые пытались дать социологический анализ произведений величайшего русского поэта. Тем более любопытным представлялась бы попытка осветить почти вовсе неисследованную область религиозных воззрений поэта. За исключением небольшой и малоценной работы В. Гиппиуса «Пушкин и христианство» и добросовестной сводки материалов Кислицыной «К вопросу о религиозных воззрениях Пушкина» (Сборник памяти Венгерова. 1923 г.), этот вопрос специально не освещался ни одним исследователем-пушкинистом. Тем не менее, в целом ряде исследований мы можем натолкнуться на чрезвычайно ценный и важный материал, могущий помочь исследователю выяснить как сами религиозные воззрения поэта, так и их корни. К сожалению, лежащая перед нами книжка В. Рожицына вовсе не пожелала пойти по этому пути. Напротив, автор ее, учинив подлинный разгром всей предыдущей литературы, решил пойти по своим путям, вовсе не считаясь с предыдущими исследователями. Говоря о прошлом пушкинианы, Рожицын утверждает, что «привилегия изучать и толковать Пушкина принадлежала почти всецело реакционерам» (включая сюда, очевидно, и Белинского, и Огарева, и Майкова, и многих других). Исключение делается для чрезвычайно немногих «добросовестных» пушкинистов, как, например, Щеголева, «хорошо знакомого с Пушкиным» и академика Майкова. Но даже и в этих случаях Рожицын очень редко ссылается на их работы. Подвергая самым ярым нападкам все научные издания сочинений Пушкина, автор делает неожиданное исключение для одного из худших, для I тома, вышедшего в 1919 г. под редакцией Брюсова. Мало того, цитируя, Рожицын подчас пользуется услугами собственной памяти, благодаря чему стихи: «Не та, которая Христа родила, не спросясь супруга», превращаются в: «Та, которая Христа родила, мужа не спрося», а в «Гаврииаде» взамен общей всем спискам строки: «Два яблока, вися на

ветке дивной», появляется: «Два яблочка, вися на ветке длинной». На протяжении всей книги, несмотря на сожаление автора, высказанное им в предисловии о нахождении на ряду со стихами Пушкина эпиграмм и стихотворений, ему только приписываемых, мы встречаем целый ряд ссылок на безусловно непринадлежащие Пушкину стихи: «Как счастливы баббисты» (библисты), «Народ мы русский позабавим», стихи отвергнутые еще в 60-х годах Гербелем. Подчас Рожицын пытается и сам делать новые открытия в области текстов, и тогда Пушкину с категоричностью приписываются то строки Рылеева («А в ненастные дни собирались они...»), то просто доسужие домыслы самого Рожицына (например, замена «Алкмена — Геркулеса мать» строкой «Мария и Иисуса мать»). Но это все — частности.

По каким же путям идут доказательства Рожицына об атеизме Пушкина? В первой части книги автор горячо и небезуспешно пытается доказать, — правда, ранее уже достаточно известную, — мысль о сочувствии Пушкина декабристам. Пожалуй, это не нуждалось бы и вовсе ни в каких доказательствах, если бы автору не вздумалось на этом шатком фундаменте строить свои основные положения в пользу атеизма Пушкина. К сожалению, история — вещь упрямая, и читатель помнит и о мистических построениях Рылеева и Каховского, и о мистериях Кюхельбекера («Ижорский», «Смерть Байрона»), наконец, о том, что декабристы были выходцами из масонских лож, выросли из новиковского мистического кружка и едва ли были уж такими отъявленными атеистами, какими их хочет видеть тов. Рожицын.

Следующим звеном в цепи доказательств в пользу атеизма Пушкина Рожицын выдвигает пушкинское вольтерянство. Здесь он основывается только на своих личных домыслах, совершенно игнорируя не только огромную литературу, существующую о вольтерянстве XVIII и XIX веков, но подчас и показания самого поэта. Крайне бездоказательными оказываются

утверждения о наличии антиклерикальных мотивов в «Борисе Годунове». Эта бездоказательность становится очевидной уже при воспоминании об одной фигуре Пимена. Драматический отрывок «Пир во время чумы» настолько туманен, что приводит его в пользу атеизма Пушкина по меньшей мере рискованно. То же следует сказать и о стихотворении Пушкина «Романс», неправильно озаглавленном Рожицыным «Бедный рыцарь». Гораздо более убедительными являются юношеские поэмы Пушкина «Городок» и «Гаврилада». К сожалению, о первой Рожицын не говорит почти ничего, а говоря о второй, впадает в целый ряд противоречий и ошибок. Здесь мы не встречаем ни ссылок на Парни (отца пушкинского антиклерикализма и атеизма), ни попыток оценки поэмы, как могучего орудия атеистической пропаганды.

Последняя часть книги уже более доказательна, особенно там, где автор имеет дело с проработанным Щеголевым материалом «Дуэли и смерти Пушкина». В тех же местах, где автор сталкивается с материалом сырым, как, например, с перепиской, — он оказывается бессильным делать какие бы то ни было самостоятельные выводы, заменяя их вовсе юмористическими заверениями в роде того, что «появление (в письмах Пушкина) Христа и бога в матершине, конечно, не говорит в пользу уважения к богу и т. д.»

Переходя к общим выводам, следует указать, что автор вовсе не справился со своей задачей. Доказательства в пользу атеизма Пушкина оказались бледными и слабыми вовсе не потому, что поэт не был атеистом (в своем атеизме Пушкин признавался неоднократно), а потому, что автор исследования оказался просто не в состоянии справиться с таким огромным материалом, как само творчество поэта и обильная исследовательская литература о Пушкине. Вопрос об атеизме Пушкина остается открытым и ждет своего исследователя менее высокомерного по отношению ко всей предыдущей литературе о Пушкине и более знакомого с наукой о Пушкине.

Н. Михайловский

Литературно-художественные сборники «Недра». Книга четырнадцатая. Москва. 1928 г. Стр. 211. Цена 1 р. 50 к.

Открывается сборник повестью А. Библика «Конец Филоновки». Дезертиры — фронтовики белой армии, выдавая себя за красноармейцев, овладевают помещичьим хутором Филоновкой в полосе гражданской войны. Автор рисует безудержный разгул и бессмысленное истребление, которым предается банда, засевшая в усадьбе.

Писатель сумел чисто художественными средствами, без подсказываний и нравочений, вызвать у читателя не только отвращение к пяти главным персонажам повести, но и нетерпеливое ожидание карающей и организующей руки революции.

Язык «Конца Филоновки» неровный: незамысловатое подражание «народной речи» («берегти», «воттето-да», «алимен», «плюееси», «аграницация», «коммуницкий манер», «хронтовику») чередуется с вычурностью, нарушающей иногда требования стилистической правильности.

Вот примеры: «Вопрос долго висит, как давешний звук двух клавишей».

«Тревожные, черные мысли то разлетаются прочь, как воронья стая, то садятся где-то на темени и мозжат клювами».

Автор не скажет просто — «земля индивеет», а непременно «земля куржавеет», не «сказал громко», а «втыкает громко». Обогащения языка в этом нет, а затрудняющая претенциозность — несомненна.

Нельзя не возражать против некоторых недостаточно оправданных положений в повести (крестьяне сплошь показаны трусливыми и придурковатыми собственниками, малоубедительной представляется читателю эволюция передового, молодого солдата Овсеенко, готового вместе со всей деревней «по жеребью» делить инвентарь усадьбы, а затем организующего крестьян против банды), — но все же в целом нельзя не признать художественной значительности этой повести Библика.

И. Соколов-Микитов в рассказе «Ава» рисует уездную обывательщину

в дни Февральской революции. Тема эта не новая, достаточно использованная в художественной литературе, и все-таки рассказ надо признать превосходным. Гимназистка Ава Городцова гордится своим отцом, которого уважает весь город за смелость убеждений и прямому поступков. Этот «честный и смелый» человек оказывается провокатором. Ава не смогла вынести позора и застрелилась. Несложная фабула мастерски развернута художником: гимназистки, педагоги, уездные обыватели зарисованы автором с легкой, еле приметной сатирой, которая все же достаточна, чтобы читатель почувствовал обреченное ничтожество мещанского быта.

В «Смерти Исидора Лютого» Мих. Миров воспроизвел один из эпизодов героической борьбы Украинской партизанской бригады, действовавшей в тылу Деникина. Большой эмоциональный захват достигается не только в силу драматизма самого эпизода (убийство Исидором своего отчима-белогвардейца и смерть красного партизана после того, как он был снят с крыши броневика, куда его привязали белые), но также и благодаря довольно четкому и мерному языку.

«Первая любовь Натана». Д. Хаита оставляет странное впечатление. Автор хотел, повидимому, противопоставить традиционной «очаровательности» первой любви правду о судьбе этого чувства у рабочего подростка. Отец Натана, сапожник, озлобленный беспросветным трудом, истязует сына и разговаривает с ним так:

«Ты, может быть, жениться хочешь? Так ты же голодрипанец... Я в такие годы думал о коже, а не об сумашествии. Молча-а-ать... Нам не до светлых моментов в жизни. Нам не до первых ласточек весны».

Рассказ вышел тяжеловесным и надуманным.

Остальная проза ничем не примечательна. Рассказ А. Перегудова «Темная грива» сообщает о том, как у жены рабочего на лесных разработках убило мужа и как некий лесник Кузьма, тосковавший о «ядреном бабьем теле, о женской горячей ласке», благополучно утешился с этой самой вдо-

вой. У автора было намерение обсудить «проблему женской души», а на самом деле получился плохой вариант чеховской «Душечки». Не очень силен автор и в изобразительных средствах: тишина у него «хрустальная», рассвет — «бледный», тучи — «седые». Скучно...

Несколько более любопытен рассказ Н. Никандрова «Пешком вокруг Крыма». Автор ничего нового не прибавил к тому, что уже сказано о живучести мещанства, но все же история дошкольницы Афремовой, которая читает умные доклады, мечтает об общественно-полезном труде и в то же время млеет вместе с своим мужем Васютиным от тихих любовных радостей, ожидания ребенка и накопления «обстановочки», — сделана убедительно и сочно.

В сборнике — 13 стихотворений поэтов, ранее печатавшихся в «Недрах» — Герасимова, Зарудина, Тарлового, Ясного, Орешина, Коренева, М. Бересклетовой. Тематика стихотворений разнообразна, но почти всех их объединяет мрачное настроение, граничащее иногда с отчаянием.

В стихотворении «Былое» М. Бересклетова сознается:

Я прошу лишь об одном:
Чтобы в сердце, мягким сном
Улеглось былое,
Улеглось и заросло.
Это наше ремесло —
Хоронить былое.

Надо надеяться, что редакция «Недр» несколько шире понимает «наше ремесло»: ведь оно не только в том, чтобы хоронить, но и строить. Жаль, что именно эта сторона «ремесла революции» не представлена в сборнике.

Н. Кременский

Глеб Алексеев. — «Свет трех окон.» Рассказы. Изд. «Недра». М. 1928. Стр. 143. Ц. 1 р. 40 к.

«...заделз на подоконник... глянул и оторваться не могу от отвратительной картины: лежит она в расprostертых объятиях... («Живой берег»). Картина хотя и отвратительная, а оторваться не могу...» Магнит. В этой цитате — альфа и омега новой книги рассказов Глеба Алексеева. Подсматри-

валье и подслушивание — любимый «метод» писателя в деле познания мира. Сквозь окошко. Первый рассказ — «Свет трех окон» — почти символический. Герой его, дряблый, совсем книжный интеллигент, мечтающий о нетронутой простоте крестьянского быта, идет в деревню, самую обыкновенную советскую деревню, знакомится с крестьянством. Осторожно он заглядывает в окошко первой, второй и третьей избы. Что же он видит? В скудном свете от «лампочки» появляются страшные тени звероподобных мужиков, избивающих своих жеп за бесплодие и даже пытающихся посягнуть на честь своих дочерей. Прицепившись в самому простейшему факту деревенского быта — на беременных дают двойной прирез земли, — автор строит «философию» мужичьей семьи на истощном всеобщем требовании приплода во что бы то ни стало. «Землято каждый год родит! Наталь, а? Сына бы мне...» Все жестокое, сладострастное, первобытно-прямолинейное приковывает внимание писателя. «Оторваться не могу» — вот какой крик раздастся со страниц книги.

В той или иной вариации «прием» подсматриванья «отвратительных картин» повторяется и в других рассказах книжки. Достается от автора, главным образом, «новому быту». Жертвами переходного времени становятся по преимуществу женщины. Тяжелую судьбу их писатель рассусоливает всяческими «падениями», на изображении которых он с жадным натуралистическим бесстыдством и останавливается.

Что из того, что иногда вместо заглядывания в окошко автор подслушивает вагонные разговоры, побликует совершенно частные интимные письма. Дело тут не в одном только «приеме». Везде способ видения жизни — через окошко, сквозь замочную скважину. И везде поэтому — суженное поле зрения, ограниченное, бесперспективное пространство, замкнутая реальность. Какая же, с позволения сказать, перспектива в окошке? Сведение многообразной жизни к простейшим фактам и к простейшему способу познания убийственно для всякого писателя. Самая очевидная реальность (например,

двойной прирез земли), взятая сама по себе, вне сложного окружения, превращается в абстракцию. Поэтому крепость, лаконизм и достаточная яркость изображения, свойственные Гл. Алексееву, не спасают его книжки. Она в самом замысле своём антихудожественна, примитивна. Только один рассказ «Гость» неожиданно звучит по-новому. В нем есть любовь и заботливость к несчастной старухе, потерявшей дочь. (Кстати, в рассказе удачно введен неиспользованный литературой материал кладбищенской письменности — надписи на памятниках.)

Не всё гладко у Гл. Алексеева и почасти пристрастия к особым мотивам. На этот раз он их черпает «из Достоевского». Известен патологический парадокс, что легче убить человека и полюбить дальнего, чем зарезать овечку и пожалеть ближнего. Вот Гл. Алексеев и пускает эти мотивы время от времени в действие, чтобы произвести впечатление глубины, страха. Но тщетно: глубочайшие мотивы в его интерпретации превращаются в ненужные мотивчики. Случайно и упоминание о «скифстве» в рассказе «Степь» — если есть степь и степная баба, то будет и скифство!

А жаль. Писатель тепло и красочно изображает животворящую силу природы, ее синие дали и запахи. Немного хорошее, что у него есть («Приключение Карола Земиша»), тонет в специально подобранных им эпизодах. «Свет трёх окон» — шаг назад. Предшествовавшая ей книжка «Иные глаза» была строже, глубже, и дурное пристрастие к некоторым явлениям жизни было редкой гостьей в ней.

Н. Замошкин

Д. Крутиков. — «Нудеяров вир». Повести. М. «Недра». 1928. Стр. 148. Ц. 1 р. 25 к.

Писатель, влюбленный в тихую равнинную речку, в лес, где он — плохой охотник, но зато усидчивый рыбовод. Не случайно то, что Крутикову в рассказах мало удается гражданская война, и задушевные получаются рассказы о людях лесных, о деревенских. Очень уж подходит к нему ирония, с которой говорит о его военных делах

старый приятель, лесник: «О тебе справлялся—нету, говорят, воюет. Ах ты, мать честная, вот, думаю, развоевался,—удержу нет». Недаром на гражданскую войну у Крутикова и языка своего нет: он чаще всего стилизует рассказ кого-нибудь из героев войны, да и стилизует-то уж очень как-то прямолинейно, «белыми нитками». Один-два военных эпизода, вставленные в один из рассказов рецензируемой книжки, сидят в нем чужеродным телом, щенкой, запеченной в аржаной теплый хлеб.

В этой книге—три небольших повести («Кудяров вир», «Попутно», «Бирючиха») — и все три лесные. Все три, пожалуй, равноценны. Первые две написаны из куреня, на берегу речки Сожи, где поселился автор на лето сочинять роман. Каждая главка — отдельный маленький эпизод. Сначала старик Дмитрич с рассказами о турецких походах. Потом потребилровка, и ей другой столетний дед на бугорке пророчит гибель. Потом Леон, почтарь. Потом опять третий старик, но крепкий, ёрник, мельник. Потом старуха, которой почему-то не приходят деньги с почты. Потом мужицкое празднество, и вот здесь уже появляется Руфь. Ее появление подготовлено: рассказы и слухи о ней начинаются уже с первых страниц повести. Разрозненные, разбросанные, друг с другом как-будто не связанные, все предыдущие эпизоды начинают сплетаться, и к концу повести стягиваются в прочный узел. Руфь — дочь Дмитрича, батрачка. С почтарем Леоном ее соединяет любовь, а мельник («седина в бороду, а бес в ребро») сватает Руфь за себя и манит ее своим богатством и недолгим веком. Потребилровка и пропавшие старухины деньги увязываются с тем же Леоном, бедняком, которому нужны деньги для обзаведенья. Затем узел разрывается к концу рассказа трагедией.

Второй рассказ построен так же, тем же искусным приемом старательного нанизывания разрозненных эпизодов, которые затем сплетаются и сразу развязываются. Но здесь уж появляются интеллигенты — доктор и губернский лесовод.

Третий рассказ проще, но в нем трогает странная судьба молодой бирючихи, нечаянно застрявшей в избе лесника по пути домой, в Саратов.

Язык рассказов совсем простой, безыскусный. Другой человек написал бы, может быть, и полнее, и красивей, но и так ничего, очень хорошо к весне, когда человек слабеет и тянет его из города в лес, на реку.

Н. Юргин

Вл. Юрезанский. «Яблони». Рассказы. Изд. «Пролетарий». Харьков. Год не указан. Стр. 224. Ц. 1 руб. 95 к.

Рассказы сборника в художественном отношении не равноценны. И отчасти то, что в более поздних из них больше творческой воли. В ранних своих рассказах Юрезанский порой художественно-наивен, его идеологии не всегда выдержана и ясна. Но, во всяком случае, он настоящий художник. Такой уже много раз пережеванный сюжет, как любовь красного директора к спесовской жене («Зпой»), он сумел одеть живой плотью мягкого лиризма, а, главное, показал живых людей, счастливо избежал схемы.

Как художник, Юрезанский интересуется всеми проявлениями жизни, хочет и умеет слышать и видеть, и потому он выдержал трудный экзамен — изображение детской души («Человек»).

Хорош рассказ «Могила в огнях». Его читаешь с интересом, потому что автор все видит зорким глазом художника: и яблоки, которые «на молодых зубах... хрустели крепко, пахуче-сладко, сочно и свежо», и пойманного бандита, и армейцев. Но, не говоря уже об идеологически-неудачном мотиве (личная месть), записи героя рассказа в отряд, действующий против бандитов, как-то не чувствуешь в рассказе скелета: автор вяло становится па сторону коммунистов, и эта авторская персониальность ощущается, как недостаток творческой воли. Такое же двойственное впечатление производит рассказ «Мед».

В позднейших рассказах объективность введена в необходимые рамки и дана в такой степени, в какой она

нужна, чтобы не было навязчивой тенденциозности. В этих рассказах — простые люди, с несложными, но сильными страстями. Они изображены беспретенциозно и сочувственно. Поэтому внешняя заостренность сюжета не кажется нарочитой и лишь способствует динамике повествования. Самый сильный из этих рассказов — «Яблони». Крестьянская девушка-батрачка беззаветно любит своего хозяина, бывшего белогвардейца. Ради женитьбы на дочери богача он бросает ее. Но она продолжает смущать его покой; и он собственноручно убивает ее. Пользуясь острой фабулой лишь как канвой, Юрезанский дает внимательный и чуткий психологический анализ, вскрывая душевные переживания девушки. Таковы же рассказы: «Чудо» и «Цыганка». Их сюжетная скорлупа не пуста, под ней скрыто полновесное ядро знания людей и любви к ним.

Приятно отметить художественный рост писателя.

А. Р. Палей

Николай Берендгоф. — «Бег». Изд. Московского Цеха Поэтов. 1928. Стр. 48. Ц. 75 к.

В стихах Н. Берендгофа нет отрыва от общественности. В «Беге» имеются и своевременные отклики на события («Английским горнякам»), и эскизы революции («Октябрь», «Гул»), и внимание к строительству («Песня каменщиков»). Эти стихи поэта качественно не хуже остальных, и потому мы можем доверять интересу автора к задачам текущего времени. Правда, в «Беге» отсутствуют отчетливая классовая тематика и продуманная система образов, но с этим автор, при желании,

сумеет справиться впоследствии. Покамест его поэзию примем и в ее сегодняшнем виде с обилием пейзажей и лирической рассеянностью.

Н. Берендгоф — реалист и вещелюб (одно стихотворение у него даже названо «Жизнью вещей»). Для нас, конечно, желательна четкая фиксация действительности, служащей материалом современному художнику. Однако, для нас желателен и абсолютно жизне-радостный метод такой фиксации.

Только сядет на сук воробной
Помертвелая тишина.
И процессией похоронной
День потянется у окна.

Допускаем, что такое описание осеннего дня может быть обусловлено чисто литературным фоном. Но от частого употребления подобных красок все же лучше отказаться, чтобы не создавать нежелательного впечатления мрачности.

Не стоит особенно пережевывать и жвачку раннего имажинизма. «Утро протирало глаза домов пушистым полотенцем зимы» — это сейчас воспринимается, как подчеркнутое, и это не так удачно, как более осторожное замечание о дожде, который «как самовар в углу, шумел упорней».

Вероятно, большим поэтом Н. Берендгоф не станет («Бег» — уже пятый сборник автора). Но в разобранной книжке есть и вполне действенные стихи (немножко по-асеевски звучащий «Лес», «Конец человека», «Баллада о каменном угле» и др.). Не менее действенно и то, что в его стихах нельзя обнаружить самого дурного недостатка — влечения к отжившим поэтическим формам.

И. Поступальский